

# Н О В Ы Й М И Р

## К Н И Г А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

### СОДЕРЖАНИЕ

#### ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ:

Пант. РОМАНОВ  
Вс. ИВАНОВ  
А. КАРАВАЕВА  
Ал. ЯКОВЛЕВ  
А. ЯВИЧ  
Мих. ПРИШВИН

#### СТИХИ:

Ник. УШАКОВ  
Петр ОРЕШИН  
Мих. ГЕРАСИМОВ  
В. НАСЕДКИН  
И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ  
Вера ИНБЕР  
Мих. СКУРАТОВ  
П. ШАМОВ  
Ник. АСЕЕВ  
Вл. МАЯКОВСКИЙ

#### СТАТЬИ, ВОСПОМИНАН., ОЧЕРКИ:

С. МАЛЫШЕВ  
В. БРЮСОВ  
Л. ГРОССМАН  
Ник. СМИРНОВ  
Н. ЗАМОШКИН  
Л. ЯКОВСОН  
Я. ТУГЕНДХОЛЬД  
В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН  
Д. ФИБИХ

#### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Г. ЛЕЛЕВИЧ, В. ГОЛЬЦЕВ,  
А. ШАФИР, Е. БРАУДО, А. ГЛА-  
ГОЛЕВ, Ю. ДАНИЛИН

М О С К В А  
4 . 9 . 2 . 6

# В 1927 году об'ем журнала БУДЕТ УВЕЛИЧЕН

## В БЛИЖАЙШИХ КНИГАХ ЖУРНАЛА Н О В Ы Й М И Р

БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

**РОМАНЫ и ПОВЕСТИ:** Федор ГЛАДКОВ «Старая секретная» (повесть). Анна КАРАВАЕВА «Юность на Грязной» (повесть). Вл. ЛИДИН «Звезда Кирилла Безсонова» (роман). Н. НИКАНДРОВ «Знакомые и незнакомые» (повесть). Мих. ПРИШВИН «Любовь» (роман), Пант. РОМАНОВ «Бран» (роман), «Право на жизнь» (повесть). А. СЕРАФИМОВИЧ «Борьба» (повесть). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ «В грозу» (повесть). Ал. ТОЛСТОЙ «Хождение по мукам» (роман. 2-я самостоятельная часть трилогии). Вяч. ШИШКОВ «Пурга» (повесть). Ал. ЯКОВЛЕВ «Победитель» (роман).

**РАССКАЗЫ:** А. Аросева, С. Буданцева, М. Барсукова, В. Вересаева, Артема Веселого, Б. Губера, Ив. Евдокимова, Л. Завадовского, Вс. Иванова, И. Касаткина, В. Катаева, С. Клычкова, Б. Лавренева, Л. Леонова, Вл. Лидина, Н. Ляшко, А. Макарова, С. Малашкина, П. Низового, Г. Никифорова, Пант. Романова, Л. Сейфуллиной, С. Сергеева-Ценского, И. Соколова-Микитова, Д. Стонова, А. Сытина, Ал. Н. Толстого, А. Чапыгина, П. Ширяева и др.

**СТИХИ и ПОЭМЫ:** Н. Асеева, А. Безыменского, М. Герасимова, М. Голодного, И. Доронина, А. Жарова, Н. Зарудина, В. Казина, С. Кирсанова, В. Маяковского, Б. Пастернака, П. Орешина, И. Сельвинского, Д. Семеновского, И. Уткина и др.

**ВОСПОМИНАНИЯ:** А. А. ИОФФЕ. «Из воспоминаний». Карл РАДЕК. «Из воспоминаний о 1918 г.» (Брест-Литовск, убийство гр. Мирбаха, Ярославское восстание). Софья ФЕДОРЧЕНКО. «Народ на войне». ХУ-ХАН-МИН. «Первая китайская революция и Сун-Ят-Сен».

**СТАТЬИ о СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:** Л. Войтоловского, В. Гольцева, В. Дынник, И. Евдокимова, Н. Замошкина, П. Когана, Р. Куллэ, А. Лежнева, К. Локса, А. Луначарского, В. Переверзева, Вяч. Полонского, Ник. Смирнова, Г. Якубовского и др.

**ПИСАТЕЛИ о КРИТИКЕ:** статьи С. Городецкого, И. Оксенова, Пант. Романова, Л. Сейфуллиной, К. Федина.

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ:** неопубликованные материалы, письма, художественные произведения XIX века.

**БЫТ, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ:** Статьи и очерки: М. Альского, А. Библика, М. Бронского, Вл. Виленского-Сибирякова, А. Дивильковского, М. И. Калинина, Мих. Пришвина, И. И. Степанова-Скворцова, Д. Фибиха. П. Шубина, Ал. Яковлева и др.

**СТАТЬИ об ИСКУССТВАХ:** Е. Браудо, С. Бугославского, В. Волькенштейна, А. Луначарского, П. Маркова, П. Новицкого, Л. Сабанеева, Б. Терновца, Я. Тугендхольда, Федорова-Давыдова, Х. Херсонского и др.

**НАУКА и ТЕХНИКА:** статьи проф. С. Блажко, проф. М. Завадовского, проф. Н. Кольцова, проф. В. Костицына, проф. П. Лазарева, инж. М. Лапирова-Снобло, проф. А. Тимирязева и др.

**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:** при участии Е. Адамова, Н. Асеева, М. Брагинского, Л. Войтоловского, Б. Гоффеншефера, Л. Гроссмана, Б. Губера, Ю. Данилина, Н. Замошкина, А. Лежнева, Г. Лелевича, К. Локса, П. Маркова, А. Палея, В. Переверзева, Н. Пиксанова, И. Сергиевского, Н. Смирнова, Я. Фрида, Л. Якобсона, Г. Якубовского и др.

**В 1927 году об'ем журнала  
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН**

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ь

---

М О С К В А

1 . 9 . 2 . 6

Москва. Главлит № 72.551.

13.000 экз.

---

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Пант. РОМАНОВ.—Человеческая душа, <i>рассказ</i> . . . . .	7
2. Ник. УШАКОВ.—Лес рубят, <i>стихотворение</i> . . . . .	23
3. Вс. ИВАНОВ.—На покой, <i>рассказ</i> . . . . .	26
4. Петр ОРЕШИН.—Три стихотворения . . . . .	38
5. Анна КАРАВАЕВА.—Двор, <i>повесть</i> (окончание) . . . . .	40
6. Ал. ЯКОВЛЕВ.—Там, где ночь, <i>рассказ</i> . . . . .	61
7. Мих. ГЕРАСИМОВ.—Два стихотворения . . . . .	75
8. В. НАСЕДКИН.—Стихотворение . . . . .	77
9. АВГУСТ ЯВИЧ.—Восстание, <i>рассказ</i> . . . . .	78
10. И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ.—Стихотворение . . . . .	90
11. ВЕРА ИНБЕР.—Два стихотворения о сердце . . . . .	91
12. Мих. СКУРАТОВ.—Байкальская бась, <i>стихотворение</i> . . . . .	93
13. Мих. ПРИШВИН.—Ленин на охоте, <i>очерк</i> . . . . .	95
14. П. ШАМОВ.—Стихотворение . . . . .	101
15. Ник. АСЕЕВ.—Песня о предмете роскоши, <i>стихотворение</i> . . . . .	102
16. Вл. МАЯКОВСКИЙ.—Разговор на одесском рейде, <i>стихотворение</i> . . . . .	105
—————	
17. С. МАЛЫШЕВ.—Из прошлого. За правду—в Сибирь . . . . .	107
18. ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА (I. Стихотворение. II. Детские и юношеские воспоминания) . . . . .	116
19. Л. ГРОССМАН.—Преступление Сухово-Кобылина, окончание . . . . .	124

### ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

20. Ник. СМИРНОВ.—В гостях у случайных соседей . . . . .	143
21. Н. ЗАМОШКИН.—Два романа о вчерашнем дне . . . . .	149
22. Л. ЯКОБСОН.—Новый опыт построения марксистской методологии литературы . . . . .	156
23. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Революционный жанр в искусстве Запада . . . . .	159

24. В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН.—Стиль 2-го Московского Художественного Театра . . . . .	165
25. Д. ФИБИХ.—Горбатая земля (В Дагестане) . . . . .	173

#### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1. Г. ЛЕЛЕВИЧ.—А. Неверов „Полн. собр. соч. Т. VII. Гуси-лебеди“ . . . . .	182
2. В. ГОЛЬЦЕВ.—Н. Платоныч „Путы“ . . . . .	183
3. А. ШАФИР.—П. Орешин „Ничего не было“ . . . . .	183
4. А. ГЛАГОЛЕВ.—„Грибоедов и старое барство“ . . . . .	184
5. Е. БРАУДО.—А. Даудистель „Жертва“ . . . . .	185
6. Ю. ДАНИЛИН.—Ж. Валлес „Лондонская улица“ . . . . .	185
Содержание журнала „Новый Мир“ за 1926 год . . . . .	187

---

# Человеческая душа

Рассказ

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

I

**Е**сли бы Софье Николаевне сказали, кого и в каком положении она увидит сегодня вечером, она этому так же мало поверила бы, как если бы ей сказали, что она увидит свою покойницу мать.

Бывают такие неудачные дни: с утра что-нибудь не заладится, и пойдет на целый день одно за другим.

Такой день был сегодня и у нее.

Во-первых, поссорилась с мужем.

А потом подвернулась Маша, которую она никак не могла приучить убирать комнаты раньше, чем она пойдет в лавку. Зайдя в кухню к Маше, она увидела там соседнюю прислугу Аннушку и накричала на Машу, что она все водит к себе гостей, а дела от нее не добьешься. Да еще ложка столовая пропала. Так все пропадет, если она в дом будет водить посторонних людей.

Маша вспылила и потребовала расчета. Софья Николаевна сгоряча дала ей расчет. Потом опомнилась, хотела у Маши просить прощения, но та уже ушла.

И вот теперь сидела на диване с ногами, сжавшись под шарфом, точно ей было холодно, и несчастными глазами, из которых готовы были пролиться слезы, смотрела напряженно перед собою в пол, закусив палец.

Все было противно, тяжело, жизнь казалась холодной, люди— бездушными. Муж, занятый своими служебными делами, в сущности просто чужой ей человек. И она, хотя благодаря ему и спаслась от гибели, так как сама не могла и не умела зарабатывать, но в тяжелые минуты разногласий об этом как-то забывалось, и она думала только о своем одиночестве, одиночестве человеческой души, затерявшейся в грубом и чуждом ей мире.

Послышался звонок, какой-то нерешительный, робкий. Софья Николаевна с раздражением и страданием оглянулась на дверь, подождала немного, потом, спустив ноги с дивана, пошла посмотреть, кто это.

## II

Когда она открыла дверь, то увидела перед собой худенькую, нищенски одетую женщину в смятой, до жуткости смятой, шляпке, державшейся каким-то торчком на голове, и в заплатанных грязных простых башмаках.

Лицо женщины—бледное, истомленное страданием—прежде всего бросилось ей в глаза.

Когда она всмотрелась в большие и странно прекрасные глаза незнакомки, Софья Николаевна вскрикнула, бросилась к ней на шею, осыпала поцелуями ее бледное, истомленное лицо и ее полные страдания глаза.

— Ирина! Родная! Это ты?.. Да что же это с тобой?!—воскликнула она, втаскивая ее за руки в комнаты.

— Вот видишь?..—сказала пришедшая и развела руками, как бы показывая себя во всем своем несчастном и непривлекательном виде.

— Идем же, идем, Расскажи все. Боже мой!..

Она потащила гостью, сняла с нее жалкую ватную кофтенку, очевидно, с чужого плеча.

— Может быть, кушать хочешь? Я сейчас... Что же это, боже мой!—говорила Софья Николаевна.—Покушай сначала, потом все расскажешь.

Она наскоро подогрела кофе, и когда странная гостья, держа чашку красными озябшими руками с черными ободками ногтей, с жадностью пила, Софья Николаевна сидела на ковре у ее ног и с нежностью гладила ее руку.

Это был лучший друг ее молодости, единственный друг ее души, Ирина, тонкая, необыкновенная душа, перед которой всегда хотелось раскрыть свою душу, женщина с нежнейшим, кротким сердцем, которое, казалось, целиком отражалось в ее огромных грустных и правдивых глазах.

И вот эта женщина хорошей семьи, знавшая в своей жизни только любовь со стороны всех окружающих, сидит в обтрепанном платье, с забрызганной сзади грязью юбкой, как у проститутки низшего разбора, с грязными ногтями, с красными от мороза руками и, как нищая, с жадностью пьет кофе.

Очевидно, голод ее был так силен, что она в первые мгновения как-то мало реагировала на слова подруги и только пила.

Потом глаза ее, потеряв выражение голодной жадности, как бы вернулись к действительности, и она, отставив чашку, уронила голову на плечо Софьи Николаевны и заплакала. Потом рассказала все.

Оказалось, что муж ее, активный белогвардеец, расстрелян, а сама она, оставшись нищей в полном смысле этого слова, бежала из Орла в Москву, где два месяца скиталась от одних знакомых к другим, а потом ее стали избегать, как человека, который может подвести под неприятность, и она осталась совсем на улице без крова и без куска хлеба.

— Сегодня я вдруг узнала, что ты здесь, на последнюю мелочь получила справку о твоём адресе и пошла. Ты не знаешь, с каким я чувством шла к тебе... Я боялась, что наша встреча будет такою, после которой жить будет уже нельзя...

— Как ты могла!..

— Я уже привыкла... Человеческая черствость и эгоизм смяли меня настолько, что...

Она заплакала и, достав грязный носовой платок, сдавила им глаза, как бы стараясь удержать эти нелепые и ненужные слезы.

Софья Николаевна невольно посмотрела на этот платок.

Подруги сидели обнявшись. Одна в шелковом, свежем платье, в тончайших шелковых чулках, видных от приподнявшейся юбки до самых подвязок из шелковой резины, с бантами.

Другая в старенькой обтрепанной юбке, которая прикрывала десятки раз заштопанные чулки, с прямыми, давно не расчесываемыми волосами и с робким, неуверенным взглядом нищей, которой дали неожиданно кусок хлеба.

— Но, слава богу, слава богу, что все так кончилось,—сказала Софья Николаевна.—Когда ты была богата, мне всегда было досадно, что я ничем не могу тебе отплатить за твоё отношение ко мне и за отношение твоей мамы, которая была для меня второй матерью и без вас я, круглая сирота, конечно, давно бы погибла.

— Ну, довольно обо мне. Я хочу знать о тебе,—сказала Ирина, улыбнувшись после слез и погладив руку подруги своей грязной рукой.

Софья Николаевна оживилась. Эта тяжёлая повесть утомила состраданием её душу. А потом и хотелось рассказать про себя человеку, который ближе всех понимает и интересуется ею.

— Обо мне?... Ты видишь, что все хорошо,—сказала Софья Николаевна, обведя рукой комнату, кабинет мужа, где они сидели после кофе на диване.

— Мне очень хорошо. Я его люблю. Хотя мы часто расходимся в отношении к жизни. Он как-то не понимает и не ценит комфорта, на первом плане у него долг, а в то же время он сух с людьми. Имея постоянно дело с теорией, с государственными делами, он мало чувствует просто человеческую душу. Я часто не могу без раздражения слышать эти их обычные ученые слова: „класс“, „экономические интересы“ и т. д. Но, конечно, мне грех роптать.

Ей вдруг захотелось показать подруге свои платья, белье, духи, которые она получила из Парижа.

Она повела Ирину в спальню.

И через десять минут все стулья, постель и туалетный стол были заложены вынутыми платьями, тонким бельем. Ей особенно приятно было показывать Ирине потому, что для той, находящейся на положении нищей, все это должно казаться сказочным сокровищем, не так, как прочим её знакомым, которых нельзя особенно удивить, так как у них тоже есть не плохие вещи.

И то удивление, какое она видела в глазах своего друга, заставляло ее как бы вновь, с удвоенной силой, переживать удовольствие от созерцания своих сокровищ.

На одну минуту у нее в голове мелькнула мысль, что нехорошо перед подругой, находящейся в нищете, хвастать своим изобилием. Но с другой стороны это изобилие как бы говорило Ирине, что теперь ее жизнь спасена, так как есть из чего поделиться.

И все-таки Софье было как-то неловко чувствовать себя осыпанной милостями судьбы и она, убрав вещи, сказала:

— Но внутренне я чувствую себя неважно. Я ведь три года сама и готовила и стирала, так что хотелось бы, наконец, отдохнуть. Но у меня несчастье с прислугами. Конечно, отчасти виноват мой характер, я не терплю ротозейства и растяпости. А ведь теперь ты знаешь, какие они стали: чуть повысишь голос,—сейчас—в союз. Я вот эту Машу, что ушла сегодня, два месяца не могла приучить, чтобы она убирала комнаты, когда мы еще спим. А потом бы шла в лавку. Нет, она упорно продолжала сначала ходить в лавку, а потом убирать комнаты. Я же положительно не выношу вида неубранной комнаты. Меня это раздражает и выводит из равновесия.

Софья Николаевна взглянула в зеркало и увидела свою выхоленную фигуру хорошо одетой женщины и рядом с собой нищенскую фигуру подруги в простых, грязных башмаках с резинкой.

— Перед твоим приходом у меня был целый скандал. Эта Маша вечно приводила каких-то своих приятельниц, а в результате, то ложка пропадет, то еще что-нибудь. Когда чужой человек в доме, никогда не можешь быть спокойной, приходится все запираить, все проверять. Это невыносимо. А тут муж все мне старается втолковать, что на девятом году революции нельзя обращаться с прислужкой, как прежде, что в ней нужно уважать такого же человека. Но могу же я, наконец, за свои деньги купить себе право быть спокойной? Почему я обязана вечно жить для других?

— Но, голубчик мой, ведь это же не так существенно,—сказала Ирина, с печально-ласковой улыбкой дотронувшись до руки подруги.

— Да, в самом деле,—сказала Софья Николаевна,—как мне не стыдно говорить о каких-то пустяках, когда ты... Да, ну, что же, мы только говорим, а ведь надо обдумать и решить, как устроить твою судьбу.

Она напряженно сжала лоб своими тонкими пальцами и, потирая его, задумалась.

— Документов у тебя нет никаких?

— Я уничтожила их, потому что иначе меня арестуют. Впрочем, у меня есть удостоверение со службы, где проставлена моя девичья фамилия.

— Ну, так вот и прекрасно. Я попрошу одного знакомого, он поможет и устроит так, что тебе дадут настоящий вид на жительство. Мужу, конечно, боже сохрани говорить об этом. Знаешь, что я при-

думала?—сказала Софья Николаевна с просиявшим лицом. — Я не хочу тебя отпускать от себя, ты для меня единственная близкая человеческая душа на свете.

— Но как же?

— Я придумала. Ты будешь у нас жить, как прислуга. При муже мы будем держаться, как нужно, а когда никого нет, мы с тобой будем вместе убирать комнаты и без конца говорить, как когда-то в Петербурге.

На глазах Ирины выступили слезы, и она, наскоро вытащив опять грязный платок, закрыла им лицо и уткнулась в колени Софьи Николаевны.

Софья Николаевна тоже заплакала.

Потом достала свои старые платья, башмаки, чулки, и они, смеясь и плача, устроили маскарад.

Ирина даже подвязала фартучек.

И когда посмотрела на себя в зеркало, то опять обе засмеялись и заплакали.

— Я никогда не забуду то, что ты для меня сделала, — сказала Ирина, — ты не испугалась беспаспортной и приютила меня.

— Как тебе не стыдно это говорить! — сказала Софья Николаевна и еще раз горячо ее поцеловала. — Да, о жалованьи совсем забыла.

— Ну, брось, бог с тобой, что ты говоришь, — сказала Ирина.

— Во-первых, это необходимо перед мужем. Должна же я ему сказать, сколько я плачу своей „прислуге“, — проговорила Софья Николаевна, улыбувшись. — А потом я смотрю чисто практически на это: я тебе положу тридцать рублей и потом из своих буду добавлять 20. Ты проживешь у нас год, у тебя будут уже свои деньги. Вообще, ты не рассуждай. Я знаю жизнь лучше тебя.

— Ну, делай, как хочешь. Я знаю только одно: судьба мне послала ангела-хранителя в твоём лице и я безумно, невыразимо счастлива.

— Ну, вот и слава богу.

### III

— Что у тебя какое-то сияние на лице? — спросил, придя со службы, Семен Никитич.

— Сиянье потому, что я, наконец, нашла прислугу, которой, кажется, буду довольна.

— Слава богу, наконец. Если бы только это было действительно так.

Но по тому, как новая прислуга подавала обед, как она забывала подать то одно, то другое, Семен Никитич не находил поводов быть от нее в таком же восторге, как жена. Но он, никогда не вмешивающийся в дела хозяйства, ничего не сказал. И даже по своему обыкновению поздоровался с новой прислугой за руку. Но на нее, очевидно,

его присутствие действовало парализующе, она волновалась, терялась, забывала, что нужно подать.

После обеда Софья Николаевна, забежав в кухню, успокаивала Ирину, целовала, гладила по волосам и говорила, что все великолепно, маскарад удался, а со временем она освоится и привыкнет.

— Но что за странное чувство, — сказала Ирина, моя в тазике посуду с засученными рукавами, — я испытываю при нем связанность, даже какой-то страх, как будто боюсь не угодить хозяину. Боже, какое будет счастье, когда он уйдет. Но ведь как дико, как нелепо: я, хорошего круга женщина, испытываю страх перед мужчиной. А ведь год тому назад мужчины целовали у меня руки.

Софья Николаевна как-то невольно вспомнила про ее грязные руки и ногти и при этой нелепой мысли не нашла ничего сказать, а только сочувственно, но неловко, улыбнулась.

— Что ты там все обнимаешься с ней? — спросил муж, когда она пришла из кухни.

— Надо же рассказать ей, как все делать.

И, когда Семен Никитич ушел на заседание, подруги, со смехом бросившись друг другу в объятия, уселись на диван и начали вспоминать прошлое и делиться пережитым.

У Ирины прошло выражение запуганности, забитости, и она, несмотря на старенькое платье, держалась уже так просто, как она привыкла держаться, когда была богата, хорошо одета. Она почувствовала себя человеком, равным во всем своему лучшему другу.

Софья Николаевна хотела рассказать про интимную сторону своей жизни, сказать, что жизнь с Семен Никитичем не дает ей ничего, кроме обеспеченности и покоя, но что душа ее от такой жизни тоскует. И у нее есть человек, который у них бывает, и она чувствует, что при нем становится женщиной, так как он понимает цену красивой прическе, красивого платья. А это всегда действует на женщину.

Но Ирина опередила ее. Она рассказала, что у нее кроме мужа была связь с одним человеком, который обожал ее. Благодаря тому, что ей пришлось бежать и скрываться, она потеряла его и совершенно не знает, где он сейчас.

Конечно, если бы он узнал, где она, он прискакал бы сейчас же.

Софья Николаевна хотела от всей души сочувствовать своему другу, но она смотрела на нее, сидевшую рядом с ней в старом обновленном платье, с лицом, давно не знавшим ухода и покрывшимся около глаз морщинками, потом на ее руки, ставшие похожими на руки прислуги, и только чувствовала какую-то неловкость от того, что ей приходилось делать вид, что она верит в возможность обожания ее со стороны какого-то мужчины. У нее, против воли, промелькнула мысль, что неужели Ирина сама не замечает, какая она стала? И неужели она думает, что если бы тот мужчина приехал, то он, даже не взглянув на нее, Софью Николаевну, бросился бы прежде

всего целовать руки Ирины, и Ирина могла бы быть для него интереснее, как женщина, чем Софья Николаевна?

И оттого, что она не могла серьезно верить возможности счастья для Ирины с такими ее теперешними данными и оттого, что та сама этого не замечала, Софья Николаевна испытывала неловкое чувство от необходимости делать вид, что все это вполне вероятно, о чем говорит Ирина, и всей душой радоваться за нее.

И, когда Ирина рассказала все, у Софьи Николаевны как-то угасло желание рассказывать про свое, как будто то, что было у нее и у Ирины, стало равноценным и потому обесценилось.

Она просто только сказала, что тот мужчина ухаживает за ней, и она боится ему отвечать, чтобы не лишиться того покоя семейной честной жизни, какой у нее есть сейчас, но что спокойствие и занятость мужа, забывающего о ней по целым неделям, толкают ее на то, чего она не хотела бы.

#### IV

На пятый день приезда Ирины было рождение хозяина, и должны были собраться гости. Нужно было сходить за покупками.

— Пойдем покупать, — сказала Софья Николаевна Ирине.

Они вышли.

Софья Николаевна в длинной модной шубе и в мехгах. Ирина — в старом ватном пальто, в котором ходила до нее Маша, в черном платочке и с корзиной на руке.

— Ну, уж теперь давай выдерживать свои роли, — сказала Софья Николаевна.

Но Ирина, как бы отогревшись под лаской подруги, почувствовала себя опять тем, чем была она прежде, и все забывала свою настоящую роль. Она шла несзиди, а рядом, и говорила таким тоном и о таких вещах с своей „хозяйкой“, что некоторые прохожие невольно с удивлением оглядывались. В особенности одна дама с горностаевой горжеткой.

Софья Николаевна все это чутко замечала, краснела, но ей неловко было сказать об этом своему другу, так как это, вероятно, очень больно напомнило бы ей о ее положении.

Но, чем больше она молчала, тем больше ей становилось досадно, что Ирина в этом своем ватном пальто и в платке так свободно и непринужденно иногда обращается к ней, что ее, вероятно, принимают за родную сестру. А она так одета...

И ей начало казаться, что Ирина очень легкомысленна, что она не может посмотреть на себя со стороны и чувствует себя так, как будто она осталась тем, чем была, и не думает о том, что в действительности она давно уже перестала быть тем, чем была.

Когда пришли домой, Софья Николаевна почувствовала себя виноватой за гадкие, против воли вылезавшие, мысли и, горячо поцеловав подругу, сказала:

— Ну, вот, поздравляю тебя с крещением.

На вечеринку ожидалось много гостей, хотя Семен Никитич не хотел праздновать дня своего рождения, так как вообще не признавал этого. Но Софья Николаевна настояла, сказав, что просто ей хочется видеть у себя людей.

Самое главное было то, что должен был притти тот мужчина. Поэтому она особенно тщательно завилась у парикмахера и сделала маникюр.

А потом выяснилось, что Ирина не знает даже, как приготовить простой салат. Пришлось, подвязавши фартучек, самой пойти в кухню и начать стряпать. Она как-то упустила из вида возможность этого и спохватилась слишком поздно. Через два часа могли притти гости, а ей нужно было все успеть приготовить и одеться.

И вот, когда она с вилкой в одной руке, с ножом в другой, топясь и раздражаясь, готовила все, Ирина сначала подшучивала над своей беспомощностью, а потом притихла и почувствовала себя виноватой, так как Софья Николаевна даже не могла себя пересилить, чтобы свести всю эту неудачу на шутку и, звонко поцеловав подругу, сказать, что все это пустяки.

Потом стала одеваться. И, как всегда бывает, когда спешешь, никак не могла поймать сзади петли лифчика и застегнуть пуговицы. Будь здесь Маша, она просто позвала бы ее. Но звать Ирину, когда она только что была сейчас с ней недостаточно деликатна и чувствовала себя виноватой перед ней, было невозможно. Значит приходилось, прикусив от напряжения губы, выворачивать за спину руки и изображать из себя какую-то обезьяну.

От спешки и ожидания, что вот-вот сейчас кто-нибудь из гостей может притти, у нее разгорелись щеки и стали некрасиво-красными, как кирпич.

В самом деле, что может быть хуже, когда гости придут, а хозяйка еще не готова и должна в щель двери извиняться и делать сладкое лицо? А тут под руки попадаете как раз не то, что нужно, а то, чего нужно, никак не найдешь.

Но все кончилось сравнительно благополучно. Она успела одеться. Только щеки оставались багрово-красными, точно она парилась в бане. И сколько она их ни мазала кольд-кремом и ни пудрила, они оставались такие же красные, даже еще хуже.

Пришедшие гости, улыбки, вопросы, шутки и громкие голоса в столовой разогнали неприятное настроение. А оставшееся внутреннее недовольство собой было даже кстати, так как она очень естественно и без всякой неловкости обращалась к Ирине, говоря:

— Ариша, принесите вазочек. — Или: — Ариша, дайте чайницу.

Присутствие гостей избавляло ее от необходимости сейчас же, когда у нее еще плохое настроение, сглаживать перед Ириной происшедшую шероховатость во время приготовления закусок.

За столом было обычное оживление, обычные шутки, вроде тех, что хозяйка что-то далеко села от хозяина, ему наблюдать неудобно.

На что Софья Николаевна, смеясь, отвечала:

— Ну, мы уже предоставляем друг другу полную свободу.

Она сидела рядом с тем мужчиной, про которого рассказывала Ирине. Раскрасневшись, с розой в волосах, выбившейся из прически и спустившейся к плечу, она наливала своему кавалеру вино и требовала от гостей, чтобы они пили.

Ее нога под столом чувствовала его ногу. Но она делала вид, что не замечает этого, и обращалась в это время в другую сторону, к кому-нибудь из гостей, или протягивала руку, чтобы достать далеко стоящую закуску и от этого сильнее прикасалась своей ногой к ноге соседа.

Ей только было неприятно, что Ирина, подавая на стол, как-то особенно внимательно останавливала на ней свой взгляд, очевидно, понимая смысл каждого ее движения, чего не замечали остальные, занятые своими разговорами. Неприятно было потому, что после неприятности с закусками уже не было обычной открытости перед Ириной.

А Ирина, сидя в кухне и прислушиваясь к доносившемуся из столовой, чувствовала всю нелепость и курьезность положения: она не может сейчас пойти и сесть за стол, как все. Она должна сидеть в кухне и ждать, когда ее позовут. И при этом даже испытывать какое-то напряжение от постоянного ожидания, что ее позовут, а она не услышит. В особенности, если позовет хозяин, которого она безотчетно боится и сжимается при нем, хотя он всегда вежлив.

Один раз ей показалось, что кто-то звонит на парадном. Она встала и пошла, предварительно взглянув в столовую. Там уже кончили ужин и сидели на диванах в табачном дыму, слышался оживленный, веселый говор. Ирина пошла по темному коридорчику и почти лицом к лицу столкнулась с Софьей, которая стояла с тем мужчиной. Он стоял очень близко к ней и, притягивая еще ближе ее к себе за руку, что-то говорил шопотом.

Софья испуганно отстранилась от него, и они, точно вспугнутые, молча пошли в столовую.

Ирину обидело это движение ее подруги, точно Софья во время этой интимной сцены наткнулась на постороннюю. Но сейчас же она вспомнила, что Софья перед этим мужчиной должна была сделать такое движение, так как Ирина для него только прислуга.

Софья Николаевна проснулась на другой день поздно, и у нее было какое-то безотчетно-неприятное чувство, как будто у нее была какая-то повинность что-то сделать сейчас.

Она поняла: это повинность вести душевные разговоры с Ириной после ухода гостей. Это хорошо один раз, другой. Но каждый день, — это уже тяжело. Хочется просто пожить без всяких разговоров. Будь это не Ирина, подруга сердца, а посторонняя женщина, тогда это просто было бы: захотелось, — поговорила, не захотелось — не поговорила. А тут нужно заботиться о том, чтобы Ирина ни на минуту

не почувствовала себя чужой. И это особенно тяжело. А вчера у нее прорвалась даже досада против Ирины. Это вышло нехорошо вдвойне.

Софья Николаевна приподнялась с постели и заглянула в столовую. Там стоял неубранный со вчерашнего вечера стол. Ей стало досадно. Неужели она никогда не сможет достигнуть покоя и личной жизни? Когда была Маша, ей не приходилось хоть убирать самой.

В первый день, когда у нее с Ириной было много невысказанного друг другу, когда было приятно показывать свои парижские вещи, уборка была удовольствием. Но если так повторять каждый день, когда уже все рассказано, — это тяжело.

Софья Николаевна оделась и, наскоро выпив чашку кофе, зашла в кухню и сказала Ирине:

— Голубка, мне сегодня надо спешить к портнихе, уברי, деточка, без меня сама.

Эту фразу она сказала особенно нежно, потому что фраза была не длинная, и, кроме того, она уже стояла на пороге выходной двери.

## V

Ирина заметила в себе странную вещь: в первое время ее тяготило присутствие в доме хозяина, при котором она должна была избраться из себя прислугу, сидеть в кухне и испытывать перед ним какое-то неопределенное стеснение и связанность.

И, когда он уходил, она чувствовала вдруг освобождение и радость. Она уже могла свободно жить праздником встречи с своим другом, Софьей. Но чем дальше, тем больше у Софьи проходило это настроение праздника, и она принимала свой обычный, повседневный вид.

Конечно, Ирина не могла же требовать от Софьи постоянной повышенности настроения. Все это вполне естественно. Но так как она была в подчиненном состоянии, то она боялась каждого проявления будничности или раздражения у Софьи, хотя бы направленного и не на нее.

Так бывает, когда приезжает какой-нибудь гость, его встречают с радостными удивленными восклицаниями: „Посмотрите-ка, кто к нам приехал!“. И не знают, куда посадить, чем угостить. И спрашивают обо всем наперебой. А там пройдет дня три, неделя, все еще вежливы, внимательны, но все стараются куда-нибудь ускользнуть, у всех находятся какие-то неотложные дела, они и рады бы посидеть около гостя, занять его, но все некогда.

И настроение у всех уже не такое радостное, приветливое, все на кого-то кричат, раздражаются. И хотя кричат не на гостя, а на прислугу или на кого-нибудь еще, он все же начинает чувствовать неловкость, точно это раздражение и этот крик имеет и к нему какое-то отношение.

Так же и Ирина, когда в последнее время слышала, как Софья раздражается против мужа и говорит повышенным тоном, она чувствовала, как она от этого раздраженного голоса вся сжимается. Она обыкновенно в это время сидела в кухне, с напряжением прислушивалась к этому неприятно-резкому голосу, лишенному всегдашней, привычной для Ирины, ласковости, прислушивалась и чувствовала, как сердце у нее бьется все сильнее и сильнее, все тревожнее и тревожнее.

Она, после таких схваток Софьи с мужем, избегала входить в комнаты, как будто она была чем-то виновата в этом раздражении подруги.

И вот впервые один раз она почувствовала какое-то освобождение, когда Софья ушла из дома. Как будто что-то тяжелое свалилось с души. Она могла хоть час побыть без напряжения, не прислушиваясь и не слыша в столовой раздраженного голоса и быстрых громких шагов, какими Софья ходила, когда была в дурном настроении.

К Ирине стала в последнее время ходить Аннушка, прислуга из соседнего дома. В первый же раз она, идя на базар в платочке и с корзиной для провизии, встретила Ирину на дворе, расспросила, в какой она квартире. А на другой день пришла посидеть.

— Небось нужда заставила? — сказала Аннушка, посмотрев на тонкие, нерабочие руки Ирины.

Ирина, не открывая своего действительного положения, рассказала, что она дочь бедных родителей, но училась в гимназии, служила, а потом потеряла место и ей пришлось пойти в прислуги.

— Вот, так-то вот... — сказала Аннушка. — Э, голубушка, а, впрочем, и то сказать, бог милостив, не пропадешь.

И, слушая ласковый голос Аннушки, Ирина чувствовала какое-то успокоение. Ей было просто и легко с этой простой женщиной.

— Что-ж тебе чай-то отвесной дают или что останется? — спросила Аннушка.

Ирина покраснела от мысли, что ей нечем угостить Аннушку. Денег у нее нет. А пойти и взять в буфете... она вдруг почувствовала, что не может почему-то это сделать. Вдруг хозяин в это время придет или Софья увидит, что она в буфет полезла, и пройдет, и ничего не сказав. А потом увидит, что в кухне у нее Аннушка.

— Я как-то не думала об этом. Мне все равно, — сказала Ирина, отвечая на вопрос о чае.

— Напрасно. Надо требовать, что полагается. Им, матушка, никогда не угодишь. Что ты чаю отдельно себе не спросила, — тебе это неудобство, а они, думаешь, оценят? Или сами догадаются? Нет, матушка, они догадаются только тогда, когда с ножом к горлу пристанешь.

Ирине хотелось сказать:

— Аннушка, милая, да ведь все это одна комедия из-за несчастных обстоятельств. Это не хозяйка, а единственная близкая мне человеческая душа.

А потом сейчас же подумала, что чаю-то у нее все-таки нет, и пойти взять его в буфете ей почему-то неловко и страшно.

— Эх, головушка горькая, — сказала Аннушка, почесав голову под платком, — кто о нас позаботится, если сами о себе не позаботимся. Вот до тебя у них хорошая работающая прислуга была. Так что ж ты думаешь! Сжила ее хозяйка-то твоя. Ну, пойду, видно. Когда что нужно помочь, позови, приду.

И когда из дома все уходили, Ирина бежала к своей новой подруге, делая вид, что ей нужно что-нибудь спросить ее. А в действительности потому, что ей было приятно слушать ее ласковый голос с успокоительными интонациями. Точно няня, когда, бывало, на ночь рассказывает сказки.

Иногда Аннушка усаживала ее в своей комнатке с образами и сухими вербами в углу, ставила на стол медный самовар без ска-терти, молочник с молоком, чайник с крышечкой на грязной веревочке, и они пили чай и говорили. Ирина как будто чувствовала в этом отголосок далекого детства.

А один раз Аннушка пришла к ней, и Ирина поставила самовар, взяла в буфете чаю, сушек. Нужно было убрать комнаты, потому что Софья стала уходить все чаще и чаще по утрам, оставляя ее одну убирать комнаты, но Ирина решила, что еще придут не скоро, и она успеет напоить Аннушку чаем и потом убрать.

И вот, когда они пили, послышался стук парадной двери, которую отперли английским ключом... Кроме хозяев никто не мог сам войти.

Ирина почувствовала, что у нее похолодели пальцы и замерло сердце, точно, действительно, она была прислуга, а это пришли хозяева, когда у нее еще ничего не убрано, а сама она сидит и распивает чай с соседней прислугой.

— Что это такое тут?! — вдруг послышался удивленный голос хозяина. — Что это здесь за свинарник?

В ответ ему было молчание. Очевидно, Софья молча оглядывала неубранные комнаты и не находила, что ответить.

— Я тебе давно говорил, что ты не умеешь обращаться с людьми. То ты придираешься и кричишь по всякому пустяку, а то вдруг заводишь какую-то дружбу с прислугой. В результате — ерунда! Нет, ты, пожалуйста, скажи ей серьезно, чтобы она свои обязанности помнила.

Ирина все это слышала и у нее глухо, тяжело и мутно билось сердце, так что было слышно самой.

— Ну, я пойду, матушка, — сказала тихо Аннушка. — Да ты не очень позволяй наседать-то на себя, отгрызайся.

Софья Николаевна вдруг почувствовала себя в нелепом положении, что ей, хотя бы для виду, придется делать выговор Ирине. Но

в то же время она чувствовала сильную досаду, почти возмущение от небрежности Ирины. Они пришли домой втроем с тем мужчиной, который ухаживал за ней, и он явился свидетелем этого свиарника, так как были даже не убраны постели.

Ирина услышала громкие, резкие шаги Софьи, шедшие к кухне.

Софья хотела мигнуть Ирине, дать ей понять, чтобы она не принимала серьезно то, что она будет ее пробирать, но от досады и рассеянности как-то забыла это сделать.

Кроме того, когда она вошла в кухню, то увидела уходившую Аннушку, от которой, она думала, что теперь избавилась навсегда, и на столе самовар с сушками, теми самыми, которые она покупала...

Она против воли быстро взглянула на самовар, на сушки, на скрывавшуюся в дверях спину Аннушки, от чего у Ирины все замерло внутри, и сказала:

— Ариша, что же вы делаете!? Ведь я вас просила всегда убирать раньше. Пойдите, сейчас же уберите. Как у вас нет такта, чтобы самой понять, если вас не заставляют, а просят...

Вначале Софья Николаевна говорила так, что это было видно, что она говорит для вида, но приподнятый тон собственного голоса и тайная досада против Ирины, ведь, действительно же, поступившей небрежно, сделали то, что она уже сама не могла различить, где она говорила для вида, а где она, действительно, выговаривала Ирине...

Кроме того, на нее неприятное впечатление произвело почему-то присутствие здесь сушек, взятых из буфета. „Но какой вздор сушки!..“ — сейчас же мелькнуло у нее в голове, и она даже ужаснулась этой, промелькнувшей у нее, мысли.

Но ей нужно было продолжать делать выговор Ирине, и она, все больше и больше повышая голос, говорила, ведя за собой Ирину в комнаты.

— Я же просила вас: сначала убирайте комнаты, а потом идите в лавку или пейте чай с своими гостями. Эти гости для меня какая-то кара. Вот опять ложки нет. Где ложка? Боже мой, ну что это?!

Щеки Ирины при упоминании о ложке вдруг залились таким ярким румянцем, что слезы стыда выступили у нее на глазах.

— Ну, довольно, довольно, — сказал Семен Никитич, — ты не можешь без крайностей.

Софья Николаевна вдруг увидела текущие по щекам слезы у своего друга, как бы мгновенно опомнилась, схватила себя за голову, бросилась в спальню, и сейчас же послышались захлебывающиеся рыдания. Она билась в истерике.

## VI

Жизнь для Софьи Николаевны стала невыносима. Правда, она потом объяснила Ирине, что ее истерика была результатом того, что ей вдруг показалось невозможно, хотя бы для вида, кричать на „луч-

шего друга своей души". Что ложка эта вырвалась как-то сама собой. И что к Ирине ни одной минуты не относилось то, что она, Софья, говорила.

Но с этого времени Ирина вдруг потеряла всякую свободу в обращении с подругой. Да и Софья Николаевна говорила с ней всегда как-то мимоходом, точно все куда-то спешила.

Жизнь стала невыносима потому, что, во-первых, комнаты убирались не так, как хотелось. А сказать теперь что-нибудь было совсем невозможно после этого случая. Приходилось уже самой, без участия Ирины, делать недоделанное, да еще потихоньку от нее, чтобы она не увидела и не поняла, что между ними нет той свободы дружеского отношения, при которой все можно сказать, потому что душа чиста и нет никаких задних мыслей, которые приходится скрывать, как позор.

Говорить стало вообще тяжело: тот исповедный тон, с высказыванием самых сокровенных мыслей, пропал. А говорить будничным тоном, без тона повышенной дружбы, было неудобно перед Ириной. Поэтому для Софьи было легче теперь встречаться с Ириной на нейтральной почве, т.-е. когда дома был муж или кто-нибудь из гостей.

И, когда Ирина сидела в кухне и не приходила в комнаты, если дома даже не было никого, кроме хозяйки, Софья была как-то довольна и делала вид, что занята чем-нибудь, чтобы не звать к себе Ирину.

Если же она сама не идет, значит, она чем-нибудь там занята. Или ей просто хочется побыть одной. Ведь все-таки уединение всегда необходимо человеку, и что она ее будет постоянно таскать?

Потом было еще одно неудобство. Тот мужчина иногда заходил, и они, затворив дверь в кабинет, долго сидели там вдвоем. Слышны были только негромкие осторожные голоса. Если бы была просто прислуга, то ей можно было бы сказать, что она может, если хочет, пойти куда-нибудь. А Ирине нельзя же было так сказать... И невозможность чувствовать себя свободной в собственной квартире была невыносима.

Притом Софья Николаевна как-то не могла теперь делиться с Ириной тайной своего романа. Но в то же время та видела, что роман есть. Как же она должна себя чувствовать, когда Софья ничего не говорит ей?

Но самое мучительное было то, что Софья Николаевна сгоряча насулила Ирине целые горы: пятьдесят рублей жалованья. А вот прошло уже два месяца, а она не собралась ей еще ничего дать. Ни одного рубля. Все как-то не выходило. То нужно было отдать портнихе, то не было денег. А то были деньги, но как раз после той истории с ложкой... Если бы после этого пойти и сказать: „Вот твое жалованье“, — это было бы, действительно, похоже на жалованье прислуге.

А спросить у мужа сейчас нельзя было, потому что она уже два раза брала у него „на жалованье Арише“.

Успокаивало только соображение о том, что Ирине все равно ни на что не нужны деньги: шляпок ей не покупать, она в платочке ходит, платьев у портнихи тоже не заказывать. И, раз она не просит, значит, ей не нужно.

А Ирина, действительно, мучилась без денег. Ей не на что было Аннушке купить баранок к чаю или каких-нибудь пряников ее мальчику, когда она приходила к Аннушке. И, когда мальчик подходил к ней и ласкался, она краснела до корней волос от того, что пришла с пустыми руками.

А один раз Аннушка принесла ей целую коробку конфет, сказавши:

— Небось смальства-то привыкла сладенького покушать, кушай, кушай, матушка, на здоровье. Я вижу—тебе тут не очень-то сладко живется.

Ирина почему-то заплакала. А Аннушка гладила ее по ее худенькой спине и приговаривала:

— Ничего, бог даст, переживешь. Свет не без добрых людей. Если сейчас к таким злым попал, потом, бог даст, устроишься. Я уж присматриваю для тебя местечко. Ты не в союзе?

— Нет,—сказала Ирина.

— А, вот оттого она тебя и жмет. В союз надо. Кто в союзе, тем и жалованье аккуратно платят и все.

И Ирина ужаснулась от мысли, когда поймала себя на том, что вдруг прислушалась внимательно к словам Аннушки о союзе.

— Документ-то у тебя есть?

— Есть, есть!—сказала радостно Ирина и показала добытый ей Софьей документ с ее девичьей фамилией, где было сказано, что она—прислуга.

Ведь в самом деле, на сколько же положение Аннушки, прислуги действительной, а не фиктивной, лучше положения ее, Ирины! Она имеет юридические права. Ее защищает союз.

По уходе Аннушки пришла Софья, и опять Ирина увидела, что ее глаза, как бы против воли, задержались на принесенной Аннушкой коробке конфет.

Ирина опять почему-то мучительно покраснела. Ей стыдно показалось сказать Софье о том, что ей соседняя прислуга подарок принесла.

А Софья Николаевна, вернувшись в комнаты, никак не могла отогнать от себя мысль, откуда у Ирины конфеты?—Ну, что за глупость, что за мелочь!—сказала она себе с возмущением, как будто в ней сидел какой-то отвратительный сыщик, который замечал все, чего не нужно было замечать. Но, с другой стороны, почему же не нужно замечать? Ведь, в самом деле, странно: у человека нет ни копейки денег, а на столе стоит коробка конфет...

А потом хватилась,—брошки нет!.. Софья Николаевна стала почему-то лихорадочно искать. Почему она испытывала такое беспокой-

ство, она сама не знала. Она перерыла все у себя в комнате. Несколько раз останавливалась, обводила всю комнату глазами, пожимала плечами и опять принималась искать.

Когда ей, очевидно, приходили какие-то мысли, которые были очень позорны, она сжимала голову руками и говорила вслух:

— Глупо, невозможно! Гадко так думать!

А потом брошка нашлась. Она сама забыла ее на умывальнике. Софья ужаснулась на самое себя.

Она почувствовала прилив такого раскаяния, такой любви к Ирине и отвращения к себе, что нужно было сейчас же пойти в кухню, припасть к плечу своего друга и кровавыми слезами выплакать все нечистое из своей души.

Она, вскочив, бросилась в кухню, чтобы стать перед Ириной на колени и сказать:

„Спаси меня, очисти меня от скверны! Вот что, вот что я про тебя думала. Откуда это и почему, я сама не знаю! Я, может быть, вздорная, вспыльчивая, но... но, все-таки, не дурной, не низкий человек!“.

Софья вбежала с выступившими на глаза слезами в кухню и остановилась. Кухня была пуста. На столе лежала какая-то записка. Она подошла и прочла:

„Я ушла совсем. Прошу меня не искать“...

---

Ирина лежала на кровати Аннушки, укрытая ее одеялом из разноцветных треугольников, дрожала мелкой дрожью, как от лихорадки, и говорила:

— Аннушка, милая, спаси меня, я больше не могу у них жить...

А Аннушка сидела у нее в головах, гладила ее по плечу и успокоительно-ласково, точно няня, говорила:

— Ничего, бог даст, устроимся. Вот велика беда, подумаешь. Я уж присмотрела местечко. Настоящие люди, с душой. А чтобы вернее было, в союз запишемся.

---

# Лес рубят

НИК. УШАКОВ

I

Мы любим спелый голос жней  
и голос парвей спозаранку,—  
но что печальней,  
        что нежней  
Деревьев, тронутых рубанком?

Струна распиленных досок,—  
твой звук  
        медлителен и ровен,  
а лес в снегу,  
        и душен сок  
разделанных в сугробе бревен.

Ночей минувших холодней  
горят серебряные ночи,  
и валит жар от лошадей  
и от снегов,  
        и от рабочих.

Крепчает воздух,  
        лишь дохни—  
и звезды сыплются охапкой,  
        косматыми летят они  
на воротник,  
        башлык  
        и шапку.

И на морозе  
        сладко биться  
о рукавицу рукавице.

---

Тулупов золотое пламя  
пурга колышет на ветру,  
И вот  
        зубастыми углами  
пила в'едается в кору.

И визг,  
и лязг,  
и вдруг со сна,  
Роня коемы  
сонной седи,  
как пьяная,  
пойдет сосна  
хвататься за руки соседей.

Ты непоседа.  
Там и здесь—  
в Дер'люфта суетной конторе  
Тебя влечет  
одна болезнь  
в высокое  
седое море.  
Твоя душа—всегда беглянка,  
в каютах  
и купэ она.

А жизнь деревьев—  
на делянке—  
заря во льду  
и тишина.

## II

Мы любим грустный голос жней  
и нежность вечерами ловим,—  
но что печальней,  
что нежней  
Деревьев,  
тронутых пилою?

Прямой, язвительный смычек,—  
запомнит лес его навеки,—  
он ранит  
скрипку горячо  
и проступает кровь на деке.

А ты летишь  
лесистым яром  
с курьерским,  
и на канапэ  
ты скрипку вынешь из футляра,—  
и скрипка  
начинает петь.

И в сыроватой сени просек,  
в пролете сонных площадей

сухое дерево  
попросит  
как бы пощады  
у людей.

А голубых порубок ветер,  
твой инструмент  
назвав  
на «ты»,  
другими стонами ответит  
сквозь земляничные кусты.

---

Так две свечи  
из окон разных,  
так две затронутых струны,  
так разговор—  
почти бессвязный  
уже воскресшего  
с больным.

1926 г.

---

# На покой

Р а с с к а з

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

**Е**рмолай Григорьич на работе был строг, часто упрекающе вскрикивал и упреки его были почему-то особенно обидны. Его желтые зеницы ехидно смотрели в бок, в сторону, словно там, за плечами человека, он видел и знал самое плохое, о котором ему не только говорить, но и думать было противно. И когда вдруг оказалось, что фабрика убыточна и выделяет не то, что нужно республике и что ее нужно закрыть,—сотоварищи обрадовались, что наконец-то Ермолай Григорьич попал в беду. Но желтые глаза уверенно и ехидно блестели под круглыми, какими-то косматыми, бровями и они поверили, что Ермолай Григорьич всегда справедлив и строгость его от большого знания своего места на земле и они разозлились так, что когда выходили из конторы и расставались, может быть, навсегда,—то никто не подал руки Ермолаю Григорьичу. Ермолай Григорьич скосил крепкие щеки, желтые глаза его последний раз увидели за плечами товарищей то, чего никто не видал и не знал, и он бодро вышел впереди всех. Но сердце у него ныло и казалось—закрыли не всю фабрику, а выгнали его одного.

Он прошел два квартала вдоль фабричной красной стены к трамвайной остановке. Подле светло-синей, быстро, на глазах высыхающей, лужи стояла небольшая очередь. Он гулким голосом, крепко выходящим из его выпуклой пятидесятилетней груди, спросил, кто последний, и так уверенно стал позади какого-то чахоточного человечка в грязном парусиновом пальто, что человек сразу затосковал, замучался и так и не мог понять, что с ним происходит. И когда исшарканная трамвайная подножка уже была подле его колена, Ермолай Григорьич догадался, что он собирается ехать к своим сыновьям. И он так уверенно отошел от трамвая, что никто не подумал об его ошибке, а всем было ясно—ему не понравился вагон. Кондратий и Евдоким, его сыновья, работали на другой фабрике, кондитерской, кочегарами. Кондратий был лыс, выше почти на голову Евдокима, говорил отдельным

тенорком, а Евдоким неумело хрипел, и все же и посторонним и даже отцу казалось, что братья всегда говорят в голос. Происходило это, быть может, оттого, что братья всегда говорили о хозяйстве, деньги до последней копейки посылали в деревню, сами впроголодь жили в какой-то провонявшей селедкой и мочей кухнешке и к отцу в его опрятную комнатку ходить не любили. Каждый вечер они начинали меж собой разговор о сбруе, — им хотелось иметь кожаную сбрую с ременными вожжами, — и всем казалось, что мечтает о сбруе один, какой-то очень недовольный, голос. Изредка они брали на ночь девку, уговариваясь, что спать с ней будут двое и, хватая девку за ляжку, лысый Кондратий говорил: „Скидывай сбрую“, и девки почему-то всегда были ими довольны и, уходя, им чудилось, что они спали с одним каким-то необычайно сильным человеком. Поспав с девкой, — это чаще всего происходило в субботу, — братья шли в гости к отцу, и всегда они встречали там кипящий самовар на столе, связку пухлых баранок, полбутылки водки и в окне довольного снегиря. Отец весело и снисходительно расспрашивал их о деревне, хвалил деревенскую жизнь, легонько трогал пальцем клетку, говорил: „Как птицы живете“ и заглядывал далеко куда-то за плечи сыновьям. Но сам он никогда не высказывал желаний поехать в деревню, и, расставаясь, все трое чувствовали, что между ними многое не договорено и тогда они враз все трое улыбались и хлопали суетливо друг друга по плечу.

Были у него еще две дочери — Василиса и Вера, жившие в деревне и правившие хозяйством вместе с женой Кондратия, Анной. О дочерях Ермолай Григорьич вспоминал с нежностью, они были беспечны, певуньи, и женихи как-то не шли на них, и что им суждено остаться в девках тоже трогало нежностью сердце Ермолая Григорьича. Но с сыновьями о девках Ермолай Григорьич не говорил и, когда сыновья уезжали в отпуск, он давал им по ситцевому отрезу и хмуро бормотал: „Ублажите... пушай по кофте сошьют, глядишь и хватит кого за душу“.

Весь день он был доволен, что не пошел к сыновьям, побрякивая, пил чай и сам не заметил, что снегирю три раза насыпал зерна в кормушку. Проснулся он рано, легкий весенний морозец чуть тронул окно — снегирь играл перьями в розоватом и блестящем тумане света. Трамваи звенели так, словно неслись в небо. Сидевший на тополе грач, увидав проходившего мимо Ермолая Григорьича, радостно потрянул перьями, и показалось, что весь синий тополь тоже задрожал. Вчера за чаем Ермолай Григорьич выбирал, на какой бы ему завод пристроиться: он не любил людных зданий и завод выбирал подальше от города и почему-то с коротким названием, может быть потому, что фабрика, с которой его убрали, имела огромную вывеску в добрую сотню букв и при открытии ее говорилось много речей и посылались длинные приветственные телеграммы. И вот Ермолай Григорьич направился на выбранный им вчера завод. Знакомые на за-

воде долго жали ему руку и, оглядываясь на дверь, словно их кликала кто, сказали: „Что поделаешь, кризис... у всех...“. Дверь была обита клеенкой, неимоверное количество ржавых гвоздей в бешеном беспорядке гнездились на клеенке. Ермолай Григорьевич, ласково улыбувшись, ушел. И, чем больше он ходил от завода к заводу, от фабрики к фабрике, от окошечка биржи к другому, тем все больше он приближался к людным местам и тем все обиднее разговаривали с ним люди. Сразу, во всем—в разговорах, в поступках людей увидел он обидный до слез беспорядок и, вспоминая многие резолюции, за которые он голосовал в ячейке, он замечал чепуху и непонятное в этом, казалось бы, налаженном деле.

Явилась нужда пойти в пивную со знакомыми, один из которых, угрюмый, с кривыми грязными пальцами, одетый в парусиновый пиджак поверх грубой толстовки, обещал ему поденную работу. Ермолай Григорьевич поставил дюжину пива, и сразу после двух бутылок знакомый развеселился, начал расхваливать себя, рот у него размок, и можно было ясно понять, что зря ему поставлено пиво. В другое время Ермолай Григорьевич прогрохотал бы тяжелыми своими сапогами и ушел бы, а тут он вдруг почувствовал себя усталым, веки его с трудом подымались и в бровях колело так, словно веки были стеклянные.

— Цыпленок-то вот дважды родится, а не однажды не крестится,—сказал он и пристально, словно удивляясь чему-то, взглянул в пивную бутылку.

Все посмотрели на него вопросительно, а он тихо расставил крепкие ноги и между ног опустил руки, и все с какой-то робостью увидели, что руки его почти хватают до полу.

— А я вот дважды крестился. Сперва в Христа, а потом в коммунизм. Под крестом-то на шапке я всю Галицию проходил, до немца через все болота докатывался, а из-за коммунизма и на Украине и на Колчака... много скитанья принял.

— Ты к чему поешь-то?—весело спросил хмурый знакомый, играя грязными пальцами.

— А к тому, что спокойствия, а выходит и меня—не рожалось еще.

— Найдешь! Найдешь работу, не тоскуй.

Между столиками стояли сделанные из фанеры пальмы. Пиво играло желтым солнцем. Ермолаю Григорьевичу до головной боли было непереносно смотреть на эти пальмы.

— Я в Закавказьи не на таких пальмах кашу варил,—вдруг, со злобой глядя на угрюмого знакомого, сказал он:—там пальмы... в обхват...

— И верю, верю,—напряженно прикрывая рот грязными пальцами, ответил ему знакомый:—ты пиво пей. Говорю, будет тебе работа.

Но Ермолай Григорьевич взял шапку, постоял, никто не сказал, чтоб он платил за пиво, он грузно вышел. Ложась спать, он по-

думал, что завтра встанет бодрый и уверенный, дабы искать работу, но поутру усталость еще более овладела им. Он даже не застегнул пуговиц на рубашке, и неприятно было чувствовать голую, казалось, одряхлевшую шею. Вспомнилась вчерашняя выпивка и мысль опять вернулась к скитаньям, и он вспомнил, как он вступил в партию. Случилось это накануне сражения с каппелевцами, когда все думали, что полку нужно сдать. Военком воскликнул, указывая на него: „Товарищи, учитесь смелости у Тумакова“. И сто одиннадцать человек в ту же минуту пожелали вступить в партию. Каппелевцев разгромили и приказом по полку была отмечена выдающаяся храбрость тов. Ермолая Тумакова. Потом пришло на ум, как на Урале на хозяйственном фронте дивизия заготавливала дрова. Должен был проехать Троицкий. Красноармейцы десять верст, прямо через снега, шли к рельсам для того, чтобы прокричать мчащемуся мимо поезду: „ура“, и Тумаков пришел первым. А теперь усталость, как тень, лежит на воде и не тонет, усталость овладела им и он чувствовал себя стариком. Ему захотелось посмотреть на себя в зеркало, но и зеркала, оказалось, он не имел. Последний раз, перед отъездом на фронт, жена подарила ему маленькое зеркальце, в ладонь величиной. Он разбил его случайно прикладом и, помнится, пошутил, что с бабой-то, видно, плохо, а баба почти в те дни и умерла от тифа. Вспомнив и зеркало, и терпеливую старуху, он вспомнил и свое хозяйство, которого он не видел лет восемь, и он направился к сыновьям.

Сыновья, как оказалось, уже знали, что фабрика закрылась, и что отец не может найти работы.

— Деньги-то заместо проливков надо было б в деревню посылать, — сказал Кондратий, и самодовольно погладил лысую голову.

— Барин, — подхватил Евдоким: — хамунист, вояка...

Сыновья держали себя заметно развязнее и, когда Ермолай Григорьич сказал, что он устал и ему пора на покой, сыновья промолчали. Серая кошка с гноящимися глазами развязно прошла по вонючему полу кухни. Ермолай Григорьич хотел было прикрикнуть на сыновей, но как-то получилось, что он утомленно сказал им, что дом его и скотина им не отписана. Сыновья, видимо, испугались, хотя бояться им было нечего, и вот, побродив без толку еще неделю по городу, Ермолай Григорьич уехал в деревню.

В Волгу врывалась речонка, желтая, бойкая, и бойкие рыбешки с красными крылышками, словно обгоняя струи, вырывались из воды. Речушка же врывалась в Волгу, пересекала ее, прямо до противоположного берега, и казалось, что через Волгу лежит свежий сосновый горбуль. На песчаных холмах — избы деревни с веселым названием Тоша. Ласковые холмы неустанно кружили вокруг деревни. Прыгали по ним с веселым пчелиным звоном зеленые хлеба. Церкви блистали среди рощ, и казалось, Волга шла под колокольный звон.

Тело к ухабам сразу привыкло, но Ермолаю Григорьичу казалось, что сердце вздрагивает у него от толчков телеги. Ермолай Гри-

горьич держался одной рукой за телегу, а другой прикрывал глаза от солнца, хотя солнце было тихое. Когда вдали, с холма, перед ним блеснула Волга и скрылась, легкий страх охватил его. И, чем более он ощущал звенящую тишину полей, чем более сливались перед ним стоявшие вначале в одиночку колосья, тем сильнее и увереннее отягощал его страх. Ему не то, что казалось—его не допустят до околицы, но не было даже уверенности, что эта родная ему околица есть. Медленно и как-то боязливо отвечая его мыслям, тряслась телега. И вот, вместо оврага, по которому когда-то тек высыхающий летом ручей, он увидел громадину воды. Новая мельница, вся в ласковом пушке пакли, как хвост, распустила за собой большой пруд, усеянный кувшинками.

— Общество-то экую сляпало,—с гордостью сказал возница, и от его немудрых слов Ермолая Григорьяча всего потрясло и даже скулы заныли.

Чумазый карапуз медленно распахнул перед ним жердевые ворота. Ермолай Григорьяч кинул ему две копейки. Карапуз медленно, не спеша, поднял их и с достоинством пошел к дому. Собак не встречалось, и Ермолая Григорьячу смутно подумалось, что, забреши сейчас собака, он, пожалуй, повернул бы обратно. Когда телега остановилась у его дома, он несколько раз снял и надел картуз и без нужды сказал вознице:

— Домище-то какой я сыновьям оставляю, из-за такого домища меня и столетнего не выгонют.

Но в локтях была обидная дрожь. Входя в сени, Ермолай Григорьяч чувствовал, что теряет походку. В сенях пахло мокрой кожей. Сундук, который он купил лет двадцать назад на ярмарке, был прикрыт незнакомым ему половиком с наглым серым узором по желтому полю. Он скинул половик и присел. Ноги его крепко упирались в покосившиеся половицы пола, а руки беспокойно бегали по пиджаку. Вошел возница и, удивленно глядя на него, нагло спросил:

— Деньги-то сейчас платить будешь, али ждать придется?

Здесь из кухни прибежали дочери. Они были в заплатанных кофтах, постаревшие, с надтреснутыми голосами. Они распахнули дверь в горницу, и Василиса робко спросила его:

— Иконы-то сейчас снимать, тятя, али обождешь?—и тогда Ермолай Григорьяч встал с сундука, обнял дочерей, отдал картуз и драповое пальто вознице и сказал:

— Вез-то ты, хоть, плохо, а все-таки заходи, чаю выпьешь.

За чаем он был немного смущенный и несколько раз говорил вознице:

— Дочери-то каковы.. хорошие дочери..

Возница, корявый и запуганный и тоскующий мужик, ничего не находя в девках хорошего, вздрагивая от его благодарного голоса и сам в то же время чувствуя какую-то непонятную благодарность, торопливо поддакивал:

— Эх, да кабы мне таких обходительных дочерьев.

После чаю Ермолай Григорьич, хотя ему и не хотелось, лег соснуть. Он прикрылся толстым одеялом и с тихой благодарностью слушал, как дочери его ходили на ципочках по горнице и как Вера уронила кусок хлеба, а Василиса прикрикнула на нее и тихо ворчала потом. Заснуть ему так и не удалось, он полежал час-другой, придумывая, чем бы ему теперь заняться, затем встал, умылся, причесал голову и вышел раздавать дочерям подарки. Дочери отмахивались, говорили, что напрасно, им ничего не нужно, а им, действительно, ничего не нужно было, а Ермолаю Григорьичу все казалось, что он мало привез.

— По кольцу бы надо, — сказал он, ухмыляясь, и тогда вдруг сестры спросили о братьях.

— Живут, — угрюмо ответил Ермолай Григорьич и ничего не добавил.

Под вечер, когда лавочка, на которой сидел Ермолай Григорьич, охладилась, и он лениво положил руки в карманы, с базара приехала жена Кондратия, Анна. Кондратий женился на ней, когда отец воевал на Украине, в город ее не привозил, и Ермолаю Григорьичу не доводилось ее видеть. Она вошла, легко неся в руках жирную баранью ляжку с прилипшими травинками. Переступая порог, хотя дверь была и высокая, она, видимо, привыкнув к низким дверям, наклонила голову, и оттого ее высокая грудь затемнила плотскими мыслями ее нежное, чуть-чуть широкое лицо, убранные легкими волосами. Ермолаю Григорьичу она поклонилась низко, в пояс, и голос у нее оказался такой же, какой некогда был у Веры и Василисы. Да и веселой походкой, беззаботными руками она напомнила ему дочерей, но только расцветших, удовлетворенных, таких, какими они не будут никогда. И легкая грусть овладела им.

— Детей-то нету? — спросил он.

— Не дает бог, — тихо ответила Анна.

Ермолай рассмеялся на ее тихий, какой-то виноватый ответ.

— Муж редко бывает, — и она, будто поняв его мысли, вдруг густо, всем лицом, вспыхнула.

И тогда Ермолая Григорьича, помимо благодарности, охватила такая беспричинная радость, какой он не чувствовал давно. Ему не захотелось есть и он ел, дабы не огорчать дочерей, — и сам умилялся этим.

— Баню истопить на завтра? — тихо спросила Анна, видимо, не имея силы отделаться от нахлынувших мыслей.

— А истопи, пропарюсь, — задорно сказал Ермолай Григорьич, отодвигая тарелку, которую беспрерывно наполняли ему дочери. Даже мухи, казалось, лезли ему в ложку не оттого, что им хотелось есть, а от радости.

Анна раскинула ему постель, Вера принесла подушку. И подушка и постель пахли мятой. „Не думал, не думал, что так встретите...“ —

хотел было сказать Ермолай Григорьич, но почему-то не сказал, но по глазам женщин он увидел, что не сказанные им слова им понятны, и они отвечают ему мысленно: „А как же иначе“.

Проснулся он рано и вышел на двор выбирать работу. Утро было легкое и пушистое, как хмель. Глубокое, словно омут, небо вещало жару. Напряженно зеленели в нем листья яблонь.

С дровами к бане прошла Анна.

Надо было б переменить ось в телеге, но эта работа показалась ему необычайно легкой. Потяжелей бы. Работа потяжелей была на пашне, а ему не хотелось покидать дом.—„Отдохну денек-то...“—сказал он сам себе и потрепал яблоню по стволу. Возвращаясь от бани Анна ласково улыбнулась, и не спеша сказала:

— Нонче на яблоки урожай будет: шиповник-то густо расцвел,— и Ермолай Григорьич не понимал, чем связано густое цветенье шиповника с урожаем яблок, но сразу поверил Анне и громко рассмеялся:

— Я вас вино из яблок научу гнать. Куда самогону!

И Анна улыбнулась милостиво и долго, и уши ее залились краской.

Весь день Ермолай Григорьич ходил по соседям, рассказывал о войне, о коммунистах—и рассказы получались такие, словно он читал вслух газету. Мужикам это и нравилось. Своих, крестьянских разговоров никто с ним не вел,—получалось несколько обидно,—но обида эта еще более усиливала бушевавшую в нем радость. Опять незаметно подошел вечер, теплый, тихий. Ветер вынес было запахи молодых нив и цветущего шиповника, но и ветру, казалось, не хотелось тревожить редкое человеческое спокойствие, и он скрылся. Пришла Василиса: звать в баню. Ермолай Григорьич выбрал побелее рубаху и подштанники, достал голубой вязаный поясок.

В предбаннике на скамье он заметил юбку.

— Мойтесь, что ж. Я попозже приду.

— Никто не моется,—раздался из бани голос Анны:— угар выбздаю, да полок надо промыть.

Анна показалась в дверях. Накаленная, плотно облепившая тело, рубаха была дымчатого какого-то цвета. Черные круги сосцов мутно просвечивали через ткань. Глаза у нее были липкие и круглый, упруго трепещущий от дыхания, живот глубоко уходил к костям.

— Иди, иди,—торопливо сказал Ермолай Григорьич:— сам выбздаю угар.

Анна взглянула на его щеки. Поспешно схватила юбку. Ермолай Григорьич долго снимал сапоги, затем налил в шайку воды и, крепко прижимая шайку к животу, вошел в баню. Ему надо было б вылить шайку на каменку, а он вылил на себя. Распаренный веник плохо держался в руках, он его отложил и долго, неподвижно вытянувшись, смотрел Ермолай Григорьич в потолок. Потом он вскочил, облил кипятком веник, сунул на камни и почти мгновенно охлестал его о свое тело. Окатился, и ему стало скучно и было ясно, что в бане больше делать нечего, и что он отвык париться в деревенской бане.

К тому же заболела голова и он вспомнил, что угар-то он и забыл выбздавать. Возвращаться же столь быстро из бани было как-то неудобно, пожалуй, обидно для дочерей, посидеть бы хоть на пороге, повздыхать, посмотреть на яблони, — но Ермолай Григорьич не мог.

Над столом клубился самоварный пар. Черная почти струя чая зыбко наполняла его чашку.

— Отвык, поди, от наших бань? — спросила Василиса.

— Отвыкнешь, — угрюмо ответил Ермолай Григорьич и почему-то взглянул на Анну.

— Выбздавал угар-то? — спросила та ласково.

— Выбздавал, — и Ермолаю Григорьичу стало стыдно, что у него нет сил сказать правду. Вчерашняя радость, казалось, на всю жизнь наполнившая его, — прошла бесследно. Неподвижно вытянувшись, лежал он в кровати, пытаясь уверить себя, что все, что томит его, — это от бани. Ветер пронесся по улице. Тонкая ветвь через окно упала и задрожала на подоконнике. Ермолай Григорьич не выдержал, протянул к себе с силой ветку и сломал. Из соседней комнаты раздался сонный голос Анны: — „Кто там?“ — и Ермолай Григорьич не нашел сил ответить ей, Анна же, должно быть, тотчас заснула. Долго он ждал второго вопроса, и долго его тянуло пойти на голос. — „Квасу бы выпить што ли“, — сказал он вслух тревожно и громко. Кошка прыгнула на печь, оттуда с шипеньем скользнула лучина. Ермолай Григорьич вздрогнул. Заснул он на рассвете.

Томительная тревога овладела им с того дня. Он быстро раздражался, стал мало разговорчивым, и, когда дочери собрались однажды ехать на почту получать деньги, Ермолай Григорьич крепко обругал Кондратия, дескать, не доверяет жене, а деньги шлет сестрам. Анна посмотрела на него удивленно, да и все другие удивились. После этого не проходило дня, чтоб Ермолай Григорьич не бранил сыновей, особенно Кондратия. И когда он бранился, тревога как будто стихала в нем. Работалось плохо, да и работать на жадных сыновей, которые, конечно, при первом удобном случае выгонят его, — работа казалась ему унижительной. Дочери попрежнему были ласковы: раз в голос спросили его, какое б варенье сварить ему на зиму, а ласковость эта еще более беспокоила Ермолая Григорьича, словно он ждал, что они сразу выскажут ему все накопившееся в них раздражение.

Однажды, наполненный такими мыслями, он встретил Анну, она несла в баню тяжелую охапку дров.

— Давай помогу, — сказал он, беря полено из ее рук.

Она молча с недоумением передала ему дрова, а проходившая мимо Василиса крикнула: — „Что ей помогать, не беременна“. — И голос ее был попрежнему ласков, но он раздражил Ермолая Григорьича. Анна, все недоумевая, шла позади его, и, когда он скинул дрова у каменки, и она наклонилась, дабы класть поленья в печь, Ермолай Григорьич легонько взял ее за плечи и сказал:

— Ты мне на сеновале стели спать, Аннушка!

— Душно, что ли, в горнице? — спросила она, не оборачиваясь.

— Душно.

И тогда она обернулась, робко взглянула в его лицо и почти прошептала:

— Ну, постелю.

Ермолай Григорьич построжал, сдвинул брови и все ж таки ему пришлось облокотиться о косяк, когда он сказал:

— Ночью-то... приходи.

— Господи, — пискливо вскрикнула Анна.

— Я те покажу, господи, — жестко ответил Ермолай Григорьич, и весь день голос у него был командующий, грубый, и за обедом он ел поспешно и строго, и дочери боялись поднять на него глаза.

Убирая посуду, Анна спросила Василису:

— Сердитый стал батя. Рассердится, так, поди, и дом сможет отобрать? И сынов-то все ругает...

Василисе не понравилось, что Анна непочтительно говорит об отце, она уверенно сказала:

— И отберет, ему б захотеть. В царское время сколь бы Георгиев имел он... Куда ополоски-то льешь, в молоко?

— И то в молоко, — сказала Анна тихо.

Спать лег Ермолай Григорьич рано и лежал, вытянувшись, горячий, без одеяла, и даже в темноте хмурил брови. В пригоне рядом шумно вздыхала корова. Сено почти не имело запаха, и с сеновала остро пахло гниющей соломой крыши. Ермолай Григорьич был уверен, что Анна придет, и она, точно, пришла. „Ты не трусь“, — сказал Ермолай Григорьич, схватывая ее за шею, и она, молча, не шевелясь, вытянулась рядом с ним. Он уверенно, как и все на земле делаемое им, подхватил ее, и, действительно, она скоро сладострастно раскрыла рот, и дрожащие зубы ее побежали по его лицу, и шумное дыхание коровы было заглушено ее усталым стоном. „Лежи“ — сказал Ермолай Григорьич, засыпая. Она покорно лежала. Вот закукурекал радостно петух и от двора к двору побежало хлопанье крыльев. Анна тоже заснула и ей снилось, что приехал из города Кондратий в новом пиджаке и желтых ботинках, ласково, как всегда, обнял ее и повел на сеновал. Он соскучился по ней и, как всегда, быстро заснул у ее груди, и ей было радостно лежать, чувствуя рядом с собой молодое, веселое только при ней и с ней, человеческое тело.

Она проснулась. Начинался рассвет. Ворота в сад забыли закрыть и корова беспокойно ходила по стойлу. Ермолай Григорьич лежал на спине, и пухлый старческий живот его весь в морщинах поднимался и опускался уверенно и легко. Анна вытерла слезы и, крадучись, пошла в кухню.

Ермолай Григорьич призывал ее еще раза два, и затем она стала приходить сама. Она как-будто соглашалась с ним, когда он говорил,

что Кондратию во всем далеко до него, и как будто на работу стала спорее и, когда Ермолай Григорьич бранил сыновей, она так глядела на него, словно вот-вот скажет что-то очень обидное и правдивое про них, и хотя Ермолай Григорьич часто с удовлетворением думал: чем большим можно было бы отплатить чванствующему сыну, — тревога попрежнему не покидала Ермолая Григорьича. Попрежнему Ермолай Григорьич не мог как следует взяться за дело и, чтоб как-нибудь оправдаться, начал жаловаться на недомоганья, и было противно видеть, что дочери верят ему. И вот однажды за обедом, когда Ермолай Григорьич ворчал, что сыновья высохли от жадности, и некому будет наследовать добро, Анна вдруг отложила ложку и, побледнев, выбежала в кухню. Василиса пошла за ней и, когда вернулась, у нее было другое лицо. Ермолай Григорьич сразу смолк, прервал обед и ушел, хлопнув оглушительно дверью. В кухне завывала Анна, а Василиса встала перед образами на молитву. Помолившись, она пошла в совет, а оттуда ее направили в вик. Было дождливо, слякотно, до вика было верст десять, она шла без платка, полями, дабы сократить дорогу. Жидкая мокрая прядь волос упала ей на глаза, она взяла прядь в руки, взгляделась — много седых, и тогда она, внезапно обессилев, села у колосьев прямо на землю и долго, с закрытым ртом, плакала. В деревню вместе с ней приехал милиционер. Обед был все еще не убран, и милиционер, курчавый и курносый, строго приказал очистить стол. Затем он призвал Анну и жалостливо стал ее расспрашивать. Допросил и Ермолая Григорьича и с пренебрежением добавил: „На тебе, как на березе, две кожи, за такие дела не поглядят, — па-артейный“, и, когда Ермолай Григорьич хотел возразить, он закричал: „Молчи“ — и самодовольно указал на свой револьвер.

Ермолая Григорьича увезли сначала в волость, потом отправили в уездный город, пред'явили обвинение в насилии и вскоре назначили суд. Сыновья не приехали, они не хотели для суда покидать работу, а заводский отпуск их выходил на глубокую осень. Явилась Василиса. Она все боялась, что на позор явится смотреть весь город, а в камере оказалось пять-шесть человек, да и то трое из них скоро ушли. Она приготовила всякие оправдывающие отца слова, а получилось так, что все ее слова оказались на суде ненужными, и говорили все совсем о другом. У нее было растерянное и слегка довольное лицо. Все дни до суда, да и во время суда, Ермолай Григорьич попрежнему ощущал беспокойство и тревогу, а когда вышла к красному столу Анна, исхудавшая, с заметно выдающимся животом, и, стоя к нему боком (при чем как-то особенно тронуло сердце судей острое ее плечо и маленькая заплатка на кофте, ниже плеча), начала давать показания и говорила о том, чего и быть не могло, что Ермолай Григорьич гонялся за ней всюду, улещал подарками, грозил отнять у сыновей дом и под угрозой ножа положил ее рядом с собой и что она согласилась жить с ним, потому это меньше видно людям, чем приставанье.

„А с мужем-то мы дружны, как снопы“ — сказала она, и судьи жалостливо улыбнулись, и хотя Ермолаю Григорьичу обидно было, что по голосу ее нельзя было узнать, каким словам своим она верит, все же ему тоже стало ее жаль и стало жалко самого себя. Он встал, вытянулся по-солдатски, чтоб было легче говорить, и сказал приблизительно так:

— Виноват. За войну испортился, к бабе привык относиться хуже, чем к скотине. Все происходило так, как она говорит—зарезал бы, если б не согласилась, — и было горько видеть, что все поверили его словам. Какая-то настолько раскрашенная женщина — волосы, губы, лицо, — что и глаза ее казались выкрашенными, испуганно взглянула на него и быстро и сладострастно заперебирала пальцами. Прочитали приговор. Василиса заплакала, и конвойный шопотом сказал неподвижно сидевшему Ермолаю Григорьичу: „Пошли, огурец“, и сам рассмеялся придуманному прозвищу. Так и в тюрьму вошел Ермолай Григорьич под прозвищем огурца.

Глубокою осенью приехали в Тошу в отпуск сыновья Ермолая Григорьича, они были довольны, что едут вместе, и что удалось получить отпуск, когда еще нет снега и нет ранней осенней грязи, и, значит, хозяйство можно приготовить на зиму как следует. Кондратий слезал с телеги, из ворот выбежала простоволосая Анна и упала перед ним на колени. Кондратий взглянул на брата, тот бессмысленно улыбался, — и Кондратий тоже улыбнулся бессмысленно.

— Надо б ко мне приехать, выкидыш бы сделали, а теперь ишь... — сказал он и ткнул ее сапогом в живот: — морда-то будто камень без цвету. Брюхом робить будешь, да?.. Ставь самовар.

— Самовар-то есть, — тихо ответила Анна, и голос ее был хриплый, чужой.

Разговора за чаем не получалось, у сестер были испуганно-ждущие лица, и вскоре сам Кондратий начал ждать от себя неизвестно чего. Надо б было сразу, после чаю, пойти на овин, а он вышел на улицу, оглянулся — повеселевшие лица сестер смотрели ему вслед, словно они угадали, куда он идет, — он и пошел. А затем получилось так, что все в деревне стеснялись разговаривать с ним, и ему пришлось напиться, хотя пить ему вовсе не хотелось и, значит, вышло так, как ждали сестры. Самогон с непривычки отрывивал, и было такое ощущение, словно он всполоснул рот керосином. Он пил три или четыре дня, несколько раз в кровь избил жену, куражился, кричал, что все теперь в хозяйстве испорчено, — и все молчали и словно бы одобряли его. Раз ему попал под руки ножик, источенный так, что посредине получилась выемка, он сунул ножик в карман, а когда проснулся утром и почувствовал в кармане нож, ему стало и страшно и весело. Он велел, — именно велел, а не сам, — запрячь лошадь, и поехал в уездный город, в тюрьме которого сидел его отец. Звонко лязгала копытами в подмерзшую грязь подкованная вчера лошадь, небо было ясное, высокое, и железо на шинах было почти белого цвета.

Когда к Ермолаю Григорьичу подошли и крикнули под ухо:

— Огурец, иди на свидку, — он в это время стоял перед стенной газетой камеры и с горечью и страхом старался вникнуть в переписанный аккуратно стишок:

И теперь, чтобы в этапы  
И в исправдомы не попадать,  
Нужно меньше водки пить  
Да и в карты не играть.

Он легонько провел ногтем по стиху, оглядел себя — борода росла ключьями, парусиновая рубаша и штаны были грязны и помяты. И вдруг он понял, о чем написан стих. — „В карты не играть“ — повторил он с усмешкой и выпросил у соседа, смолено-бородого молокана, судившегося за конокрадство, чистую рубашу. Туго затянув тесемки на воротнике, он подумал: „кто бы мог приехать?“, — и сразу же решил, что некому приехать, кроме Кондратия. Он распустил тесемки, — и вновь затянул. „Не с добром приехал“, — подумал он, и сразу же горечь и страх, нестерпимо мучавшие его, прошли, и еще более стали понятны прочитанные стишки. „Главное, меньше водки пить да и в карты не играть“, — сказал он молокану и молокан, увидав его развеселевшее лицо, неизвестно чему подмигнул. Ермолай Григорьич вытер тряпкой громадные солдатские ботинки, тоже занятые у соседа, и, осторожно ступая, направился по длинному тусклому и вонючему коридору. И он тоже, как и его сын, заметил, что день был высокий и ясный. Двор тюрьмы был весь в траве, и, переполненный неизвестно откуда хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну. Кондратий сидел у стены на грудке кирпичей. Перед тем, как притти в тюрьму, он выпил полбутылки водки, и хмель еще не успел ударить в тело, а где-то под сердцем лежало и таяло дешевое, как от табаку, томление. Ермолай Григорьич остановился перед сыном, откинул назад голову и ждущим, в то же время успокоенным голосом сказал: „ну“, — и тогда Кондратий встал, не спеша сунул руку в карман и ударил отца ножом в живот. Нож как-то необычайно быстро выскочил обратно, и Кондратий ударил еще. Ермолай Григорьич стукнул зубами, схватился пальцами за усы, затем за глаза и подогнул колени. Руки у него упали на грудь, да так и остались, впившись в чистую с аккуратными тесемочками на вороту рубашу. Тут только Кондратий увидел на его ногах огромные тщательно начищенные сапоги, крепко стянутые толстым кожаным ремешком. Сразу же хмель зашатал его, и Кондратий устало присел на кирпичи. Уже трещал напуганный свисток, к трупу бежали с мокрыми раскрытыми ртами арестанты, а лицо у убитого делалось все более и более успокоенным и благодарным.

---

# Три стихотворения

ПЕТР ОРЕШИН

## 1. Песня

Ты не пой, не весели и не зови,  
Вся душа моя в тумане и крови.

Где убил ее, не помню, не скажу.  
Отдал милую разбойному ножу.

Лес ли темный, ночь ли темная виной,  
Не видать мне больше воли голубой,

Не топтать мне по лесам знакомых троп,  
Положил мечту зарезанную в гроб.

И хожу я по полям и по лесам,  
По озерам и по темным городам

Без ума и без дорог и без пути,  
Все равно мне больше милой не найти.

Я хожу, а по заречью тут и там  
Заливается гармошка по ладам.

— Ты забудь, забудь, что было да прошло,  
Заходи-ка, парень, в нищее село,

— Наливай-ка браги квашенную сыть,  
Дахвати-ка, чтобы горюшко забыть!

Тилилинькает гармоника с реки,  
По окошкам озорные огоньки.

Песне пьяной да разгульной будто в лад  
Колокольчики степные говорят.

Да уж мне ли разогнать речной туман,  
Не вводи меня, гармоника, в обман!

Ты не пой, не весели и не зови,  
Вся душа моя в тумане и в крови!

## II. Пустыня

На ветру колючем  
В саване поля.  
Под тяжелой тучей  
Леденю я.

А вокруг пустыня,  
Снег да тишина.  
И над степью синей  
Замерла луна.

Я лежу в тумане,  
Словно в полусне.  
Слышу, будто сани  
Шелестят ко мне.

Открываю очи,—  
Пусто и темно.  
Ледяные ночи  
Гонятся за мной.

Я кричу от боли  
В голубой мороз...  
Не видать ни поля,  
Ни степных берез,

Ни луны, ни света,  
Ни дорожных вех.  
Мертвого поэта  
Осыпает снег.

Завопила стужа,  
— Отошел поэт!—  
Да кому он нужен,  
Никого и нет!

## III

\* \* \*

Ах, если б сон  
Меня унес  
В зеленый звон  
Лесных берез,

В степную бредь,  
В густую рожь.  
Устал я петь  
Одно и то ж!

А как подчас  
Не петь, не звать.—  
В душе у вас  
И тишь, и гладь,

И жутко мне,  
И страшно вам  
Мечтать во сне  
По журавлям.

Ах, если б сон  
Увел меня  
В лесной полон  
Лесного дня,

И спрятал там  
Под лопухи...  
Устал я вам  
Писать стихи!

# Д в о р

Повесть

АННА КАРАВАЕВА

(Окончание<sup>1</sup>)

**П**рошел сенокос. Завалили вышки пахучими охапками травы, уминали туго зеленые длинные космы — высокая уродилась ныне трава на поёмных лугах.

Степан, упихивая последнюю охапку, потный, красный, весело повертел в руке вилы:

— На будущий год еще под поём кусок захвачу — плотинку можно наладить.

И, не сдержав довольства, подмигнул домовнице. Она слегка вспыхнула и нахмурила жиденские брови на белом лбу — загар не льнул к ней.

— Чего ж особенно радоваться?..

И дернула плечом. Такая уж в ней привычка, если что не нравится.

Степан не обиделся — домовницын нрав уже знал. Иногда хоть и добродушно, по-хорошему, но побаивался ее неторопливой, раздумчивой насмешки, ранней самостоятельности.

Не спрашиваясь, она сама кончала работу, старательно умывалась, меняла платьишко.

— Ну, теперь до вечернего удоя свободна.

Или:

— Ну, до ужина все сделано.

Знакомых девок у ней было мало, потому выходила редко, а в свободное время садилась на крылечке с работой, или, подперев щеки кулаками, низко глядела в книжку близорукими глазами. Кольша удивлялся:

— Куда тебе столько ума?..

Отвечала сухо, дергая щуплым плечом:

---

<sup>1</sup>) См. № 11 «Нового Мира».

— Привыкла, в городе ведь жила.

Поворачивалась спиной, всем видом своим показывала, что недовольна — зачем мешают, кажется, она свое дело знает.

— Не лезь, говорят, — сердито обрывал Степан брата, досадуя сам не зная на что. Может быть, из-за того, что уходит Олимпиада во что-то свое и никого туда не пускает.

Она как-то смекнула и сказала, пожив губы усмешкой:

— Хороший ты человек, Степан Андреич, а все-таки зло тебя берет, когда женщина хочет по-своему жить, своим умом раскидывать. Не ты один книжки твои разумеешь.

— Ну, выдумала, — смутился Степан.

— Чего выдумала? Не скоро это из вас, мужиков, уйдет. Думаете только у вас может голова варить?

Степан слегка огрызнулся:

— В деревне бы прожила — такой зубастой бы не быть.

Она повысила голос:

— Деревне еще уметь надо много.

Степан только крикнул — с этой девахой немного наспоришь: срежет почем зря.

Но, хоть иногда и досадовал, уважение к сухонькой стриженной домовнице все крепло.

Как-то в разговоре Кольша предположил: а вдруг Олимпиада уйдет? Степан даже испугался, опять сам не зная чего. Не мог себе представить, как это во дворе вдруг не будет Олимпиады. И, вспыхнув всем лицом по самые волосы, подумал, что выход один: жениться на домовнице. Но поди, докопайся, что у этой девки на уме? Как она о нем думает?

Когда видел в зеркальце свое большещекое лицо с облупившимся от солнца толстым носом, волосы цвета грязно-выцвелевой соломы, маленькие глазки, губастый рот, хмурился и бормотал:

— М-да-а-а...

И старался не глядеть на Липу, мрачнел. И туго надувал щетинистые щеки. Да, может быть, деваха и сама думает выйти за него, а просто линию ведет — умна, хитра, показывает другое.

Без женщины брала уж тоска. Был здоров, крепок телом, не помнил, когда чем болел, сил в избытке. Но мысль о гулянке гнал, хотел жениться.

Как-то сравнил Олимпиаду с Мариной. Домовница показалась угловатой, щуплой, лопатки остро выступали на ее худой впалой спине.

Но в огороде пышно принялись новые семена, при ней посаженные: картошка американская, крупная, желтая порода, цветная капуста, простая, кустиками и брюссельская, мелкая, нежными завитушками — этого никогда еще не росло в его огороде. Это все по почину домовницы, хорошо в городе такая овощ идет, еще редкость (и тут же опять свое словечко приклеила, остроязыкая: „культурная овощ“ — будь ты совсем!..).

В самую пору окучена картошка, много раз выполоты гряды, лишняя травинка теперь носу не смеет показать. И все это работа домовнических проворных рук. Что значит, в самделе, весноватое будто под буро-желтой пленкой лицо ее, худоба, жиденькая скобка стриженных волос, невеселость?.. Ничего не значит, когда у нее такие золотые прыткие руки и хозяйственный зоркий глаз.

Она смотрела на Степана не столько бледно-голубыми своими глазами, сколько пышной зеленью гряд, стаями ровно налитых свежим соком, округлых темно-изумрудных огурцов в парниках. В довольных глазах Топтухи, у которой недавно Олимпиада вылечила лишай, он видел отраженье озабоченной домовницы.

Все тверже думал:

„Вот после суда непременно скажу, что намерен - де жениться“.

Дикая печаль первых дней после семейного разрыва уже не отзвучивалась почти ничем; она, как горькое, старое семя, заросла свежей зеленой курчавью гряд, заглохла под свежим цветеньем земли в огороде...

Когда брал Марину, знал, что она выйдет за него обязательно, но не знал, какая она, Марина — дура или умная, хитрая, или упрямая... Просто дурел возле нее, кровь кипела глухо, по-звериному. С этой выходило иначе, совсем по-другому: у этой выискивал в глазах теплоту, дорожил каждым приветным словом, хоть и видел острые ее лопатки и весноватое бесцветное лицо. Упорно присматривался, загадывал: залетная ты птица под моей крышей, или думаешь вить гнездо?..

А она, оказалось, думала много такого уже, чего ему в голову не приходило.

Как-то вечером зашел разговор о суде.

— А нехорошо, — сказала вдруг Олимпиада.

— Чего же так? — удивился ее осуждающему голосу Степан.

— Я вот, — не отвечая прямо, заговорила она, — в коммуне-то работала... Н-ну... там тож люди, конечно: ссоры тож всякие, ругань случается... Так там муж с женой развелись, как раз при мне. Интересно. Ругались, попрекали друг дружку, потом жена говорит: ну, тебя ко всем чертям, уйду из твоего помещения...

— Куда ж она ушла-то? — недовольно кашлянул Степан.

— Буду, говорит, в комнатах для одиноких жить... ха... ха... У них там дом большущий, семейным комнаты побольше, одиноким — маленькие. Она и ушла в маленькую комнату.

— Только и всего, будто? — насмешливо спросил Степан.

Она сказала твердо:

— Только и всего. Хлеб в руках у ней остался, бездомной не будет.

— А ты это к чему рассказываешь?

— К чему?

Пожала плечами.

— На тебя с Корзуниными смотрю: перегрызть горла готовы за добро. Каждый в своей коробушке держит.

— Эх, ты — книжница! До такого дела, как ты говоришь, доходить надо долго...

— Кто говорит, что сразу... А только этак по-настоящему.

Она была слишком городская и не понимала уже опьянения и единой победы над соками темной земли.

А Марина тосковала.

До-черна загорелая сухопарая нищенка, заночевавшая по пути у Корзуниных, терпеливо слушала жалобы Марины о горькой жизни.

Нищенка спросила осторожно:

— Да как же, родная, ты этак очутилась-то?..

Марина, потупясь и вздыхая, рассказала про Платона и под конец ударила себя в грудь.

— Самое себя ненавижу... Сука, дура простоволосая: все для мужика забыла... А чо мужик, как мужик. Ежели для постели к нему тянешься, так баловство это... постеля на короткое времячко, а работа, хозяйство на всю жизнь... Не ценила я ничего, от сытости башку глупую с плеч сняла...

И казалось Марине, что тоска впиалась в нее, как клещ. Было время — тосковала о Платоне, злобясь на мужа, но что значила в сравнении с прошлым эта новая упорная тоска? Она жалила, кусала, будоражила мысли, напрягалась, давила жгучей тяжелой волной.

Марина потеряла сон, металась в бессоннице. До ломоты в теле тосковала о ранних вставаниях под петушью задорливую песню... Видела суетливых кур, клюющих просо, свинные рыла, парные от свежого пойла, мягкую морду Топтухи, всю привычную жизнь своего двора. Мычанье Топтухи, сытё похрюкивание свиной семьи показалось бы ей звончее и напевнее самой заливчатой гармонии. Кажется, позови ее сейчас Степан, не как жену, так просто для двора, пошла бы, только бы не ныла сила в руках. Пошла бы, чтобы уставать за день до боли в спине, засыпать крепко, сладко пробуждаясь на прохладе зари.

Тоска не только мутила мысли, но точно вошла и в кровь: не то червяк, не то зверышка какая-то сосет все внутри, день и ночь сосет.

Марина не выдержала — и решила пойти в баюковский двор. Сама не знала, чего ей нужно, но шла с шумом в ушах, истомленная одной жадью: увидеть, увидеть.

Надеялась, что Степан с Кольшей на пашне.

Так и оказалось — их дома не было. Марина толкнула калитку, перешагнула через подворотню — и ноги обмякли, в горле захолонуло, забило чем-то твердым — не вздохнешь.

Двор чисто выметен, сровнен, земля похожа на туго прибитый черно-серый половик. Длинные жерди сверху сняты, и солнце, как послушная сытая скотина, большим золотым пятном разлеглось возле крыльца.

Вышла Топтуха, тяжело переваливаясь затучневшими боками. Марина подумала: „стельная ходит“.

Протянула дрожащую руку, чтобы потрепать жирную Топтухину шею, но корова фыркнула, повела мордой и равнодушно отошла — она забыла ее, Марину!..

Дверь в избу была открыта. Вдруг тяжело задыша пересохшим ртом, Марина поднялась по ступенькам.

В сенцах под рукомойником мылась весноватая деваха. Она была без кофты, в юбочке и голубой сорочке. Щедрой струей лила воду, смывая грязь с рук, лица и шеи. На табуретке лежал кусок розового мыла, от которого пахло, как от ярмарочных леденцов.

— Здравствуешь,— холодно и неприязненно бросила Марина, — чтой-то рано начала мыться-то, день-от долгой.

Деваха намылилась еще раз и, отфыркиваясь от пены, сказала спскойно:

— Не ходить же грязнухой весь день.

Марина кивнула на мыло:

— Богато, видно, живете?

— На свои покупаю.

— Как... то-ись... на свои?

— Жалованье получаю.

Марина поджала губы — чем бы ущемить наглую девку?

— Жалованье получаешь, а корова пошто дома снует?

Деваха неторопливо утиралась.

— А чего зря стельную гнать по жару? Дома хорошо поест.

Кончила утираться, по стриженным волосам провела гребенкой, всадила ее опять, накинула на себя линялую, но проглаженную коф-тешку и, застегиваясь, спросила:

— Да, ты кто такая? Чего тебе надо-то?..

На губах у девахи от умывания пробился легкий румянец, как на зреющем яблоке, а голубые глаза прозрачны, как стекло. — Так бы вот и выхлестал их, разбил на мелкие кусочки, растоп-тал бы.

— Ты — что, не слышишь?.. Чего, говорю, надо-то?..

Марина захрипела, будто что душило ее. С усилием проглотила горькую полынную слюну — и выкрикнула сдавленно и злобно:

— Кто-о?.. Баюкова-а!.. Хозяйка вот двора этого... Вот кто!..

— А-а... — слегка оторопев, сказала домовница, но тут же на-шлась: — если поговорить пришла с Баюковым, так подожди — он скоро с пашни обедать придет. Сядь вон у ворот и подожди.

— С...спа...си...и...бо...о!.. — с рыдающим смехом крикнула Марина, одуревая от бурно поднимающегося вверх удушья ненависти... — До-обра-ая ты-ы!.. Гонишь, как собаку... за ворота... А-ах... ты... Вошла сюда на готовенькое, мной накопленное, мной... да еще изгаляется... Стерва ты... воровка... Да!..

— Ты... в уме ли? — побледнела, как холстина, домовница. — Ты... что это? Какое имеешь право?.. Я... я в суд за такие слова... Уходи ты, уходи, пожалуйста.

И тут она оказалась сильнее.

Так стояли обе, тяжело дыша, друг против друга: старая, отхо-зйничавшая и новая, что, наверняка, готовилась стать хозяйкой двора.

Марина передохнула и забрызгала ей в лицо:

— Спишь уж, поди, с ним, холера?.. Задешево, куда, добро до-сталось...

— Да ты что, в самделе?.. — повысила голос домовница. — Уйдешь, или нет?

И легонько, но решительно отодвинула Марину доктем.

Марина словно ожглась, взвизгнула — и вдруг бешено зажала в цепких пальцах стриженные волосы, скрутила их, тянула вниз.

Деваха жалобно взывала, рвалась, билась, укусила Марину... Марина громко сопела, нижняя губа упала, на грязную кофту текла слюна... Без дум, без желаний, чуя только под рукой ненавистное тело, побежденное ею, орущее, жалобное, щипала, колотила и тащила, как мешок, по ступенькам...

— Вот тебе... в-вот... в-вот... стерва, мерзавка...

И — вдруг все сразу как уплыло из-под жадных пальцев. Марина рванулась — и замерла, задохнулась, будто ступив на лед.

Над ней стояло страшное, с горящими глазами лицо Степана. Его пальцы еще стиснули ее железными тугими клейками — и разжались. В спину будто толкнуло краем бревна, — это отбросил к воротам кулак Степана.

В его глазах не было пощады.

— Ты... еще драться пришла, подлая?.. Мало вы, дьяволы, крови испортили, мало?..

Что-то говорила избитая домовница, а Степан уже поднимал ее, при-гладил растрепанные волосы и, осторожно обняв за плечи, повел в дом.

Полуобернулся, не показывая взгляда, и бросил зло и твердо:

— Проваливай, чтоб духу твоего здесь больше не было!

И ушел в дом, что-то наговаривая.

Марина огляделась вытаращенными глазами, обернулась и про-шептала тупо вялыми губами:

— Когда подкатил и не заметила...

В открытых воротах стоял Каурый и смотрел на нее косым, сер-дитым взглядом. Все было чужое. Тут жили враги.

---

Весь день Корзунины, особенно Маркел, на разные лады попре-кали Марину:

— Людей бы тебе скликать — вот, мол, изверг-то мой... Есть ли кто дуровой этой бабы?.. Досталось этакое чудышко на нашу шею, — господи, отец наш небесный... видно за грехи какие...

Вечером, когда Марина месила квашню, старуха хрипела ей из-за печки:

— Ох, все ты не так... Нет разуменья в тебе, мечешься зря... вот ежели бы такое дело со мной было...

— Да ну тебя, калечная! — обиженно и зло крикнула Марина, шумно составила квашню на печь и выбежала во двор.

---

Утром Степан вышел за ворота и обомлел: ворота были густо, жирно вымазаны дегтем. Кто-то, дико макая кисть в деготь, так старался избеобразить ворота, что даже вся земля была закапана дегтем.

Сбежались соседи. Степан бил о землю сапогами и кричал:

— Они это, они... дьяволы проклятые!

Обратил к Финогену невидящие глаза:

— Айда туда... к этим...

Никогда еще Корзунины не слышали такого стука: в ворота будто грохотал гром...

В невозмутимое лицо Андреяну захрипел Степан, забрызгался слюной, выкрикивая про стыд своего двора.

— Хоть везде обыщи, у нас даже и дегтя-то нигде нет. Завтра вот у смологонов покупать будем... Иди, погляди.

И Андреян с готовностью распахнул калитку.

Был он противен до удушья.

Степан стух, устало вода глазами. Чуял — Корзуниных дела, только конца в воду спрятали.

— Ну, вас к чорту, х-хамы... Ужо сосчитаемся потом по-свойски.

Не заметил, как жаркая злоба зажглась в насупленных Андреяновых глазах.

Лихо заломив уже выцветелый на деревенском солнце красноармейский шлем, Степан гордой развалкой зашагал по пыли. Походил на бойца, который пока что не замахнулся, и приберег удар до следующего раза. Поупрямиться бы Степану и заглянуть в огород — из рухлой корзунинской банешки услышал бы он поистине медвежий храп. Это дрых пьяный Ефимка Ермаков, дурашный мужик. Не только руки, но и лысеющая его голова были в дегте.

Дома горько и жалобно, раздавленная оскорблением, плакала домовница. Степан, не сдержав разволнованного сердца, крикнул с отчаянной убедительностью:

— То-есть... Липа, не обращайтесь внимания на этих зверей... Липа!.. Я во всеуслышание объявляю, что считаю вас своей невестой... ежели вы только этого факта пожелаете, Липа, я всем об этом расскажу... чтоб не смели никто... никто.

---

Забота, беспокойство, ссоры прочно поселились в корзунинском дворе. Даже ребята стихли, боялись галдеть возле дома. Ермачиху же будто подменили. Давно ли с угодливой благодарностью пила мали-

новый чай с лепешками после осенней „помочи“, кланялась низко, выговаривала уважительно, прислушиваясь к каждому чужому слову. А теперь набрала важности, возомнила о себе нивесть что, прекословила, даже явно задирала. Недели не проходило, чтобы не заявлялась Ермачиха в корзунинский двор. То просила „черепушечку масла“ (а в посудину добрый фунт уйдет), то трясла замызганным мешечком и просила „насыпать крупки“, то ее „на капустку соленую потянуло“— словом, лезла, липла, как грибная сырость.

Будто не замечая перекошенных дергающихся лиц и свирепых глаз, с добродушной ужимкой еще приговаривала:

— Не скупись, матушка, клади смелее... Чай, человеку идет, а не собаке... Скушаю за твое здоровье...

Она приходила развязная, с веселым хихиканьем, в полной уверенности, что отказать ей не посмеют.

Уходя, она подмигивала и прятала под фартук „даянье радетелей“.

— Прячу уж, голубчики, прячу от людей. Еще скажут: с чего этта Корзунины ей задавали, чай, они не из щедрых. А я... Ни-ни... никак вас выдавать не желаю!

Она частенько или намеренно или забывала поблагодарить. В корзунинском дворе ее возненавидели дружно, свирепо, как коршуна, что нападает на кур среди бела дня. Все вздрагивали, менялись на лице, когда видели ее семенящую походку:

— Ермачиха идет!..

Раз как-то бабы заперли на засов калитку. Ермачиха поторкалась—и поняла, что ее не пускают. Тогда она яростно застучала в окно и показала темный жилистый кулак.

— Вот как людей цените... выжиги! Я за вас грех на душу беру, а вы меня в шею... дождетесь, осрамлю, обскажу про вас!..

И бабы оторопело открыли ненавистой старухе. Она опять уходила с черепушкой масла на „шанежки“. Тут не стало больше сил даже у скрытной всегда Прасковьи—завыла самолюбивая прилежная баба:

— Ой, да что же это будет, голубчики?

Ермачиха из бесхозяйной, незаметной старушни обратилась в неотвязную тучу, что чернела и бухла над корзунинским двором.

---

В этот вечер особенно много говорили о своих горестях и кляли Ермачиху.

— Разорит она нас, проклятая...

— Пòка суд, да дело собаку с'ело, она нас, как коза, обдирать будет...

Мрачнели мужики, горюнились бабы и казалось, не вечерняя тьма густеет над двором, а злая извèть, новые непредвиденные беды, перед которыми все они бессильны.

И опять разговор скатился в темную воровато-теплую лошину, обмяк всегдашней мечтой, а если бы до суда Баюков умер?!

— Тогда бы к обществу, первым делом, — сказал Маркел.

— В ноги бы должна пасть и упрашивать, — ткнул пальцем в Марину такой же важный Андреян, — простите, мол, все граждане, коим в чем повинна, а заступитесь...

— Вымолила бы!.. — жарко закрестилась Марина, — ноги бы всем перецеловала, а вышло бы по-моему...

Семен поддразнил:

— А что бы перво-наперво сделала?...

Марина задохнулась и выметнула вперед кулаки:

— Перво-наперво девку долой! Осрамила бы и прогнала...

— Хо, хо!.. — довольно затрясся Маркел, — а с Кольшей бы, девонька, как?

— А мы бы его женили, — живо подхватил Платон. Все ввязались, каждый со своим.

Кольшу оженить, конечно, плевое дело. Лучше кой-чего в хозяйстве лишиться, а Кольшу прифрантить, сваху подкупить, заманенную девку обещать задарить, так чтобы у ней глаза разгорелись. Пусть Кольша идет „в дом“ — и дальше нет о нем заботы.

Высчитывали, во что это все обойдется, даже заспорили. Потом представили себе Марину и Платона одних во дворе.

Прасковья сказала:

— Можно бы из нашего в ваш огород дверки изладить и прямо бы к вам за водой ходить... куды бы хорошо...

— Что-ж, ладно, нам не жалко, — с готовностью согласилась Марина.

— В баньку бы вашу ходили — мыться... хе... хе... — крикнул Маркел, — в нашей пол вовсе прохудел, дует в самые ноги...

Большаки подтвердили:

— Да и червива она вся, зимой хоть не мойся.

Прасковья была болезненна, все жаловалась на спину. Покрутила головой и даже зажмурилась:

— А уж я бы на вашем полке попарилась, уж бы всласть.

Марина и Платон со всем соглашались, вдруг сразу раздобрев на многие обещанья.

Каждое слово звучало, как смертное заклинание, призывающее гибель на одного, виноватого во всем. Ни у кого не срывался голос, никто не скрывал, чего он хочет. Каждая мысль выходила голой, не прикрытой ничем, как черное лицо земли. Оно было неисповедимо и грозно, как лик древнего темного бога, скупое на радость, требовательное, жадное, с тяжким, дурманным духом.

Потому все выходило хорошо — умри бы Степан Баюков.

— Вот ведь, — вздохнула Марина, — за кого бога молят, чтобы жизнь была боле, а для кого смерти не докличешься...

Сзади в избе вдруг прорвало тишину громким надсадным хрипом:

— Да с вами и бог спутается вовсе!.. не знай чего надо вам в пасти сунуть!..

Все вздрогнули, даже в темноте почуяли, как перекосило лицо у Маркела. Он быстро поднялся со ступеньки и затопал в избу.

— Ты что, колода, ляпаешь опять? Богохульница, карга постылая!

За печкой скрипела кровать, и параличная надрывалась злорадным хохотом:

— И-хо-хо-о... Вы бы уж до последок говорили, чего вам охота...

— Чего охота?—затопал Маркел, — о доме мы говорили, о дворовой заботе... Не все такие, как ты... Ты смолоду подол по ветру держала: я и взял-то тебя какую...

И, озлобясь без меры на старуху, буйствующую в своем бессильи, выкрикнул скверные, заторные слова...

— Вр-ешь!..—дико взвизгнула Корзуниха, и до двора донесли шумные, хриплые ее вздохи,—я за тебя неволей шла... и... была честн...

Вдруг она смолкла и захрипела длинно и жутко...

— Эй!.. — крикнул испуганно Маркел, — свету дайте, старухе худо!..

Когда бледно мигнула старая лампенка, за печкой было уже тихо. Старуха лежала, распластавшись на кровати—вторым ударом добило ее на смерть. Грудь ее уже не поднималась. Полуоткрытый рот, не успевший ответить, скосило вбок, высоко приподняв губу над ровными крепкими зубами. Брови свело к носу—одну выше, другую ниже. Правый глаз, приподняв бровь, приоткрылся, будто еще сохраняя в себе далекое пыланье последнего буйного огня. Все даже вздрогнули сначала, но, оказалось, это скользнул луч лампы.

Застыла Корзуниха быстро, еле успели обрядить.

Прасковья по несколько раз принималась держать на правом глазу покойницы медный пятак, оттягивая вниз темно-желтое веко, но глаз не закрывался—старуха и после смерти не хотела никому покоряться. Прасковья старалась не глядеть на мертвое лицо свекрови. В нем так и застыло отчаянное напряжение. Оно напоминало бешеную прибойную волну, охваченную ледяным ветром и не успевшую спастись.

Народу на похоронах было немного. Все опасливо поднимали глаза на неуспокоившееся старухино лицо.

А она лежала в гробу большая, тихая, носки врозь, добитые ударом руки никто не мог уложить крестом, и они лежали необычно—прямо, вдоль тела. На желтом лбу морщины яростно сгрудились к бровям, крепкие зубы угрожающе блестели—будто безмолвно проклинала Корзуниха дворовую затхлую теплынь и гиблую тесноту.

Олимпиада еле успевала приносить в бадейке квасу, чтобы напоить многих гостей—полно народу в баюковском дворе, и дни хоть на сентябрьские повернули, а жарко до поту.

— Ну, и опились все нынче,—смешливо наварчивала домовница, нацеживая в погребе новую бадейку квасу.

Мужики пили, смачно обсасывая усы, негромко отрыгивались и оправдывались:

— С одной стороны—жара, с другой—разговоров нынче много, деваха.

Для разговоров и гляденья и набиваются сегодня деревенские к Баюкову. И все льнут к одному месту: к широким дверям Топтухиного хлева.

Там было почти так же светло, как и в комнате. В двух оконцах блестели недавно протертые стекла. Топтуха стояла возле новой удобной, по росту ее, кормушки и по временам, будто спасаясь от людских взглядов, погружала морду в пахучую травяную охапку. Свет из оконца золотил пышную чолку между ее ровно загнутыми рогами, черные моргающие глаза. Топтуха была сыта и жевала зря, но столько сегодня людей к ней подходило, трогало, глядело под ее брюхо, щупало соски, что было отчего неловко стоять.

Люди, ясно, худого делать не хотели, их нельзя было ни боднуть, ни даже по-свойски махнуть хвостом. Потому и стеснялась так Топтуха.

Во дворе шел несмолкаемый говор и шутки:

— Аж ошалела коровешка-то от погляду...

— Тебя бы этак перед народом.

— Кабы не с худым, постояла бы...

Вчера Топтуха начала есть из новой кормушки в хлеве, готовом для зимы.

Хлев оглядели кругом и внутри.

Мужики сначала было уели Степана:

— Это ты, парень, по-нашему, с полом перестарался: ну, к чему этакую работу производить?.. Деревянные болвашки вколотил, будто корове плясать надо.

— Правильно-о... Скотина, она скотина и есть, ей обхожденья не понимать...

Степан приставил палец к груди несогласливого соседа, сдернул шлем к самым бровям и сказал важно, как-то в нос:

— Неосновательно ты судишь... Знаешь, сколько корова в себе сырости носит? Копытами потом все утопчет? Да?..

Получив кивок, подмигнул всем и заорал:

— Ага-а... Утопчет... А моя нет, моя нет!.. Ты вот в осень, в мозглю самую, нюхни, чем будут у моей Топтухи сиськи пахнуть, чем у твоей...

Водил рукой над деревянным полом Топтухиного жилья и бурно выпячивал грудь, словно гонец, который докладывает о долгожданной победе над неприятелем.

— С этакого пола... р-раз—и нет ничего. А-а... хмыкнул, родной? Почему у баб в городе молоко бракуют? Запах нехороший... г-голова недогадливые, сами видите, отчего такой факт происходит...

Бабы поддержали рьяно в одногослье: бывает так часто, на-счет запаху в молоке и всего другого—это, он, Степан, замечает правильно. Тут же некоторые сцепились с мужьями:

— По-вашему корова—стряпкино дело? Брешете?.. толку у вас на это нет.

— Вот прилипли!—отмахивались мужики, но некоторые уже теребили Степана, во что встало ему утеплить хлев.

Он, высоко поднимая руку („пусть всем видать!\*), уже в который раз загибал пальцы, потом разгибал их и становил веселой растопырой:

— Где тут дорого-то, друзья-товарищи? Чай, я не капиталист, чтоб на „дорого“ проезжаться...

Всего больше толков о самой Топтухе. Корове за половину отела перевалило, брюхо вон как взбарабанило—а она все доит и даже прибавила.. Бабы щупали розовые коровьи соски, принюхивались к тугому вымени, оглаживали теплое брюхо, предугадывая, что теленок будет, наверняка, крупный.

Степан по старому смятому листу вычитывал медленно, важно, как по псалтырю: тут ведь вся Топтухина история.

— Двенадцатую неделю ее так воспитываю.

Едва ли много больше гордости было бы, если бы говорил он об умном крепыше-сыне.

Олимпиада смотрела на хозяина и таючись посмеивалась. Важность выпирала из него, как пот!

Голос часто срывался, как при долгой ходьбе, то густел, наливаясь нутряным каким-то погрохатыванием—точь в точь, как погромливает за лесами в сонный золотой день, то вдруг ломался обычно ровный голос, взбирался в высоту, как у молоденького парнишки, а то еще и пригнусливал.

Выцвелый шлем то и дело взлетал на макушку, растопорща на лбу взмокшие грязно-желтые волосы. Если бы не шлем, казалось Олимпиаде, у него ничем не отличное от других мужиков лицо, разве вот что бреется. Шлем, как видно, ни за что не хотел снять. Домовничиной стриженной тонковолосой голове свежо и приятно, и ему было охота заметить: что-ж в сукне-то париться? Но заметить боялась.

Она одна знала, как волновался поутру этот сильный краснорожий от избытка здоровья мужик, что ходил на Врангеля и под обстрелом упер от белых пулемет. А тут то и дело спрашивал ее:

— Как вы соображаете, Липа, вопросов будет много?

Раз говорил „вы“, значит что-то щемило мысли, чувствовал себя необычайно. Брился особенно старательно против обычных воскресений, подпирал толстые щеки языком и, не дыша, водил бритвой.

Бритва была тупая и шаркала кожу, но он скоблил терпеливо, не замечая пота на лбу.

Сейчас он смотрел возбужденно, выгибая грудь, перекидывался в разные стороны, ловя замечания, вопросы, успевая везде, смеялся раскатисто, задористо—и белозубый, со сверкающим взглядом, в первый раз показался домовнице, пожалуй, что и красивым. Подумала, слегка краснея:

— А ведь он... ничего, право!..

Самое главное, она знала, будет скоро впереди—и для виду ушла в избу.

Степан вдруг поднес руку к уху и послушал. Две молодых бабенки фыркнули.

— Руку слушает! Н-ну-у!..

Он, с нарочным хладнокровием завернул рукав и, сразу остудив лицо торжественностью, крикнул с крыльца в избу:

— Пожалуйста, Липа, Топтуху доить. Шесть часов вечера.

Бабы уважительно смолкли перед тиканьем часов в желтой браслетке—у многих ли в деревне висят на стене хриплые ходики, все в черных рябинах от бесчисленных мушиных поколений?

Степан же старался:

— Не забудьте, пожалуйста, Липа, полотенце.

И зачем-то опять поглядел на часы.

Женские глаза переглядами сказали друг дружке: вот как с девахой-то обращается.

И часы, и почтительное „вы“ к весноватенькой девахе настраивали на какой-то особый лад. Кто-то из выселковых вдруг сказал:

— Вот будет у нас к зиме сельсовет, тебя в председатели.

Степан побагровел, поперхнулся, задышал часто—и хмыкнул. На большее не хватило. О сегодняшнем дне столько думал, но такого признания не ожидал.

Олимпиада меж тем неспешно выходила из сеней, солнце ударило в начищенный жестяной подойник, и показалось на миг, что в руках у ней дрожит послушно круглый пучек огня.

— Вазелину вы взяли, Липа?

— Да, да,—сказала домовница, нетерпеливо обсудив в уме: „видит ведь, что взяла, чего и спрашивать?“.

Но, взглянув на его лицо, поняла, что все это лишнее он делает не зря—малый дворовый, показ охота изукрашивать все ярче, как умеет. Лицо его было торжественное, улыбливость и громкогласие будто сдуло. Обвел всех построжевшими глазами, зачем-то напыжил щеки и не мигая стал глядеть сбоку, через головы, что творилось в Топтухином жилье.

Когда домовница села под Топтуху, все замолчали. Смотрели на диковинное действо девахи над коровьим выменем, за которым каждой бабе только и делов, что взять в пальцы и тянуть.

Мужики глядели сначала с усмешкой, не давая ей, впрочем, доползти до ушей, бабы не усмехались, а, приоткрыв рты, дышали друг, на дружку, уцепясь за соседкины плечи, чтобы видеть лучше, как ловкие девахины пальцы обнежили сначала коровьи соски мытьем теплой водицей, потом обтерли полотенцем, заботливо, словно мать дитенку, как потом, взяв на пальцы вазелину, деваха бережно, словно фельдшер, втерла его в розовую коровью кожу.

Хоть и кратко, а успела оглянуть всех домовница, пока взялась за доенье. Еще на прошлой неделе, на праздничной дикой гулянке не закрывались рты от матерной брани, лица обратились в потное, жаркое краснорожье с буйно-тупыми взглядами.

Сейчас обращено было к коровьему новому жилью новое же и лицо деревни: задумашеся, жадно-любопытное, ему нельзя было не верить. И Олимпиада надала тугие, ожидающие Топтухины соски.

В толпе пошел тихий, но оживленный говорок. Молоко выцyrкивало упругой белой струей, вспенивалось жирно-белыми хлопками густых пузырей, песенно ударялось о жестяные стенки. Не одна из баб наводила ухо: не жиже ли стало выпеванье упругой молочной струи—нет, велико оказывалось изобильем коровье это вымя, и как благодатный какой сосуд. Подойник был большой, и молоко уже переходило за половину. Вот начало уже доходить до рожка—и только тут ослабела струя, стала все тоньше и тише. Корова скосила глаз на доильщицу, и слегка дернулась брюхом—отдала все. В подойник упали последние капли, толпа во дворе точно очнулась от очарованного сна. Этот отяжелевший подойник, где белая жирная влага чуть не переливалась через край, свежий парной ее дух будто тянули за собой погожий ветер. Он забирался под бабьи платки, под вытертый мех мужичьих шапок и поднимал там суетливое ворошенье юрких, молодых мыслей.

Финоген, прислушиваясь к мычанью на улице, постучал пальцем по сморщенному лбу своей жены:

— Слышь, бутылошница наша домой прётся?

Жена было разобиделась:

— Ну, начал баску коровку...

— Бутылошница, — грозно повторил Финоген, — половины отелу нету, а крынку худомалу дает... Смекай-ко... со своей стороны.

Финоген всем известен, как тихий, неругательный мужик, потому над грозным его окриком смеха пошли.

— Ишь раззадорило дядю!

— Чисто ты инструктор, Степан Анреич, так заразил!

— Иди-ко ты теперь, парень, в коммунисты, тебе в самый раз...

— Ага-а! По крайности учесть можно Матвейку Чикаева...

— Вот холера, господи прости... В грязи живет, как чушка, уваженья никому от его не видать...

— Самогону-то разве нет... уваженья?

— Вот про главное-то и забыли, головы!

— Сельский партийный секретарь называется еще. Задается перед всеми...

— Пользы от него, как от козла...

Деревенское солнце, не знающее застила выше леса, гуляло по подвижным головам. Но голосистая толпа, шумливый разговор чем-то уже напоминали городское. Степан, красный, потный, даже слегка осиплый, но весь избыточно-довольный, кричал:

— Эт-то что? Я завтра вечером свинью колю, послезавтра на утре в город везу, в питомнике там у меня боров-иоркшир при-смотрен... вот какая семейка, поглядите, вырастет... А Топтуха после теленка полтора ведра будет давать...

— Давись, давись, добром-то, бахвал художный!..

Это—притулясь за полузапертой калиткой, пялился вперед торчко-бородый Маркел Корзунин.

Все, онемев, загляделись на оскаленное Маркелово лицо, как на мокрую тинистую лягушку посреди солнечной поляны. Никто не заметил, когда он пришел.

— Глазам-то не совестно, а?.. Жена у добрых людей из милости... у самих в обрез... а тут молоком заливаются, из брюха от сытости прет...

— Ты... че-чего?— заикаясь, закричал Степан. Лицо у него сразу посерело, щеки затряслись. Охлопнул руками бока и глянул тусклыми, дико затосковавшими глазами.

— Эт-то... что ж... товарищи?.. Вот вы свидетели... покою мне от них нет... так и налетают на мой двор!

Маркел уже вошел, держась за калитку: Голенастые его длинные ноги, в домотканной грубой пестрядине, грязных обмотках и раздерганных лаптях, гнулись, словно размокшая глина. Казалось Степану, что от старика этого, лапотного, пестрядинного, грязноногого, несет прогорклым запахом темных, изнавоженных хлевов, низких закуток, прокопченного, душного бытья.

— Вот, глядите, православные... Жену в толчки выгнал, чужую девку взял... Как кулак зажил...

— Поди ты... к дьяволу!— расвирепел Степан. Маркел, казалось, не на землю его двора ступил, а давит на его, Степаново, сердце.— Назолы, негодящие люди... ух... б-батюшки!..

Он задыхался от ненависти.

— Вот враги-то мои, не мытьем, так катаньем хотят содрать— срам на людях устраивают. Ничего вы от меня не попользуетесь, нет!.. Слышишь, жила, хрыч ехидный? Гольшем останусь, а вам, слизнякам, торжества не дам! Вяжутся дьяволы—ни стыда, ни совести... уйди!.. уйди, говорю!..

Губы старика яростно передернулись. Рот раскрыл широко, как нору. Глаза сверляще блеснули—и вдруг нора захлопнулась, взгляд стух. Старик выпрямился, поклонился, ни на кого не глядя. В придушенном голосе нагнетало злобу, как молнию в черном небе:

— Ну.. ин бог с тобой. Он тебе судья...

— Уй... д... ди!..—топал Степан.

Старик вдруг согнулся низко, будто ожидая удара по спине, удавил голову в плечи — и бочком в калитку. Потянул ее за собой и закрыл бесшумно, словно свой собственный рот.

Степан изнеможенно сел на крыльце. Шумно вздохнул:

— У-ух... вот соседушки, душу наизнанку выворотят.

— Д-да.. действительно...—стесненно согласились мужики, а бабы вздохнули о чем-то своем.

Разговор что-то не настраивался, и все скоро ушли.

— Будь он проклят!—бушевал долго Степан,—так и видно было, что изругать, осрамить он меня хотел, печенка лопалась... а с чего-то вдруг заткнулся... Так и жди опять какого подвоха... И чтоб я этаким слизням покорился?.. Да ни за какие деньги! Весь обнимаюсь, а им не уступлю... н-нет! Из суда в суд вытаскаюсь... а их сживу!.. Разве это люди?.. А?.. Разве ж это хозяева? А? Д-дерьмо... пропадать таким...

Когда Маркел пришел домой, лицо у него было черное, в углах посинелых губ вспузырило пену.

Прохрипел:

— Мужики... где?

— В избе... ужинают...

Женщины оторопели, очень страшен казался им свекор.

— Вы... пошли вон отседа... неча вам слушать...

Тяжкой расшарагой протопал по лестнице, размахнулся дверью, хлопнул хрястко — и звонко, как раздраженная собачонка, тьякнул изнутри крючок.

Бабы хотели было опять намуслить пальцы, чтоб крутить шорхлую кудельную пряжу, но замерли все:

— Это что ж у мужиков наших попритчилось?..

— Ой, девка, гляди опять по твоей докуке...

— О, господи,—взвенела Марина,—видно Баюков, окаянна сила, что выдумал опять?

За дверью было тихо. Пряжа не шла на ум.

— Сердце что-то ноет,—пугливо сказала Марина.

— У нас боле твоего изныло,—сухо бросила Прасковья, старательно наводя ухо.

Матрена вдруг решительно встала.

— Ох, душа горит... Пойду тихохонько из кладовушки послушаю...

Кладовушка на задах с продухом в избе.

Вышла Марина из кладовушки трясоголовая, полуротая:

— Бабы... наши-то Баюкова убить хотят... ей-богу... своими ушами слышала... Ефимку-дурака хотят сговорить...

Марина как-то болтнула во рту языком—и пискнула, чуть не упав с лавки.

Прасковья выронила веретешку, побледнела — и строго подняла палец на Матрену.

— Чего рот-то распялила? Не наше дело.

Пожевала сухими губами, поглядела на худосочное лунное острие, вонзившееся в бурое облачко, и медленно шепнула:

— Не мы и... убив... и делать это будем, а Ефимка. С дурака бог спросит.

Подняла веретешку и, помуслив пальцы, снова взялась за нитку, жесткие пальцы подрагивали. Обратила к Марине строгий шопот:

— Чего трясешься? На это тебя хватает, а вот чтобы тягота прошла—тут тебя нет.

Матрена скороспела на думу. Подтолкнула Марину локтем:

— Может лучше еще будет?

— З-замолю-ю!— таяла в слезах Марина и одурело, как петух перед ножом, запела в груди ее злющая тоска.

Прасковья же, все крепче мусоля шершавую нитку и морщась, словно шопотом саднило ей горло, рассказала, как сегодня опять приходила Ермачиха и почти требовала муки. Конечно, она, Прасковья, дала ей.

— Ведьма проклятушая! Одернутой муки-то велела дать, змея!

— Замолю-ю!.. г-господи-и!—исступленно шептала Марина.

Прасковья вздохнула почти молитвенно:

— О-ох, батюшки-и!.. Кончилась бы горькота наша, суд да раззор-

---

За ужином никто не сказал ни слова. Сухо пощелкивало дерево о дерево—ложки о миску с гречневой кашей, мерно жевали рты.

Может быть, услышали даже мужики, как кралась к продуху Матрена, но лица их были темны, одинаковы и непроницаемы, как кора.

Только раз показалось Марине, что пристально, необычайно взглянул старик на нее и Платона, и в глазах у него стояла кипучая тоска и непереносное нетерпение.

Пужинав, закрестились все разом, затылок за затылком, и каждый, молчаливый и сумный, чуял, как мысль у всех одна, что гнездо себе она вила давно и только сегодня подала голос.

---

И опять один-на-один упорно убеждал Маркел корявого Спаса с помощью поторопиться. Как проходящему меняле, натаскал старик в кучу много слов из творений чудотворцев, какие ныне уж совсем перевелись. Благолепны и жалостны были слова, хоть и пестры, но тонки, как паутина, легки, как налет золы на разгоревшемся на ветру угле. Жарко желал старик опять покоя в своем дворе, чтоб не отдавать ни за что, ни про что потом наживаемое добро в жадные ненасытные руки Ермачихи.

Говорил: „на дела свои подвизаюся милосердием твоим“ — и видел, как идет он с венчиком в Маринкину баню (свою, ясно, можно не поправлять); казалось, даже сейчас чувствует, как будут приятно пухнуть щеки от ядерного пара, и до чего будет вкусен чай с жирным Топтухиным молоком.

Упираясь лбом в скрипучие половицы, бормотал униженно: „хлеб наш насущный даждь нам“... — и видел, как полюбовно, по-родственному, поменяются они полосами в пахоту: скудную, что у реки пусть возьмут молодожены, посеют что-нибудь неважное, а им отдадут ту, что сейчас у Баюкова засеяна овсом.

Вот из-за ухода со свету божьего одного человека скольким утеха и сытость! А оставайся он, беспокойный, зубастый грамотей, еще жить-поживать, толку никому не будет... Видно, что отдать ничего не намерен, упрям, камнем на дороге встанет: засудишься с ним до нищеты, до побиранья по чужим дворам, наверняка, докатишься. Нет никакой возможности.

И показалось, что хитренько и ласково мигнуло корявое Спасово лицо, будто после всех стариковых рассуждений поставил он точку.

Напоследок пообещал дворовый глава давнему помощнику целый год кормить по праздникам по одному нищему — на это добра уйдет ведь не мало. Нищие эти, они куда уемистее и жаднее на хлеб, чем все прочие люди.

Что-то неповоротливо собирали в мозгах и большаки, говорили скупно и нерадостно каждый со своим „ангелом“ — с Андряном и Семеном, больше надеясь на отцово уменье. Большаковы жены, полноправные хозяйки, уснули крепко — по этому делу им беспокоиться не положено.

Крепко обнявшись, в лихорадке отчаяния и в надежде, засыпали Платон с Мариной.

В печи же докипала пьяная брага-скороспелка. Завтра с утра разольют ее по бутылкам и снесут на холод. Напиться такой в жару — пойдет в голове дикая плясовая игра: слабый человек буен бывает, море ему по колено, и кровь человеческая бледна и не страшна, как все равно свежий морковный сок.

---

Ефимку Ермакова начали угощать с обеда. Он жадно тянул из стакана мутно-белую пенную брагу.

— Я не только что охотник лесной... я... братцы мои, до хмелю охотник не хуже...

— Пей, не рассосуливай! — уговаривали большаки.

В дурашном мужике все впереверт: во хмелю говорил куда разумнее, чем трезвый, цеплялся за мысль и словно повисал на ней, как орех на ветке. Поверил большакам сразу, что Степан Баюков „законник, терпенья нет“, и хочет его, Ефимку, потянуть „куда следует“, зачем Ефимка шлендает по лесу и палит из ружья. По его, Баюкова,

рассуждению выходит, что Ефимке-де надо сначала много денег отдать „за бумажку с разрешением“, — а потом уж охотиться. Баюков очень высоко себя ставит и думает, что все должны жить по его указке. Прочитать вот его, как следует, пальнуть раз-два, чтобы на людей не лез.

— Ты вот и припугни его...

— Пальни на крутояре... Пусть в реке побарахтается...

Ефимка рассвирепел, пучил водянистые глаза на сумрачных большаков и брызгался мутной бражной слюной.

— Говоришь — припугнуть? Пальнуть? Пальну-у!.. Пусть носа не дерет... да!...

Глядели на него большаки без жалости: был он легкий, без тяги, без привязу к земле, как гнилой палый лист—куда пихнешь ногой, туда ему и дорога.

Поселковые заказали Степану купить в городе в Госсельскладе сепаратор, чтобы пользоваться сообща. Выселки по Степанову совету назвали „Красная Звезда“. На выселках он частый и желанный гость. Придешь—на части рвут: тут посоветуй, здесь раз’ясни. Жаден становится до хорошей жизни народ.

Битая свинья лежала лежачи под рогожей. Степан сидел на краю подводы и высчитывал, сколько может от собранных денег остаться, чтобы еще закупить запасных частей. Тут же похваливался:

— Моя пропаганда, чорт побери!.. Ай да я!..

Лес еще не осыпался, но был дремен—лень предосенняя одолела птиц.

Вот и крутояр, уже зажелтый от летних солнпеков, облезлый, как старческая макушка. Внизу под крутояром шумит река. Тут она глубока и быстра.

Каурый повернул в сторону речного шума умную морду, стал осторожно взбираться по вихлявой дороге.

Вдруг—с сухим громовым треском разорвало тишину... Летнуло мимо уха.

Грохнуло опять—и вдарило в спину возле левого плеча.

Степан сипло охнул и, дико оглядываясь, зажал рукой жар в спине.

За бузинным кустом стоял Ефимка Ермаков. Он пучил глаза—две трясуцих плоски, налитых грязно-блесткой мутью, и игрой корзунинской браги.

— Ты... что-о?—гулко крикнул Степан, прибирая дрожащие ноги на подводу. Каурый запрядал ушами. И взял в бок, подальше от края крутояра.

Степан, чувствуя, как телега с’езжает вниз, будто томясь под злой ворожкой, все гляделся в мутные лужи Ефимкиных глаз.

— Ты... что... пьяная харя... себя сгубить охота?..

Ефимка молчал, вздувал щеки и тыкал вперед смертное черное дуло...

— Дья...вол... знаю кто!..—бешено крикнул Степан, вмиг почуввав, как гложет от стука крови возле уха.

Еле сдержась на подводе, запрыгавшей вниз по кочкам, до боли зажал в правой руке вожжи.

Под новым громовым вылетом прижался к рогоже. Сзади жалобно прошелестело дерево, сшибло ветку.

— Не попал!

Отвратителен был мягкий мертвый свиной бок, но на него можно было положить гудящую голову.

— Каурушко-о... спа...са...ай!...

Краем глаза увидел, содрогнувшись от ужаса, как звериным прыжком Ефимка достал колею, вскинул к щеке дуло — и вдруг болтанул лаптищами, споткнувшись, и пал на спину, отбросив ружье.

Степан судорожно расхохотался, обливаясь жаркой липкой кровью.

Каурый несся зыбкими скачками, с одного подергивания чуя, как надо бежать. Свернули на боковую дорогу, где в песчаной колее глуше стук колес.

Пальба теперь послышалась сбоку—Ефимка, видно, растерялся. Глухо донеслись до Степана яростные его матюки.

Свиная туша колыхалась под гудящей его головой. Вдруг представилось, как его, Степана Баюкова, увидят все деревенские рядом со свиной тушей, мягкого, холодеющего, недвижимого. Затрясся от отращения к смерти, к мясу под рогожей.

Пересиливая немоту в пальцах, рванул изо всей силы рубаху, отодрал кусок, впихнул в жаркое, страшное на спине. Остальное сложил наискось и, дико ругаясь, отплевываясь, обвязался кругом, затянув на груди узел, помогая зубами, корчась, чуть не плача.

Казалось совершенно невероятным, что он, Степан, не увидит больше большого окна Госсельсклада, где жарко блестят разноцветными масляными боками сепараторы, жнейки, сеялки.

Неужели не сбегутся к нему опять во двор, чтобы глядеть на важного иоркшира, розовотелого с золотистой щетиной, которого он присмотрел в животноводческом питомнике? Неужели не завееет опять в его дворе погожим ветром под мужицкие скобки и бабьи глухие платки?

Показалась поблеклая, желто-зеленая луговина. Увидел ее, как во сне, зажмурившись от пестроты. Как во сне, услышал и последний выстрел, сырой, мозглый, будто шлепнули по тухлому яйцу.

Чуял, как под ветерком обсыхает кровь на голом теле, и ужасный больной чес манит царапать, скрести липкую, скользкую, будто чужую, кожу... но не мог поднять руки. Вожжи прилипли к окровелым пальцам, лежал на животе, опираясь плечом о свиную тушу.

К околице Каурый принесся весь в пене.

Степан услышал голоса и звяканье железа, поднял голову—увидел зеленый обомшелый сруб колодца, где кучка баб брала воду. Две из них, с полными ведрами, испуганно обернулись на грохот колес.

Степан увидал Марину и Прасковью.

Обе вскрикнули, как под ножом, и грузно осели, расплескав воду.

— А-а!—забился Степан, утягивая к себе вожжи и приостанавливая Каурого.—А, вот они... вот!

Сбегался народ.

А Степан, привалясь на свиную тушу, голый до пояса, залитый кровью, страшный и дико торжествующий, хрипло кричал, махая одной рукой на двух воющих баб:

— За...яв...ляю!.. Это они... своло...чи!.. Убить меня хотели... а нет... А я.. жив... жив!

Толпа загудела. Сняли с телеги. Навстречу бежала домовница. Махала руками, как птица крыльями, и кричала с болью и тревогой:

— Батюшки... голубчики... Сюда... сюда!..

Изнемогающе отдаваясь власти ее проворных рук,— Степан еще успел встретить ее бездонно-ласковый, жалостный взгляд и, закрывая глаза, знал, что побил мерзкую, холодную смерть.

На улице же голосила Ермачиха, цепляясь за каждого встречного, и рассказывала о своем сыне, которого спаивали Корзунины.

— Загубили тебя, несчастненького, ой... ой, горюшко!

---

Когда пришли деревенские в корзунинский двор, там все уже знали. Маркел оглядел всех и хотел что-то сказать, но только бес- сильно замотал головой и, низко сгорбясь, пошел вместе с сыновьями со двора.

Так валится старая трухлявая коряга, расщепленная грозой, и подминает под себя еще крепкие кусты.

Апрель 1926. Ульяновск.

---

# Там, где ночь

Рассказ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

## I

Самоедин Федор стоял под Черным Камнем близко у воды,—сам как камень неподвижный и темный в облезлой, засаленной малице, с непокрытой головой,—и ветер, прилетая с океана, трепал его черные волосы, похожие на дым. На закрайке нестаявшего снега четко виднелись жестяные чучела гусей. Их было семь—жестяных гусей. Ленивой вереницей они выстроились вдоль воды,—будто пришли неторопливо с берега, вот-вот поплывут. За версту их было видно. И дикие гуси, пролетая, снижались, кричали зовущими головами, им отвечал гусиными зовами сам Федор, гуси снижались еще, шумно опускались в воду у закрайка. Тут от Черного Камня гремел гром, стая в ужасе срывалась, летела прочь, а гусь или два, подняв вверх красные лапы, плавали неподвижно на воде, убитые метким выстрелом.

Уже пяток убитых гусей плавали на воде, когда начался прилив. Волны, танцуя, полезли на берег. У каждой был белый гребешок, волна закидывала его на скользкие черные камни, гребешок рассыпался глазастой пеной. Федор неторопливо задвигался,—собрал жестяные чучела, шестом достал убитых гусей из воды, сложил их в кожаный мешок и пошел по берегу к становищу.

Он был доволен — самоедин Федор. Он крикливо запел песню, стараясь перекрычать шум прибоя и свист ветра в камнях. Он пел о том, что ему думалось.

— У меня есть жестяные гуси, они манят живых гусей. Ни у кого на острове нет жестяных гусей. Я самый богатый. Я убил двенадцать песцов, придет скоро пароход, я продам шкуры, куплю водки, много водки, буду шесть дней пьяный.

Он шел тихонько, опираясь на шест. Мешок и ружье висели у него за спиной, и делали его похожим на горбуна.

— Вода давно чиста ото льда,—пел Федор,—скоро придет пароход. У меня будет водка, много водки, сам напьюсь и всех напою.

Бурые и черные голые камни на берегу громоздились тяжелыми горами и кое-где вставляли забором с острыми зубьями по гребню. Нигде не было на травки, ни мха. Только вода и камни, ветер и холод. Облака плыли низко, тяжелые, сами похожие на каменные горы.

Федор повернул от берега, чтобы пройти горой повыше, где камни ровнее, и круто остановился, точно его кто толкнул в грудь. Он перестал петь. Он повернул лицо к океану, высоко поднял голову. Прилив уже с ревом лез на берег неисчислимыми волнами. У берега вода кипела. Волны подходили не торопясь, с белым живым гребешком, длинные, по целой версте. Они разбивались о камни с грохотом, оханьем, шипеньем. А вдаль уже рождались другие, и шли на смену. Федор смотрел долго, чего-то дожидаясь, по-собачьи нюхал воздух. Потом вдруг оживился и побежал по берегу к становищу.

Становище растянулось под горами в глубине губы, похожей на длинную лапу, что океан протянул к земле. Избы становища лепились по северному берегу под черными каменными горами и казались совсем крохотными против гор и неба. Перед избами, на берегу, лежали вверх дном морские лодки—пашки—и висели на шестах темные сети. Вдали, у самого конца губы, на фоне лиловой горы, маячили черные чумы. Федор подбежал к первой избе, поспешно отворил дверь и крикнул:  
— Пароход идет!..

И этот крик был, как сигнал. Все становище зашевелилось. Поморы и самоеды поспешно выбегали из изб и шли по берегу губы к океану. На мысу начала собираться толпа. Высокий монах Никодим в черной рясе с длинными развевающимися волосами стоял возле помора Воронина. Дул полудник. Вода все прибывала. Весь океан, насколько хватал глаз, шевелился волнами.

Помор Воронин, прислонив к глазам большой морской бинокль, долго шарил по пустому горизонту. Нигде никакой точки. Воронин сердито повернулся к самоедам.

— Ничего не видно.

Федор живо откликнулся:

— Дым есть. Дымом пахнет. Слышишь?

Воронин пробормотал, обернувшись к отцу Никодиму:

— Вот дьяволы. Нос у них лучше собачьего.

Он завидовал чутью самоедов.

Он опять приложил бинокль к глазам. На горизонте показалась тонкая коротенькая черточка.

— Дым! Пароход!—громко сказал Воронин. И передал бинокль отцу Никодиму.

А чьи-то жадные руки уже тянулись за биноклем и справа и слева. На берегу поднялась суетня. Поспешно готовили карбаса и пашки, спускали их на воду, тащили из изб ружья и винтовки, словно собирались вступить в бой с идущим пароходом. Собаки лаяли и визжали.

## II

Часа через два пароход подошел к губе. Уже завиднелись трубы, рубка, мачты. Белое облачко взвилось над пароходом, и густой рев понесся над океаном и островом. Крича и приплясывая, самоеды начали стрелять из ружей и винтовок. Карбаса поспешно плыли по губе в океан навстречу пароходу. На берегу остались только собаки, ребята, два старика и с ними отец Никодим. Федор ехал к пароходу на первом карбасе, правил сам. В знак высшего торжества он надел старую форменную фуражку, подаренную ему десять лет назад архангельским чиновником. Скоро пароходные шлюпки и катер, окруженные карбасами, вошли в губу.

Никто—ни самоеды, ни поморы—не помнили, чтобы не берег сходило с парохода сразу столько народа. Катеры и шлюпки привезли целую толпу. Матросы, плотники, молодые люди с портфелями, суровый мужик в оленьей куртке, два бритых шведа-туриста, художник Топорков—веселый рыжий человек. Все народ новый, кроме Топоркова. Топорков уже приезжал на остров, его самоеды знали, как всю жизнь помнят и знают здесь всякого, кто бы ни приезжал сюда—в пустыню.

С Топорковым поморы и самоеды здоровались за руку. Самоеды наивно, по-детски, показывали пальцем на того или на другого из приезжих и спрашивали:

— А это кто? А это кто? А где большой насальник?

С берега толпа пошла к становищу, к церкви. Бойкий молодой матрос крикнул:

— Товарищи колонисты, на митинг!

Самоеды полезли к Топоркову, торопливо спрашивая:

— Что он говорит? Скажи, что говорит?

— С вами начальники будут разговаривать. Идите за ними,—отвечал Топорков.

В толпе шел и монах Никодим,—он видел: идут к церкви и, как хозяин, торопился не отстать. Приезжие чуть сторонились его, смотрели как-то мимо, вскользь. Собаки лаяли на приезжих. Самоеды гнали их прочь, покрикивая:

— Уить! Уить!

Самоедин Федор заметил, что приезжие грудятся вокруг сердитого мужика в оленьей куртке, смотрели ему в лицо, слушали его приказ. Федор решил: это самый большой начальник и есть. На маленьком крылечке церкви суровый мужик остановился, и толпа сгрудилась вокруг. Отец Никодим отпер церковную дверь. Нетерпеливый Федор спрашивал соседей:

— Что такое будет? Богу молиться?

Но суровый мужик не зашел в церковь. Он начал что-то кричать, замахав руками. Федор понял только три слова: товарищи, царь, бог. Он немигаючи смотрел в мелькающий рот сердитому мужику и пугался: ой-ой, какой сердитый начальник!

Начальник показал рукой на отца Никодима и стал говорить еще громче, будто ругался. Ну, ясно: ругался, — отец Никодим, крестясь в испуге, пошел прочь от церкви к своей избе. Он согнулся, прижимал руки к ушам. Самоеды переглядывались. Поморы-колонисты сошлись вместе, шептались. А суровый мужик все кричал, кричал что-то про бога, и показывал на открытую церковь и на крышу, где маячил невысокий деревянный крест.

Вот суровый мужик устал кричать, сошел с крыльца. Тогда молодой начальник снял картуз и закричал так же громко и сердито. Федор вспотел от страха: что это будет?

Потом другие начальники открыли дверь церкви. Веселые матросы—все как на подбор молодые, румяные, белозубые—со смехом и шутками начали вытаскивать мелкие иконы и аналой и складывали их прямо на камне у крыльца. Самоеды и поморы испуганно заглядывали внутрь церкви. Там раздавался треск. Матросы вытащили большую икону господа Исусика. Бывало, отец Никодим, молясь, больше всего разговаривал с этим богом. Ничего, добрый бог: бедных однажды накормил—пять тысяч человек, изводы может водку делать и по морю умеет ходить пешком, как по земле. Многого он не требовал,—дай ему свечку из воска и довольно. Ай-ай, как его бросили. Не больно ли ему?

Потом вытащили еще большую икону—бабу с ребенком—божью мать, и тоже с размаху бросили в кучу. Ну-ну, это давно все знают: русские не любят матерей. Русские всегда говорят про матерей такое, что самоед—даже самый пьяный—не скажет. И, наконец, трое матросов выволокли на крыльцо большого, тяжелого Николу. Самоеды попятись: вот он самый главный бог и самый сердитый. Он может потопить на море. Он не потопит, если ему хорошо уплатить. Какой самоед не платил? Бывало, после большой охоты все приходили в церковь и прямо к нему:

— Ей, старик, возьми песка.

И старик брал. А за это милостиво помогал на охоте, охранял от болезней и смерти.

Теперь... теперь его матросы волоком вытащили на крыльцо и с размаху бросили в кучу икон, будто пьяного самоеда, если он забуйнит на палубе парохода.

На всякий случай Федор отошел подальше, спрятался за спины других, смотрел издали. Как знать? Вдруг сердитый Никола поднимется и начнет стрелять огнем или бросать камнями. Однако Никола ничего. Упал на кучу других икон и лежал смирно. На него стали бросать золоченые обломки резного иконостаса. Еще матросы тащили серебряные и золотые облачения,—их складывали в другую кучу—рядом.

Двое матросов полезли на крышу с пилой. Они, перекликаясь, быстро спилили крест и сбросили его. Крест неуклюже ударился в крышу, перевернулся, подскочил и лянулся на камни.

— Ура!—закричали шутливо матросы.

Федор вспомнил, как этот крест поднимали на крышу: пели молитвы, поп в золотой малице махал чаркой на цепочке, из которой шел душистый дым. На маленькой колоколенке, что возле крыльца церкви, висели три маленьких колокола. Матросы подставили доски, подрубили веревки, и колокола один за другим полетели с колокольни на камни. Падая, они пронзительно вскрикивали, разбивались.

А суровый начальник в оленьей куртке спокойно стоял в стороне, курил папиросу, поглядывал, как работают матросы. Матросы положили срезанный крест в кучу к иконам.

Матрос спросил начальника:

— Что ж, здесь сождем?

— Нет, оттащить надо. Тащи вон туда, к обрыву.

— Расколоть надо, а то доски толстые, не разгорятся.

Потащили иконы к обрыву. Самоеды смотрели издали. Скоро над обрывом запылал веселый костер. Крашенные доски горели ярко, немного чадили, и странный запах встал в воздухе. Самоедин Николай удивленно сказал:

— Ай, какой русский бог дурак! Его бьют, он молчит. Его жгут, он молчит.

Поморы-колонисты стояли в стороне, тоже кучей. Они молчали. Лишь одна баба плакала в голос.

Матросы с берега из шлюпки стали перетаскивать в церковь мешки с мукой и солью.

— Что ж это будет?—спросил Федор у матроса.

— Склад будет,—буркнул матрос.

Федор широкими шагами пошел прочь. Он зашел за угол своей избы, высматривая, нет ли где матросов. Матросы уже ходили из избы в избу. Федор побежал к ним.

— Эй, флот, выпить нет?

Матрос посмотрел кругом.

— Есть. Неси песка. Вот.

Он показал Федору плоскую бутылку, в которой плескалось что-то зеленое. Они поспешно вошли в избу Федора. Матрос отдал бутылку и сказал:

— Смотри, не показывай никому. Теперь строго. В тюрьму посадят. На большую землю увезут. Не показывай.

Федор жадно припал губами к горлышку бутылки. Острый жар ударил ему в грудь.

— Зачем вы убили бога?—спросил он матроса.

Матрос махнул рукой:

— Какой теперь бог? Богов теперь нет. Это сказки одни.

И, спрятав песка в штаны, пошел из избы. Федор, очень обеспокоенный, пошел за ним. Матрос шел, не оглядываясь. Федор побежал к избе, где прежде жил поп. Он видел, что туда пошел художник. Топорков сидел на полу и развязывал чемодан.

— А-а, Федор, здравствуй, — сказал он приветливо и протянул Федору руку.

— Здравствуй, Василий Кирилыч Топорков.

— Как живешь, Федор? Три года я тебя не видал.

— Я тебя тоже три года не видал, Василий Кирилыч Топорков. Как живешь? Ты мне скажи, Василий Кирилыч Топорков, зачем вы убили бога?

— Как убили?

— Бога Николу толкали в шею, голову ему срубили топором, сожгли на огне. Зачем, Василий Кирилыч Топорков?

Художник засмеялся. Он перестал развязывать веревки, сел на чемодан и, все смеясь, смотрел на Федора. Федор сурово, немигаючи, глядел художнику прямо в глаза.

— Зачем русские убили бога? Тебе же объяснили. Разве ты не понял?

— Я не понял, Василий Кирилыч Топорков.

Тогда Топорков, смеясь, сказал:

— Материалистическое миросозерцание не допускает существования сверхъестественного.

У Федора было очень суровое лицо, а глаза детские, непонимающие. Так смотрят перепуганные дети.

— Понял что ли? — крикнул художник и хлопнул Федора по плечу.

Федор поспешно прошептал:

— Прощай, Василий Кирилыч Топорков.

И вышел из избы. Ему было совестно признаться, что он ничего не понял. У порога он опять вынул из-под малицы бутылку, выпил всю до дна, и — пустую — спрятал снова под малицу. Он запер во все горло:

— Русские убили бога. Русский бог дурак. Ему рубят голову, а бог не стреляет огнем. Зачем он не стреляет огнем? Хороший человек, Василий Кирилыч Топорков, смеется. Он рад, что бога убили. Зачем он смеется?

Он нелепо махал руками. Он видел, что самоеды ходят по становищу пьяные, поют. Три матроса прошли к берегу, таща тюленьи кожи. Федору захотелось спать. Он сел на-земь и прислонился к камню.

### III

Три дня простоял пароход в губе. Карбаса и шлюпки сновали по воде, перевозили на берег муку, соль, масло, дрова, бочки, порох, свинец, а с берега увозили шкуры, сало, рыбу, пух. Самоеды и самоедки ходили пьяные, размахивали руками и по-собачьи дико выли песни.

Сердитый начальник ходил по становищу и все спрашивал пьяных:

— Где ты взял спирт?

И пьяные самоеды отвечали просто:

— Флот дал.

Начальник кричал и всем очень не нравился. Как можно жить без водки? Ай-ай, какие чудные русские начальники. Ничего не понимают. Шкур мало—кричат. Выпил водки—кричат.

А плотники—хороший народ. Дай им п'есца, они дадут водки. Они чинили избы, забивали окна в церкви. Хороший народ.

Провожали пароход криками, выстрелами, будто как прежде. А чего-то нехватало. Поморы-колонисты ругались, пьяные лезли с кулаками на матросов. Пьяного Воронина матросы связали, положили к нему в избу, велели жене стеречь,—если выпустит,—его увезут в тюрьму на большую землю.

В последний день отца Никодима отвезли на пароход. Художник остался в становище, жить до осени, работать.

Четыре дня после парохода становище пьянствовало. Пили все—старики, женщины, дети. У самоеда Николая опилась до смерти дочь—ей было только десять зим. Николай плакал: совсем невеста дочь; скоро бы он продал ее хорошо, ему за дочь дали бы много денег, собак, водки. Когда девочку с почерневшим чугунным лицом положили в гроб, все увидели: чего-то нехватает. Бывало, отец Никодим читал над покойником книжку, пел, кадил душистым дымом. Дымом он отгонял от мертвого злых духов. А раньше, когда еще не было отца Никодима, шаман Хатазан бил в бубен, чтобы тоже отогнать от умершего злых духов. Ныне Хатазан уже стар,—ему скоро девяносто зим, и он не стреляет больше гусей на-лету, потому что у него дрожат руки. Но старый Хатазан пришел на похороны. У него на малице были пришиты красные ленты, он звонил железной ложкой в железный заслон,—звон был сильнее, чем в бубен,—и злые духи должны были испугаться. Хатазан пел, и собаки ему подвывали.

Самоедин Николай был доволен: весь народ пришел провожать покойницу до могилы, вырытой в щели, в каменных горах, а художник нарисовал четыре картинки—и девочку в гробу, и Хатазана с красными полосами на малице, и собак, тащивших по камням гроб на нартах.

На поминках Николай поставил гостям кадку масла, дал много мяса, хлеба. Все ели. Но водки не было. И все были угрюмы, недовольны. Плохие пришли времена. Как не выпить, если человек умер?

Когда с похорон ушли поморы-колонисты, ушел к себе художник, Хатазан сказал:

— Я желаю сказать мое слово.

Самоеды перестали икать и шуметь.

Хатазан сказал:

— Русские убили своего бога. Это их дело. Но наш Нума жив. Он всегда жив и будет жить.

Тогда сказал Федор:

— Русские говорят, никакого бога нет.

— У русских язык—собачий хвост. Тридцать лет назад приехал сюда поп в золотой малице. Что он говорил? Нумы нет, есть только русские боги—Никола, Исус. А другие русские рубят Николе голову, жгут Николу огнем, говорят, нет богов. Потом рубят Исуса, Исуса жгут огнем. Русские не знают, к какому берегу причалить. У русских две правды. Вы знаете сами. У нас плохое есть всегда плохое. У русских плохое бывает и плохим и хорошим.

— Хатазан верно говорит. Кто не знает русских? Все знаем. У них две правды.

Тогда опять заговорил старик.

— Нума жив. Он хочет жертвы. Он хочет живого человека. Сколько годов не было Нуме жертвы? Нума сердит. Кто теперь будет помогать на охоте и дома? Русские убили своего бога. Русскому богу можно было давать восковые свечи, песка, рыбу. Нума хочет крови. Нума хочет человека. Пусть Тыко пойдет к Нуме.

Тыко—старый-старый Тыко, старее Хатазана—тускло поглядел на шамана, на всех, кто был в избе.

— Он старый. Ему скоро к Нуме. Пусть идет сейчас. Нума даст ему лучший чум и самых хороших собак, даст оленей, ружье, молодую жену.

Тогда выступил Николай.

— А русские?

— Что русские?

— А русские вернутся, спросят, где Тыко? Что тогда скажем мы? Русские хуже собак—они узнают, кто умер, кого убили. Они пишут обо всем в бумагу. Они увезут нас на большую землю, посадят в тюрьму. Ты видал тюрьму? Белый дом из камня. Солдат с ружьем ходит там и день и ночь. Я видал. В тюрьме смерть. Нет, нельзя Тыке идти к Нуме.

Старик сказал сердито и твердо:

— Вы тридцать лет обижали Нуму. Вы верили русскому попу в золотой малице. Он вас обманул. Нума вас не обманет. Нума хочет крови. И вышел из избы.

Это было в полночь, когда солнце катилось низко над водой. Становище было, как зачарованное: никого возле изб,—собаки спали, птицы спали, кругом все молчало. Красноватый солнечный свет лежал на воде, на камнях, на небе. Старик посмотрел кругом и сказал:

— Нума хочет крови.

В избе, позади, слышно было, как кричали самоеды. А днем, когда солнце стояло уже высоко, и свет был белый,—Федор и Николай пришли к старику и сказали:

— Нуме будет человек. Нуме будет кровь.

Тогда Хатазан приказал:

— Чините сядейные нарты. Нума приедет скоро.

## IV

Художник с утра уходил в горы или на берег, или на озеро, что было недалеко от становища в горах. Там, в горах, он проводил дни и ночи, рисуя. На маленькой спиртовке он готовил себе чай и еду. На берегу он разводил костер, собирая обломки дерева, принесенные океаном. Художник думал, что нигде в мире не найдешь такой игры света, как здесь. Черные, как уголь, каменные горы и рядом снег. Белесое при штиле море и яркое величавое небо. Лиловые горы вдаль и перламутровое море. Эти камни—в тысячи пудов весом, брошенные в минуту мирозидания сюда, так и лежат, никем нетронутые.

И слушать эту пустыню, тишину, далекий крик птиц в море, стон морского кулика, смотреть на игру лиловых красок, розовых, зеленых, черных,—было великолепно.

Стены поповской избы все больше и больше увешивались этюдами. Поморы все ушли на промыслы. Их три избы стояли брошенными, А самоеды почему-то не уходили, суетились. Даже занятый своей работой художник заметил, что самоеды к чему-то готовятся; ребятишки не бегали за ним, как бывало; никто не приходил в гости.

Художник вспоминал свои прежние приезды. Как дружно тогда жилось! А теперь его будто сторонились. Но раз вечером Федор пришел к художнику. Художник пил чай. Федор сел у стола и сказал:

— Налей мне чаю.

Художник, веселый, как скворец, налил Федору чашку, подлил коньяку. Федор потянул ноздрями, хлебнул горячий чай, щелкнул языком.

— Хороший ты человек, Василий Кирилыч Топорков. Я тебя люблю. Мы тебя любим. Дай выпить из бутылки.

Художник дал. Федор дунул, глаза его сразу засветились.

— Хороший ты человек. Я люблю тебя.

— Ты мне скажи, Федор, какой у вас праздник?

— Нельзя сказать, какой у нас праздник. Хатазан не велел говорить русским. Хороший будет праздник. Нума приедет.

— Какой Нума? Где он живет?

— Нума наш бог. Он живет на небе.

Художник сказал решительно:

— Я пойду, Федор, с тобой на праздник.

— Хатазан не велит. Хатазан боится русских.

— С Хатазаном я поговорю. Но поеду я с тобой. Ты друг мне или нет?

— Я друг тебе, Василий Кирилыч Топорков. Дай мне еще выпить. Ты поедешь со мной. Мы тебя любим. Ты хороший человек.

Он выпил еще и еще. Лицо у него побурело, потом побагровело.

— Скажи, Василий Кирилыч Топорков, тебе трудно жить с теми мошенниками?

— С какими?

— А с теми русскими, что живут на большой земле, в городе. Художник захохотал.

— А ты думаешь, что они мошенники?

Федор кивнул головой: Да!

— Все мошенники?—спросил художник.

— Все,—решительно подтвердил Федор.

— Но почему же, Федор?

— У них две правды. Хорошее у них бывает и хорошим и плохим. И плохое тоже бывает хорошим и плохим.

— Э, да ты философ, Федор.

Федор посмотрел пристально на художника.

— Что такое говоришь?

— Философ ты. Умный человек.

— Да, я философ. Я умный человек.

— С тобой и говорить приятно.

— Со мной и поговорить приятно. Я тебя люблю. Ты мне не сказал, зачем русские убили бога.

— Ты опять про бога. Тебе же говорил дядя в оленьей куртке, что бога нет. Чего тебе еще надо?

У Федора открылись глаза.

— Бога нет?

— Нет.

— А Никола? А Исус?

— Это люди. Такие, как мы с тобой, грешные.

Федор опустил голову, раздумывая.

— Русские—обманщики,—сказал он,— одни говорят есть бог, другие—нет. Нехорошо. Русского бога нет. Есть Нума.

Художник опять засмеялся и сказал, дразня:

— И Нумы нет.

У Федора открылся рот, стал круглым.

— Что ты говоришь?

— Нума не бог.

— Нума бог.

— Нет, не бог. Бога нет.

— А я?

— Что ты?

— А я откуда?

— От отца и матери.

Тогда Федор негодуяше поднялся.

— А отец-мать откуда? А кто дует ветром? А кто бросает большими камнями? А кто зимой кричит сердито в горах?

— Это лопаются камни от мороза.

— Камни откуда? Нума есть. Он на небе. Зачем ты говоришь неправду? От Нумы камни, люди, собаки. Хороший ты человек, а русский. Зачем ты русский?

Федор сердито засопел и вышел из избы. Художник смеялся. Федор прошел мимо окна:

„Вот чорт. Еще обидится“, — подумал художник и побежал вслед за самоедином.

— Федор! Федор! Вернись! Будем пить коньяк! Вернись.

Федор остановился.

— Вернись же—тебе говорю. Я пошутил. Иди, еще выпьем. Пусть живет на небе твой Нума.

— Есть Нума, — сказал твердо Федор, входя в избы. — На небе. Он дует ветром и кричит в горах сердито. Дай выпить.

## V

Самоеды уезжали из становища партиями. Уезжали на озеро, которое было за горами, внутри острова. Художник видел, как собаки тащили по камням нарты, тяжело нагруженные кладью. На других нартах ехали самоеды и самоедки. На самоедках были пестрые малицы, отделанные узкими полосками шкуры белого оленя, лоскутками красного и синего сукна и отороченные по низу мехом белого медведя.

Художник боялся, что Федор не придет за ним: так прикажет Хатазан. Но разве самоеды врут? Сказал приду, — придет. Федор пришел в полуночный час, когда солнце стояло низко над горизонтом, солнце, окруженное розовыми кольцами и серебряным сиянием тумана. Птицы спали, становище спало. Федор сказал:

— Идем.

Художник молча и поспешно собрался. Он взял немного еды, этюдник, две бутылки с золотым коньяком, стульчик, спальный мешок из оленьих шкур.

— Я готов. Идем.

Федор смущенно и вместе сурово спросил:

— Выпить дай.

Двое нарт, уже запряженных собаками, стояли у Федоровой избы. На одних, где виднелись колья и узлы, сидела жена Федора — Прасковья. Она была равнодушна ко всему на свете... Она не глянула ни на мужа, ни на художника. На ней была очень пестрая малица. Собаки — их было по двенадцати у каждого нарт — лениво лежали возле. Художник и Федор сели на нарты. Федор поднял длинный шест. Собаки разом вскочили, и рванули нарты, повезли к горам, куда Федор шестом показал им путь. Собаки выли и грызлись, хвосты их задорно виляли. Они не разбирали ни камней, ни рытвин, ни пригорков. Нарты скрипели, трещали, готовые рассыпаться. Художник крепко вцепился в нарты, боясь упасть. Горы надвинулись быстро. По склонам лежал нестаявший снег и лед. Нарты, попадая на лед, неслись бешено. Долиной стали подниматься к перевалу. Здесь собаки от усталости начали утихать, не грызлись, не выли, хвосты у них висели, точно палки, опущенные вниз. Художник оглянулся. Вторые нарты шли;

не отставая. Нарядная жена Федора с длинным шестом в руках прорила собаками.

По снегам и льдам проехали долину. С горы вдаль завиднелось озеро. Справа над ним поднимались крутой стеной четыре скалы. Отдельные камни на скалах торчали, как рога чудовища. Трещины в черных скалах были забиты голубым льдом и казались голубыми змеями, сползающими по скалам в озеро. А слева берег озера был низкий, и на нем, вокруг небольшого холма, похожего на курган, виднелось с десятков чумов. Ленивый дым поднимался над чумами. Небо и облака играли голубыми, розовыми, золотыми и жемчужными красками. Горы и берег за озером были великолепного лилового цвета.

Навстречу нартам от чумов бросились с лаем собаки. Федор заорал во все горло:

— Уить! Уить!

И замахал на собак шестом. Самоеды неторопливо бродили по холму, что-то рыли железными лопатами. Никто не посмотрел на художника, словно его не было. Федор и Прасковья поспешно разгрузили нарты и начали строить чум. Художник отошел сажен на сто, выбрав позицию, и, раскрыв этюдник, принялся рисовать — черный холм, пестрые чумы, бледное озеро, лиловые горы вдаль. На озере кричали гуси, гагары, чайки.

Скоро художник устал. Он вернулся к чумам. Чум Федора уже был готов, и в нем, в середине, на железном листе горел огонь. Прасковья равнодушно сидела перед огнем.

— Где Федор?

— Ушел на охоту. Оленя надо. Хатазан велел оленя убить.

Художник угостил Прасковью коньяком и консервами. Прасковья спросила:

— Нума придет скоро?

— Я не знаю. Это дело ваше.

— Хатазан говорит: „Нума придет скоро“.

В чуме крепко пахло гниющими оленьими шкурами и дымом. Художник поскорее выбрался наружу. И только теперь, вблизи, он увидел, что по склону холма стоят шесть деревянных идолов, сделанных на подобие человека, а седьмой — самый высокий — виднелся на вершине. Художник пошел к ним, чтобы посмотреть поближе. Но из соседнего чума вышел Николай и сказал:

— Не ходи. Хатазан не велел. Нума сердитый будет. Ты русский.

Художник достал флягу, налил чарочку, подал Николаю. Раскосые узкие глаза Николая блеснули.

— Хороший человек. Дай еще, — сказал он, выпив чарочку.

Они подошли к холму ближе. Идолы теперь были хорошо видны. „Ох, как они грубо сделаны!“ — подумал художник.

— Это кто? — спросил он Николая, указывая на крайнего идола.

— Сядей.

— А это?

- Сядей.
- А там, наверху?
- Сядей.
- Все Сядей?
- Все.

Внизу у холма стояли странные нарты. Художник сразу заметил их особенность: вместо двух копылов у нарт было три. Он никогда не видел таких. На них лежало что-то длинное, закутанное в оленьи шкуры, — похожее на человека.

— Это сядейные нарты. Ты хороший человек, художник. Иди в чум. Хатазан не велел ходить тебе близко.

Художник, усмехаясь, быстро зарисовал сядейные нарты с закутанной на них фигурой. Николай торопил:

— Иди, иди. Хатазан будет сердитый.

Полчаса спустя, влезши с головой в спальный мешок, художник крепко спал. Проснулся он от странного воя. Выло множество голосов. Поспешно сбросив мешок, художник выбежал из чума. Самоеды шли толпой вокруг холма, завывая. На растянутой шкуре оленя они тащили что-то серое. Художник подошел ближе и тут увидел: самоеды тащили грубое подобие человека, выпеченное из теста. Хатазан стоял на вершине холма у большого Сядея и, размахивая железным заслоном и колотя в него ложкой, звонил. Самоедки толпились у холма. Возле них на земле лежал убитый олень.

Самоеды донесли „человека“ до первого Сядея и остановились. Хатазан бросил заслон, замахал ножом, подошел к „человеку“ и резнул ему ножом по горлу.

Самоеды взвыли, повторяя два слова:

— Нум сингириптэ. Нум сингириптэ! (Бог, помилуй!)

Художник поспешно схватился за этюдник и заработал карандашом: ему жаль было потерять такой интересный момент. Работая, он видел, как Хатазан, воя, раза два показал рукой в его сторону.

Самоедки потрошили оленя, — все ели, приплясывая — с’ели и „человека“, испеченного из теста. Собаки с воем таскали внутренности. Вдруг некое замешательство произошло в толпе. Мелькнула желтая бутылка над головами.

— Уж не мой ли коньяк? — подумал художник.

Хотелось сбежать в чум, посмотреть, но нельзя было оторваться от работы. Этюд вышел великолепно, исключительный по сюжету.

„Ведь не поверят. Ведь не поверят, черти, что писал с натуры!“ — мысленно ругал художник своих будущих ценителей. У него от нетерпения дрожали руки.

## VI

Уезжать стали близ второй полночи. Бутылку коньяку у художника, действительно, взяли, но он был очень доволен поездкой. Какие этюды! Перед тем, как сесть на нарты, художник вылил с Федором

все, что у него осталось во фляжке. Федор захмелел и, изнемогая от любви, обнимал художника.

— Ты хороший человек, Василий Кирилыч Топорков. Хатазан говорит нам: вы обманули Нума, вы вместо живого человека дали человека из теста. Можно бы принести в жертву художника.

Художник испуганно глянул в пьяное лицо Федора.

— Какого художника?

— Тебя.

— Меня? Принести в жертву Нуме?

— Да. Нуме. Ты был бы святой. Нума дал бы тебе оленя, молодую жену, собак и много водки...

— Что же вы не принесли?

— А народ не велел. Русские тебя будут искать. Нельзя. Ты хороший человек. Я тебя люблю.

„Так вот почему Хатазан, молясь, два раза показал рукой в мою сторону!“, — холодея от страха, подумал художник.

Дома, испуганный признанием Федора, художник долго не спал. Красный свет бродил долго по горам, по океану. Разорванные, бледные облака неслись с востока, солнце на минуту пряталось, снова выплывало. Океан будто шурился — смена бледного и красного света делала его живым, как чей-то веселый глаз. Художник запер дверь, завесил окна, лег в кровать.

„Приключение интересное. Но если бы меня зажарили, не так было бы приятно. Вот тебе и милые дикари“.

\* \* \*

Ночь — три месяца. Морозы в пятьдесят градусов. Ветер перебрасывает камни в десятки пудов весом. Снег заносит становище на пять сажен, укладывается твердым слоем, так что в нем роют тоннели.

Когда художник проснулся, все было полно яркого света. Горы вдали были совершенно лиловые. По океану плыла великолепная ста-муха с двумя сверкающими вершинами. Ее поверхность казалась шелковой.

Художник схватил этюдник, выбежал из избы и вдруг что-то вспомнил. Он вернулся, поспешно отпер чемодан, достал револьвер и сунул его в карман.

---

## Два стихотворения

МИХ. ГЕРАСИМОВ

### I

Синица, жалобно не тинькай,  
Не капай песни по пескам.  
Как виноградины, слезинки  
Скатились по ее щекам.

Вздыхаешь все нежней, душистей  
Ты по младенческой весне.  
Свои рябиновые кисти  
На плечи уронила мне.

Неуловимая, сквозная  
И тающая, как заря.  
Но отчего ж дрожишь—не знаю,  
И щеки розами горят.

Зачем так горестно вздыхаешь  
О жизни прожитой, простой?  
Вот губы жарко полыхают  
Под каждой веткой и кустом.

Они созревшими плодами  
Тебе желанье принесли.  
И жадно я тянусь губами  
Коснуться до холодных слив.

Плодов земных стекают соки  
На загорелое плечо.  
В садах анисовые щеки  
Просвечивают горячо.

Земная сытая отрада,  
Умолкнул сытый соловей.  
Вверху—как гроздь винограда—  
Созвездья зреют в синеве.

## II

Игриво в листопадной чаще  
Деревья прыгают в костер.  
Кусты, как огненные чаши  
У холодеющих озер.

Вскипают и стекают листья:  
Пьяно осеннее вино.  
И пенится зеленой высью  
Птиц пролетное звено.

Рыжий пес, как пламень быстрый,  
Клубится, травами шурша.  
И долго-долго льется выстрел  
В приумолкших камышах.

Летающей птицы сговор тайный,  
Воинственный гул,  
Как черные знамена, стайно  
На том пролились берегу.

Говорливые, счастливо  
Волны ластятся у ног.  
И, вздрагивая пугливо,  
Мурлычет песенку челнок.

Ты, осень, над прозрачной далью  
В охотничий запада-рог...  
Я золотых твоих сандали  
Коснуться бы губами мог.

К тебе прижаться, дорогая,  
И, тайной близостью горя,  
Следить, как тает, догорая,  
В глазах прозрачная заря.

Кукушкины стекают слезы  
И с золотым огнем ку-ку  
Осенние слетают звезды  
В потемневшую реку.

---

# Стихотворение

В. НАСЕДКИН

\* \*  
\* \*

Свод небес уныл и грязен.  
Серая прохлада.  
Кто-то смотрит желтым глазом  
На меня из сада.  
    Смотрит долго.  
    Я припомню.  
    Дни короче,  
    Уже.  
    В поле только ворон темный  
    Над холмами кружит.  
На его полет безмолвный  
Плачет горько ива.  
А давно ль, сливаясь в волны,  
Там гуляла нива,  
    И звенели наши косы,  
    И качались песни  
    Над зеленым сенокосом  
    В голубом залестье?..  
Поневоле мутны думы—  
День с утра не светел.  
Поневоле так угрюмо  
Скачет всадник-ветер.  
    Слышны топот, гул и ржанье.  
    Жаль кого-то вчуже.  
    По дороге на прощанье  
    Золотятся лужи.  
Я припомнил.  
Дни заката,  
Листья—  
Лисьи ушки.  
Это все любил когда-то  
Александр Пушкин.  
    Но ему теперь заказан  
    Путь к земным усладам.—  
    Смотрит осень желтым глазом  
    На поля из сада.

---

# Восстание

(Отрывки из романа „Путь“)

АВГУСТ ЯВИЧ

В Петрограде

**У** Аничкова моста группа солдат, спрятанная в темноте, прислушивалась к шагам.

— Кто идет? — окликали солдаты. — За Совет или Керенского?

Крохотного бородатого человека держал солдат за плечо, ровным голосом вопрошал и встряхивал его, как охотничьего пса, не выпускающего пойманной дичи.

Человек очень быстро моргал глазами, точно боялся и закрыть их, и оставить открытыми.

— Я... я за его... за его...

— За кого?

Другой солдат с усами, касавшимися подбородка, выстрелил из винтовки в воздух.

— Ты чего? — спросил его первый, отпуская крохотного бородача, который вдруг заплакал.

— Ничего. Бью, мать ее распротак, бью, потому мне теперь выходит первым человеком стать надо после Ленина — Троцкого...

Петроградскую ночь занавесил сырой, холодный туман. Пронизывающий ветер срывал обветшалые, старенькие шинели. По улицам мчались, фыркая, грузовики, их окликали, но они безответно проезжали мимо, исчезая во тьме.

В разных местах солдаты разложили костры, лица мелькали на евете, словно красные призраки.

На Литейном столкнулись два отряда, оказавшиеся противниками: один из них был за революцию, другой сам твердо не знал, но под конец склонился на сторону Керенского. После обмена воплями, они обменялись выстрелами, и в то время, как одни кричали „сдавайтесь“, другие, как эхо, повторяли это же слово и палили в невидимых врагов.

Держась черных стен домов, подозрительно пробегали прохожие, отбивая тревогу на мостовой, а в окнах висел мертвый блеск, и город ворочался, ломился среди душного камня.

\* \* \*

„Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее против народа и революции. переворот прошел бескровно“.

Третьи сутки столица в муках рожала революцию.

Вокруг ночных костров прыгали, согреваясь, солдаты, говорили долго, много, просто. Ноги скользили в свежей крови, пролитой в разных концах гранитного мстителя.

Бродов и Алеша брели по темным, вытянувшимся, как прислушивающиеся шеи, улицам.

На Невском, возле Николаевского вокзала, солдатская цепь никого не пропускала. Запахнувшись в шинель, Бродов лял зубами от холода.

— Честное слово, здесь умереть не страшно... — сказал он, ежась. Подле костра четверо солдат проверяли винтовки.

— Товарищ, — окликнул Бродов серого солдата с орлиным носом, рыбьими глазами и опухшей щекой, — много у тебя патронов?

Продолжая спокойно разглядывать затвор, установив винтовку прикладом в живот, а штыком в небо, солдат обернулся:

— На офицеров и буржуев хватит... еще останется.

Он поставил ружье к ноге, оперся на него руками и стал внимательно разглядывать Бродова. Он вдруг прижал затылок к воротнику шинели, выставив вперед острый подбородок.

— Ты кто такой?

— Солдат.

— Шинель на тебе барская. — Он сплюнул в костер, тот сердито шипнул, тогда солдат сплюнул вторично: — Давай меняться.

— За своего не хочешь признать, — засмеялся Бродов. — Ладно, давай!..

Солдат напялил на себя хорошую бродовскую шинель, дотронулся до хлястика, пощупал его неудовлетворенно:

— Слышь, товарищ, бери назад, к свиньям собачьим!.. Ты да он, вы двое, а нас четверо, еще скажут силком...

— Небось не скажут...

— Бери, говорю, к... матери... — озлился солдат. — Тебе нужна... Ты что, барин, мать твою!.. — Он ощерился, приподнял внушительную винтовку над землей. — Понимаешь?

Бродов понимал и кутался в дырявую солдатскую шинель.

— В твоей лучше, — смеялся Бродов, — во многих она боях была?

Солдат со свирепой щетиной на лице, подбородке и голове подтупил вплотную к Бродову.

— Ты кто такой, какого полка, откуда, за кого, куда идешь чего тебе надо? — С каждым вопросом он зверел. Он выплевывал нестройные, колючие слова, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.

Третий солдат, сворачивая папиросу неимоверно большими двумя пальцами, не сводя глаз с Алеши, мрачно буркнул:

— Чтоб шинель менять, не смыхал, не спроста... Неправильно это... — Он равнодушно закурил. — Дай ему прикладом.

— Приклад, братцы, дело последнее, вы лучше скажите, зачем стоите здесь?.. — Заикаясь, тянул Алеша.

— Не тяни, душу вокруг пальца не смотаешь... Стоим, потому охота есть... Уйди отседа, такие придут, мигом все обделают, в момент голову на руках понесем...

Сын Севастьяна, Ванька, пронизывающе разглядывал Корнева.

— Оглядно я тебя знаю... — Ванька вдруг обернулся к солдатам. — Летом он на мосту с фронта говорил. Войну, кричит, кончим, солдаты, кричит, помирают, а сам ревет и вообще...

— Вправду? — щетинистый солдат недоверчиво дотронулся до рукава Алеши бесхитростной, почти дружеской рукой. — Свой, что ли, приятный человек?.. — Он над чем-то пораздумал: — Курить хошь?.. Этого у нас довольно... Митька, сукин сын, — закричал он сердито, — шинель отдавай!..

Через час Алеша и Бродов вместе с четырьмя солдатами влились в красногвардейский отряд, направлявшийся к Зимнему дворцу.

Воздвигнутые у Зимнего баррикады осыпались пулями, казалось, что по жестяным крышам просыпали дробь.

— Байрон умирал за чужих возвышенных людей, почему я не могу умереть за большевиков? — шутил Бродов, стреляя из короткого, с отрезанным прикладом, ружья. — Ничего, я из куцого ружьишка ухлопаю их больше, чем из пулемета... Ненавижу юнкеров, аристократов из городского четырехклассного училища, бездарь!..

С чувством брезгливости он выпускал патрон за патроном.

Рядом коленопреклоненный человек в черном пальто непрерывно разряжал винтовку, после каждого выстрела твердил:

— Одной сволочью меньше, возу легче, революции лучше...

Алеша спросил соседа, жившего всем своим подвижным, омысленным телом:

— Скоро мы их выгоним?

Солдат блеснул глазами:

— Весь дворец снесем, а их доканаем, деревня городу не в пример... Они нас на войне в роде тетеревов били, а нынче мы их попаскудим, как воронье... Опять же земли им не отстоять, нам, мужикам, это можно, а им нельзя, почему — земля она до своего работника ласкова... — Он грозно выпалил под-ряд три раза.

Беглый огонь из'язвил тьму.

— Они землю никак не любят, барину она как закрома, а мужику все одно что душа... В земле душа есть, она все расскажет...

Барин по земле походит-походит без дела и в могилу сойдет. А кому любя могила? — Он встал во весь рост на виду у отчетливо виднеющихся баррикад и застыл.

И все увидели, как он взмахнул руками перед лицом, хлопнул ладонями, будто пытался схватить назойливо жужжащую муху, и опрокинулся на спину.

Алеша прикоснулся к его голове и нащупал теплую, струящуюся смерть.

На секунду стрельба затихла, потом возобновилась с пущей силой и не умолкала до падения дворца. Люди перестали говорить, они налились безумием и отвагой, смелые выстрелы, вырвавшись в простор, не желали умолкнуть.

Вскоре затрещал пулемет, тьма запрыгала, как ворох испуганных спасающихся теней.

\* \* \*

Красногвардейцы рассыпались по Зимнему дворцу. В дверях каждой комнаты сами солдаты поставили часовых. Их никто не сменил, не проверял. Они простояли до утра.

Солдаты сняли портьеры с дверей, постелив на полу, улеглись отдыхать.

В одной из задних комнат нашли двух, на-смерть перепуганных, юнкеров, неизвестно как сюда попавших. У обоих утомленно спутались волосы на голове, а бледные лица покалечил страх.

— Ага, — злорадствовал солдат, приглаживая лоб пальцем, — здорово напужались, теперь им что?.. — Он обернулся и вопросительно замолчал.

Кто-то озлобленно крикнул:

— Пали прямо!

Юнкер с молодым, женским лицом рванулся всем телом и, выставив грудь, помешанно провопил:

— На, пали!

Какой-то солдат, смачно чавкая, подошел к юнкеру, схватил его за руку, потянул за собой, затем толкнул назад.

— Против народа, суэротив резо но дии и совета, сволочи, зачем лезешь?.. — Голос его, тоненький и яросный, увяз в слюне и походил на слюнную некрепкую нить.

Солдат поднял кулак. Юнкер схватился за лицо, отступил, но натолкнулся на своего товарища:

Солдата оттащили.

Алеша зло смотрел на юнкеров, холод бродил по телу его.

— Товарищи, — Бродов спокойно всгал рядом с юнкером, — я пришел сюда с вами... — Он секунду всматривался в насторожившиеся лица, заведомо зная, что от ответа солдат зависит жизнь юнкеров, а может и его собственная. — Здесь есть комиссар военно-революционного комитета, — продолжал он отдельно, — надо их отвести к нему...

— Врешь!..

— Там разберут...— Хладнокровие Бродова побеждало и хотя солдаты кричали, но юнкеров не решались тронуть.

— Когда мы были за этими стенами, мы их могли убить, так водится на войне... Здесь же они наши пленники.— Лоб Бродова покрылся частыми потными складками.

— Нам пленные ни к чему, пленных брать — сторожей не хватит... — Пронзительный голос похож был на визг сирены.

— Товарищи солдаты, вспомните, кто вы, — с пафосом выкрикивал Андрей, чувствуя на себе омерзительный, влажный страх, — вы солдаты революции, а не озверелые бандиты...

— И верно, — заметил бородач, засовывая руку в карман.

— Праведно, — подтвердил другой.

Юнкеров увели.

Андрей услышал тот же знакомый, резкий, не ушедший еще из ушей, голос:

— Выпустили подлецов, им бы кишки выпустить...

— И верно. — Бородач выпростал из кармана руку и воззрился на Бродова.

\* \* \*

## ПРИКАЗ

„Всем районным советам рабочих депутатов и фабрично-заводским комитетам.

Корниловские банды Керенского угрожают подступом к столице...

...Армия и Красная гвардия революции нуждаются в немедленной поддержке рабочих“...

В трехэтажном доме на Васильевском острове, где помещался районный совет, поздней ночью шла лихорадочная работа. Формировались рабочие отряды.

Торжиков сидел за трехногим столом и записывал, кто куда направляется. Глаза его покраснели и опухли, лицо блестело, а бородачка походила на унылую траву. Иногда рука его бессильно скользила, оставляя на бумаге широкую кляксу мутноватых чернил. Но Торжиков встряхивал головой и снова писал. Бессонные ночи окончательно вытравили из его головы всякие мысли, он ничего не понимал... Он смутно сознавал, что делает, но делал все торопливо и точно, как механизм.

— Товарищ Торжиков, через час надо выступить...— Слова председателя прозвучали чуждо и далеко, как во сне.

Торжиков присмотрелся к председателю, потом к стоявшим перед ним рабочим, все они как-то смешно укорачивались и удлинялись. Он криво улыбнулся, с трудом волоча перо, вывел слово „отправить“ и заснул над бумагой.

Худощавый, утомленный человек тормозил Торжикова огрубевшими руками, к которым прилипла кожа от подсолнухов. Торжиков вскочил, снова сел и вскинул голову. Изредка он отрывал глаза, вскидывал голову, обводил всех сузившимся, слипающимся взором и снова дремал, покачивая головой, бросая ее то на грудь себе, то на спинку стула.

Он вдруг поднялся, опростал место у стены, тяжело опустился на пол и закаменел, уткнувшись лицом в стенку, о которую недавно тушили папиросы, отчего она покрылась серо-черными пятнами, словно волдырями от ожогов.

Через час его подняли, поставили на ноги, растолкали.

— Надо итти...

В комнате разбросанно стояли люди, громко переговариваясь.

Торжиков протер глаза, оглянулся по сторонам, — виновато улыбаясь, потом затряс головой, как лошадь на холодном рассвете, вывалившись на земле.

Он взял свою винтовку и с очередным отрядом направился к Смольному.

\* \* \*

Свирепый ветер кружился, острые снежинки вливались в ресницы. Трудно было продвигаться вперед, приходилось грудью рассекать мчащиеся, сбивающие с ног, невидимые волны ветра. Разметало шинель, ледяной холод страстно обжигал колени и ляжки.

Выгнув голову, держа винтовку посиневшими, шероховатыми, опухшими руками, на которых вздулись, как бечевки, жилы — красногвардейцы пробирались во тьме.

Рядом с Торжиковым шел кавалерийский офицер Арнольдов, печально позвякивая шпорами. Он был высок и худ, длинная шинель путалась в ногах, как ряса.

Вдали глухо лаял пулемет, редко-редко ухнет и опять заливается пулемет, будто невидимый, злущий пес.

Сверкнули огоньки, словно клочья молнии. Чем ближе подходил отряд, тем ярче вспыхивали огни, чаще свистели пули, и гул становился явственнее и гуще.

У ночи не было конца, она темнела и темнела, будто погружалась в бездну.

...Под зеленовато-желтыми вспышками мелькали отдельные человеческие фигуры.

Из штаба прискакал ординарец к Арнольдову, руководившему левым флангом.

— Полковник Вальден приказал выступать в обход, — шипел ординарец, припадая к шее дыблящейся лошади.

Ветер рычал, немилосердно унося слова. Арнольдов вызвал Торжикова, у которого шинель пробита была в двух местах.

— Товарищ Торжиков, — он никак не мог раскурить погасшую папиросу, — мы идем в обход, вы старый солдат, если что,

так вы старый солдат... — Он зло отбросил папиросу. — Дайте курить!..

В неверной сторонке лошадь без седока сухо скребла землю и слушала радостный свист пуль. Она повела ушами, насторожила их; они упали, а лошадь опустила морду, обнюхивая землю.

Ползли долго по темному разрытому полю, а нанесенный сугроб выросал поминутно, то там, то здесь преграждая путь. Вечером не было еще никакого сугроба.

Рядом с Торжиковым полз молодой парень, время от времени шептавший:

— Баня будет, баня...

Из оврага двигались еще тише, задерживая дыхание.

И внезапно открылся вражий хвост: так на море возникает суша. Разрозненно бежали солдаты в неприятельском стане.

Арнольдов вылез из оврага первым, плашмя лег на землю и выстрелил в пробегавшего солдата. Через минуту синеватые снопы огня продырявили ночь. Солдат упал на колено, выставил вперед руку, другой же оперся о землю, точно шарил по ней. Потом он приник головой к своему же колену, но не удержался и смешно перекувырнулся, как клоун в цирке.

Огромный красногвардеец в крохотных сапогах, будто в глубоких галошах, кричал:

— Ура!

Торжиков подумал, что с таким голосом хорошо можно петь на клиросе. Он побежал за рослым красногвардейцем и почему-то все время дергал себя рукой за бороду, чувствуя, что она ему мешает.

Вокруг него мчались тени, а он был уверен, что только он один жив, остальное же — кажущееся. Потом он неистово крикнул и побежал дальше.

Он увидел казацкого ротмистра, дергавшего себя за усы, и решил, что и тому усы мешают, как ему борода.

И красные, и белые кричали одно:

— Сволочи, мать вашу!..

Торжиков остановился, поднял руку и упал. Сзади с непонятным криком набегали люди. Над Торжиковым склонилось порозовевшее небо, зарябило перед глазами, потом сделалось совсем темно и безразлично. Он ощутил физическое отвращение ко сну, но мозг погрузился в нечто пустое, холодное, словно в кадку с мерзлой водой.

Торжиков протянул руку к лицу, погладил пальцами щеку, закрыл глаза, с сожалением вздохнул и умер, подложив руку под голову. Большая слеза выкатилась в угол правого глаза и замерзла.

В час ночи Пулкво было очищено.

Покой привычной грозы охватил Петроград.

Утром на стенах красовались десятки разных воззваний: от думы, партии социалистов-революционеров, крестьянского комитета и других организаций—о страшном злодеянии узурпаторов-большевиков. Революция же шла своим дремучим путем.

Красногвардейца окружили студенты, женщины в теплых, меховых одеяниях с приподнятыми вуалями над порозовевшими носами, мужчины в дорогих шапках и пенсне, с затейливыми палками.

Солдат, добродушно улыбаясь, приглядывался к кричащим, топаящим, бешено задыхающимся людям и поводил широкими плечами.

— Захватили власть, разгромили революцию... — неистовствовал бритый человек с седыми щеками. Держась одной рукой за воротник пальто, он другой размахивал перед задорным носом красногвардейца:— Ничего, скоро вам будет конец, на фонарях перевешаем.

Женщина больно ткнула рукой в лайковой перчатке в красногвардейца:

— Проклятый ублюдок!..

— Нет, позвольте, пусть говорит, пускай отвечает...— надрылся студент, свирепо сталкивая фуражку на затылок.

Красногвардеец, тесно замкнутый, держал винтовку с таким растерянным видом, будто сомневался в ее пригодности. Он озирался пугливо, не умея сбросить с губ боязливой улыбки, он походил на ребенка, попавшего в хоровод леших.

Красивая женщина с прекрасным холеным лицом, искаженным чувством сладострастной ненависти, толкнув солдата, тотчас же рванула руку назад.

— Зачем смотреть на эту мерзкую, мерзкую, мерзкую?.. — Она перекосилась от недостатка отравленных злобой слов и еще раз толкнула красногвардейца.

Он переступил с ноги на ногу, лицо его затянулось угрюмостью.

— Пропустите!..

— Убегает, убегает, сволочь, скоро пойдешь грабить, висельник, большевик, грабь награбленное,—так ваша революция, так, так...— Барашковая шапка слезла к носу, глаз не было видно, тревожно блестели стекла золотых очков. Человек багровел и повышал голос с каждым новым слогом, будто кричал по нотам. Он наступал на солдата, руки его сжались в толстые, улоподобные кулаки.

— Бей бандита! — Некто в учительской фуражке и худосочном пальто с желтыми пуговицами, на которых еще мутновато блестели царские орлы, поднял к голове кулак.

Красногвардеец приложил к плечу винтовку и прежде, нежели он выстрелил, бессильно распалось визжащее ядовитое кольцо. Солдат сделал несколько спокойных шагов, затем побежал.

Женщина с лицом благочестия и глазами распутницы с размаху бросила вслед ему вывороченную торцовую плитку.

— Дрянь! — И побежала мелким, заплетающимся, непривычным шагом в другую сторону.

Осенний день, умытый, приглаженный, умирал, ропща и сердясь, как брызжащий каверзный старикан. В туманных сумерках устало заблестели фонари.

Пыхтели страдающие астмой грузовики. Они были нагружены людьми, разбрасывавшими листовки. Красногвардейские отряды шли к Царскому Селу.

Смольный же своим могучим дыханием сдувал с пути революции все препятствия и они разлетались, как легкие одеяния одуванчика.

До хрипоты кричали уличные ораторы, хотя говорить можно было совсем тихо. Но февральская революция приучила говорить перед десятью, как перед тысячью, голос, рассчитанный на комнату, она хотела, чтобы услышал весь мир.

Толпы, как гигантские пауки, медленно ползли по улицам, они были насыщены слухами, как мужик предрассудками и суевериями.

## На Дон

Дуев, упираясь грудью в стол, писал воззвание к крестьянам. Лицо его пылало, а лихорадочные глаза, под которыми вздулись мешки, заволакивались беспричинными слезами. Впавшие щеки покрылись серовато-грязным налетом, словно густым слоем пыли. Ему говорили, что он болен, что ему надо идти домой, но он продолжал молча писать.

В следующей комнате сидел Моисеев. Отвернув бессонное лицо к мутному окну, он слушал, что говорил полноватый человек с румянцем и усиками.

— Этот отряд не совсем маленький. У него десять пушек и что-то очень много пулеметов... Называют они себя фронтовиками и требуют немедленного пропуска через город.

Моисеев барабанил худыми пальцами. Он привстал, облокотился о спинку какого-то старого кресла, переваливающегося с ноги на ногу, как утка. Продолговатый, серый, упрямый череп Моисеева насто-рожился.

— Здорово фронт очистили. — Заметил он про себя. — А куда идут?

— На Дон.

... Военно-Революционному Комитету было коротко доложено, что у города стоят казаки, требующие беспрепятственного пропуска.

Моисеев царапал ногтем бумагу.

— Их надо пропустить, они не только могут принести неприятность, они могут... — Он провел в воздухе резкую, вертикальную черту. — Понятно, думаю. Они идут на Дон, вы знаете, конечно,

что происходит в Новочеркасске... Мы дадим силу Дону, но не пропустить их мы не можем, мы не в силах... Я предлагаю высказаться, но короче, бога ради, короче... Там могут решить раньше нашего и очень жестко. Решает тот, кто первый требует.

Моисеев закурил и начал глубоко вдыхать дым.

Дорофеев нахмурил косматые брови, за которыми, как за кустами, блестели близко посаженные острые глаза.

— Сил у нас довольно. Дуев, ты говори, тебе знать лучше... А бить себя по шее одной рукой, а другой гладить — не резон. — Он потер свои широкие ладони.

— Все это неожиданно, как-то сразу. — Дуев закрыл глаза и сжал лоб рукой. — Солдаты не больше, чем солдаты. Казаки бомбардируют город, а мы только родились. Трудно предсказать, как обернется.

— Пропустить, — упрямо произнес Корнев, подымая свое отяжелевшее тело. — Пропустить надо. Мы их можем разоружить, а может статься, что они нас. Хорошенько подумать стоит над тем, что тогда сделают разъяренные казаки с городом и властью... Надо пойти к ним мирно, поговорить и пропустить. После хороших, крепких слов они могут до Новочеркасска не дойти.

\* \* \*

У 3-го шоссе, на подмерзших кочках грязи, окруженные пустынной, поникшей степью, затянувшейся салом рекой и тускнеющим вдали городом, — расположились казаки. Тяжело опускал голову невзрачный день.

— Братцы казаки, — говорил новоявленный атаман с большими рыжими растопыренными усами и синеватым подбородком, — долго что-то ждем... Стоим — ни взад, ни вперед...

— Мы их, мать их... снесем... — сказал молодой вихрястый казак, грызя желтую антоновку. Яблоко хрустело на зубах его, и белый сок стекал с краев рта.

— Зачем сносить? — Окладистый рослый казак щелкнул себя нагайкой по сапогу. — Небось свои ведь, на фронте вместе...

— Хлеб-соль вместе, а табачок врозь... — Вихрястый дернул левым плечом, рукой и глазом.

— Это как же?

— Да так, просто... Нам вольный Дон, а тут, да ходи они на голове, нам-то что...

Приехавших делегатов Военно-Революционного Комитета казаки встретили недружелюбно и обступили злым, мрачным кольцом.

Казаки были громоздко вооружены. Они увешали себя гранатами и пулеметными лентами.

Вперед выступил атаман, за ним шли помощник и два офицера без погон.

„Странно, два офицера“, — подумал Корнев.

— Я есть выборный войском атаман... — Рыжий оглядел делегатов, потом казаков и погладил усы сперва одной рукой, затем другой.

Помощник его, веселый, безобидный человек, хитро усмехался одними глазами и сосал трубку.

— У нас от офицеров двое остались... — Продолжал после паузы атаман. — Остальных всех в Донце потопили, кусались, сволочи... А эти так, вообще, без начальства не подобает... Верно я говорю, братцы?..

— Эге, — брякнул бородач, и его „эге“ как-то пронзило тишину.

— Вы уполномоченные местной власти? — спросил ротмистр, мягко акцентируя. Он внимательно оглядывал прибывших.

— Товарищи казаки!... — сказал Моисеев, но его перебил ротмистр.

— У нас без митингов, нам некогда... Мы идем на Дон. Довольно наслушались на фронте, тошно. — Глаза его ехидничали, лицо же оставалось спокойным, будто он передавал чужие, накрепко заученные им слова.

— А среди вас жидов нет?... — неожиданно прервал атаман, вразумительно мёрша лоб. — Врать не надо, правду говори, есть жиды?... —

— Что вы передадите нам от имени местной власти, скоро нас пропустят?... — не обращая внимания на атамана, продолжал ротмистр.

— Революционный город решил вас пропустить... — сказал Моисеев.

— Вот это да... — цокнул атаман.

— Меня уполномочили передать товарищам казакам, — заговорил Моисеев громко, — что большевики не хотят драться, они идут за мир и землю...

Ротмистр вплотную подошел к Моисееву.

— Если вы будете контрабандой митинговать, мы вас пошлем к чорту... — Он сжал плотно губы и зло фыркнул. — Вот что, двоих из вас мы арестовываем, третий, хотя бы вы, — ротмистр ткнул рукой в Дорофеева, — вместе с вашим отрядом отправитесь в город и передадите местной власти: казаки боя не желают, они идут на мирный Дон и до России им дела нет... Нам нужен фураж, — не позднее, чем через два часа, мы должны выступить... Мы большевиков любим, как немцев, но мы идем на Дон и нам дела до вас нет. Вы поняли, надеюсь?... — Он круто повернулся на каблуках и отошел.

Большевики растерянно глядели на его спину.

— Так вы и спасете Россию? — ухмыльнулся второй офицер, нижняя челюсть его, квадратная, жестокая, ритмично заходила снизу вверх. — Финляндия отделилась, Прибалтика также, Польша, Литва и вся эта мерзость самоопределится, а к нам на Дон, думаю, не рискуете пожаловать, гости дорогие!... — Он картавил, говор его, медленный, обдуманый, был колюч и злобен.

— Как жидов вырежем, нам эти немецко-жидовские эксперименты не подстать... — закричал он дерзко, и торопливо ушел.

— Здорово побрил, умник, первостатейный, вот это да...—Атаман тупо глядел на Моисеева и гладил свои усы.— Придем на Дон, там другое...— Он ударил себя по лбу.— Весь Дон в ей... А чтоб большевики да жида, нам это не подходит...

Он щелкнул нагайкой, усы его осерчали.

— Худо нынче на России, ничего не видать, точно в лесу каком... Раньше, как сквозь березняк, на версту тень видать было, а теперь — сплошной лес, вот каторжные что наделали...

Моисеева и Корнева арестовали.

Замерзала осень. Низко висела бесхвостая туча, вот-вот готовая упасть. Туча выронила горсть снежинок, они повисли на ресницах и тотчас же растаяли, мягкой сырой теплотой смочив лицо. Потом рой снежинок безмолвно и радостно заплясал в потеплевшем воздухе... Встал с земли холодный угрюмый туман.

Сквозь снежные россыпи, падавшие прямыми белыми лентами, тускло блестел город тремя золотыми куполами. Лениво застыли далекие, как обглоданные кости, деревья, худые, обтрепанные, а степь бескрайная сдвигалась узким кругом.

— Есть зима.— Казак миролюбиво, легко толкнул Моисеева.— Восьмой годок пошел, как жены не видал...— Он доверчиво глядел маленькими, серыми, грустными глазами.— Ни разу во сне, сука, не являлась. Получал письмо, будто она, баба, значит, того, брат, мол, землю забрал, а сынок тоже того...

— Померли?— спросил Моисеев участливо.

— Нет, зачем, экой ты непонятливый, брюхата в третий раз и одного скинула за семь лет... Много дуже. А сынок—тот да...— Казак перекрестился.

— А ты, земляк, не кручинься, не печалуйся!...— бросил бородатый казак, выглядывая из-под грузно отвисших, как плющ, бровей.

— Н-да... Оно и верно, и лучше... Только коли правда, а видимо так... Эх...— Он отвернулся и скрипнул зубами.— Скушно, хоть бы каких жидов резать и то веселей... И отчего это скушность с человеком случается?

— Брат твой кто?— спросил его Моисеев, желая натолкнуть казака на другие мысли.

— А шут его знает, может большевик, чорт его разберет... Только мне какая чересполосица вышла в жизни, будто на картах кто гадал и луну испрашивал...

— Говорят, большевики Петроград немцу продали, правда это?— Невзначай подступил казак, черная борода его беспокойно заерзала.

— Врут.

— А ты не врешь?

— Не вру. Я вот большевик...

— То ты, а то они... А потом Ленин жид, Троцкий жид, как они Россию будут спасать?— сокрушенно возразил казак.

— Брехня,— вмешался молодой парень, до тех пор задумчиво рассматривавший свои руки,— Ленин—турок, в феске ходит и веры неверной, басурман, идол, и Троцкий совсем роду и происхождения неизвестного, как пехотинец...

— Врут все... Народ мутят... Мужиков в драку, а помещикам да енералам смаку...—сказал солидный казак, щуря глаза на небо. Скрестив руки на груди, он казался большим, твердым, нагайка, висевшая на локте его, извивалась.

— Здорово это зима землю раскрасила; выбелила, небось, лучше какого маляра...

И сквозь дымчатые, снежные, кружащиеся вихри показался приближающийся отряд. Во главе его ехал Дуев.

Через два часа казаки выступили в путь, на Дон.

---

#### И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ.

\* \* \*

Родная, вновь увидел я  
Твои волнистые широты.  
Здесь даже пьяная ладья  
Не может побороть дремоты.

Золотогрудая луна  
На тополя наводит дрему;  
Белеют локоны черемух,  
Как подорожная волна.

И где-то слышно по зорянке  
Волга ма-а-тушка река...  
Стоят разорванной тальянкой  
Чернеющие берега.

---

## Два стихотворения о сердце

ВЕРА ИИБЕР

### I

Как тебе не встретиться со мною,  
Если, убегая из-под ног,  
До-бела забрызганы луною  
Полотенца черные дорог?

Пусть тебе не кажется помехой  
То, что на предгорие легло,  
Под луною отливая мехом,  
Леса чернобурое крыло.

То, что между мною и тобою,  
Ветер, морю дующий в упор,  
Золотыми гребнями прибоя  
Расчесал серебряный пробор.

Не беда, что черные на синем,  
Под луною жутко велики,  
Жаркий шерстяной моток пустыни  
Тянут пальцы пальмовой руки.

Что не нам гудят на перегоне,  
Перед семафором впереди,  
Четкие, как линии ладони,  
Железнодорожные пути.

Через бездну сердце сердце тянет.  
Сердца к сердцу путь преступно прост:  
Пунктуальность звездных расписаний  
И внезапность падающих звезд.

### II

Мотор молчит, станок шабашит,  
Лобзик и тот спит,  
Простой сапог, поев каши,  
Бывает весел и сыт.

Даже примус и тот мы лечим  
(Есть для этого волоски),  
А у сердца часто нечем  
Заморить червячка тоски.

А человеческому сердцу плохо,  
У него отпусков нет:  
Стучит от вздоха до вздоха  
Даже в обед.

Из поколения в поколение,  
Изредка только заныв,  
Когда бывает сердцебиенье  
Или разрыв.

У мозга ночью—тихие волны,  
Сонные чудеса,  
А оно работает в сутки полных  
Двадцать четыре часа.

У глаз радости те или эти,  
Зрелища эти и те,  
А оно в абсолютной, заметьте,  
Постоянно сидит темноте.

У носа—лесные ветки,  
Запах травы степной,  
А оно заперто в клетке,  
Хотя и грудной.

Но все же, когда оно рядом с собою  
Ощущает весну в упор,  
Оно начинает давать перебои,  
Как и самый здоровый мотор.

Но даже минуты долю сотую  
Помедлить не все вольны.  
— Честное слово, я отработаю, —  
Говорит оно всем остальным.

Но в тот же миг остальные органы,  
Становясь холоднее гирь,  
Кричат, что они совершенно издерганы,  
Особенно желчный пузырь.

И тогда сердце, до слез испугано,  
Начинает работать опять,  
Это же губительно, если вдруг оно  
Тоже начнет отдыхать.

Это доказано. И оттого-то,  
Тело ли, город, страна,  
Сердце должно постоянно работать,  
Даже во время сна.

---

# Байкальская бась

МИХАИЛ СКУРАТОВ

## I

Не за той ли, не за песней звонкой  
Чутким ухом клонится земля?..  
О, тайга, тайга моя, сторонка,—  
Сторона таежная моя!

## II

Не ходи ж ты, милая, увалом,  
На железную дорогу не ходи.  
Паровоз буянит за Байкалом,  
Только ветер свищет позади!

О, как жадно ты, родное море,  
Лижешь горы, лижешь берега...  
Не тебе ли выплакал я горе,  
Не тебе ли плачется тайга?—

Вот и милая моя увалом  
У твоих гуляет берегов...  
Не у ней ли потаежным палом  
Так и пышет пасмурная кровь?

## III

В сизый вечер, как и встарь, зардейся  
Как и в те диковинные дни,—  
В те, когда нашли красногвардейцы  
Смерть в глуби байкальской западни.

Ты следил за буйной сечей зорко,  
Чуял тяжкий динамитный гул.  
Целый год ходила поговорка:  
«Большевик в Байкале утонул».

В глуби вод, прославленной повсюду,  
Опочила горсточка гостей...  
Им гремели бури—не забуду,—  
Колыхая водную постель.

## IV

Так реви, рычи, звени и смейся,  
Мой гремучий, ласковый Байкал,  
И, баюкая,—красногвардейцам  
Песню пой, что древле напевал.

Не затем ли с милою по скалам  
Я бродил ни весел и ни пьян,  
Напевая были над Байкалом,  
Что певали стаи каторжан.

## V

Не за той ли, не за песней звонкой  
Чутким ухом клонится земля?  
О, тайга, тайга моя, сторонка,—  
Сторона таежная моя!

---

# Ленин на охоте

Очерк

МИХАИЛ ПРИШВИН

**Ш**ишу не для охотников и даже не для деревенских людей. Мне кажется, именно горожанину больше нужно, чем сельскому жителю, чтобы там, где за чертой города вдали синеют зубчатые леса, ходили рогатые лоси, вздымались на лапы медведи, гнездились всякие птицы. Чем же объяснить иначе, что даже Ленин, при его-то работе и в те-то годы стремился попасть на охоту, что многие из членов нынешнего правительства, ранее не думавшие об охоте горожане, теперь, при перегрузке кабинетной работой, стали учиться охоте?

Всем известно, что в живописи сельский интимный пейзаж возник именно с ростом городов. Почему же не предположить, что в будущем государстве именно и возникнет глубочайшая любовь к природе, такая активная, что каждый будет считать нравственным долгом соблюдать строжайшие законы об охране животных и растений.

Для непосвященных кажется парадоксом, что охотник является лучшим охранником природы, но это несомненно: он больше всех заинтересован, чтобы дичь размножалась и сохранялась. Не охотник, например, у нас теперь губит дичь, а Наркомзем. Из фискальных своих соображений Наркомзем, помимо охотничьих кооперативов, выдает всякому свидетельство на право охоты: за 1 р. 50 к. в год каждый может взять ружье и стрелять. Наркомзем получает доход от массы необученных охотников, но сам подрезает себе ноги, рубит сук, на котором сидит.

Результаты ужасные. Повел бы я горожанина в эти синеющие зубчатые дали лесов. Показать можно только волков, на которых охотиться очень трудно и невыгодно: волков не едят и шкура их малоценна. Лоси выбиты почти совершенно. Птицы нас покидают, даже пролетные птицы с каждым годом высыпают все меньше и меньше. Иногда ходишь весь день и ничего не увидишь, только

остаётся в памяти мухомор, далеко высмотренный через стволы на-чисто пробитого скотом леса. 1-го августа, в день разрешения охоты, на утиных местах, как на войне, и кто дорожит собой,—не ходи. Один мой приятель на утиной охоте глаза лишился, другой хуже: детей больше у него не родится.

Я далеко не из тех, кто вздыхает о феодальных и буржуазных охотах. Чего тут вздыхать, когда я знаю, что у нас будет лучше. Я знаю точно, как нужно это сделать и, если только доживу, когда будут слушать мой голос,—сделаю сам.

Сейчас нужно, чтобы как можно скорей Наркомзем передал охоту всецело кооперации, второе, чтобы каждый союз разрешал своему члену охоту после экзамена, пусть не деньги определяют ценз, а знание. Это знание доступно всем, для элементарной охоты не надо учиться в вузе. Вот пока и все: выдержавший егерский экзамен не будет стрелять матку, потому что на том самом месте, где он ее встретил в этом году, будущим летом он найдет целый выводок.

Эх, не до того было Ленину в те годы, но, вспоминая Ленина-охотника, я поднимаю и свою охотничью боль, может быть, кто-нибудь более сильный переймет ее и сделает скоро простое и нужное дело.

### Ошибка Вани

Шестой год мои летние наблюдения в Московской и Владимирской губерниях (Ленинск—Переяславль—Сергиев) вертятся около знаменитого утино-озера-болота, и все почему-то я никак не могу собраться побывать на этом „Заболотье“. Причина этому: обычное равнодушие охотника с подружейной собакой к утиной охоте. А болото теперь уже не просто охотничье, это историческое место: тут Ленин был на охоте. Буденный принял шефство над селом Константиновым, которое лежит тут в центре бекасиных охот. Я отправился в этот край Дубенских болот за бекасами, не загадывая собирать легенды и факты о пребывании Ленина в угином этом краю. Из Константинова в Сергиев на каждый базар возят яблоки. Утром, разыскав себе подводу, я сговорился с Ваней ехать в Посеево, когда он распродаст свои яблоки. Часа в три дня я был с собакой своей и ружьем возле „Дома Крестьянина“. Ваня тут еле на ногах стоял.

— Эх, Ваня, Ваня, как-то мы теперь доедем с тобой!

— Доедем, товарищ!

Ваня, деревенский комсомолец, беседовал не раз с самим Лениным, когда был еще мальчиком.

— Верно, Ваня, не в прок пошла тебе наука Ильича?

Простодушный Ваня согласился:

— Фа-акт!

И стал сваливать все на Госспирт.

— Врешь,—говорю,—это не потому: наверно, и до того пил са-могонку?

Пришлось и с этим согласиться:

— Ясно!

Мы сидели на грядке телеги, свесив ноги. Чтобы в этом положении видеть лошадь и дорогу, надо постоянно поворачивать туда голову и не забываться: особенность нашей телеги. Случилось, около одной большой колдобины Ваня не досмотрел, колесо скользнуло, телега сильно наклонилась, мы плашмя лягнулись в грязь, и через нас перелетела собака.

Досадно стало.

— Эх, ты, Ваня...

— Ошибка вышла,—сказал он,—больше не буду.

— Ну, да, не будешь, давай вожжи, бери собаку.

— Не буду, не буду, виноват, простите, сам же Ильич говорил: „на ошибках мы учимся“.

— Брехун ты порядочный, не учил же тебя Ильич водку пить.

Согласился и, почесав затылок, сказал:

— Фактически!

Так мы ехали шагом, три-четыре версты в час непрерывными лесами до Посеевки, откуда начинались знаменитые когда-то охотничьи угодья, арендатором которых был англичанин Мерилиз. В темноте мы подехали к дому Алексея Михайловича Егорова, который был двадцать лет егерем у Мерилиза и, как оказалось потом, охотился с Лениным.

### У егеря

Всю жизнь слышал „Мюр и Мерилиз“ и представлял себе это немецкой четой: Мюр—супруг, Мерилиз—его дама. И тут оказывается: Мерилиз — мужчина, англичанин и страстный охотник. Он снимал огромное пространство болот и лесов, много охотился, но всегда в меру, зараз больше восьми тетеревей не стрелял и, если собака делала стойку по девятому,—отзывал ее и отправлялся домой. Не жалел денег, в каждой деревне держал сторожа. Дичь размножалась, кишела в этих местах.

Выполняя свое дело, каждый охотник большой индивидуалист: каждому хочется выучить лучше другого свою собаку и обстрелять своего товарища. Но основа души настоящего природного охотника, получившего прививку этой страсти в детстве, хранит стихийный коммунизм. Только этим и объясняется, что на охоте сходятся, как друзья, люди самых разнообразных жизненных положений. Так сошлись между собой богатый англичанин Мерилиз и бедный русский мужик Егоров. Теперь, когда егерь рассказывает о конце своего хозяина, жена его плачет, и дети сидят, повесивши нос. После трудной операции Мерилиз уже не мог ходить по болоту, но до самого конца все-таки охотился. Выдумал с своим егерем натаскать собаку так, чтобы она сама, без хозяина, обегала большие пространства. Собака ищет. Мерилиз сидит на стуле и наблюдает. Собака делает стойку.

Охотник, поддерживаемый своим егерем, еле передвигая ноги, приближается: дупель крепко сидит и собака надежная...

В прежних барских охотах егеря обыкновенно баловались и делались хамами. Но англичанин иначе воспитал своего егеря. Алексей Михайлович и с малоопытным и небогатым охотником будет теперь весь день ходить и виду не покажет, только бы начинающий охотник любил свое дело. Может быть, с таким охотником он не пойдет в другой раз, но все мы кормимся своим ремеслом.

С первого слова, с первого взгляда на мою собаку, Алексей Михайлович почуял мою природу и только успели мы поздороваться, вступаем с ним в продолжительную беседу на тему, кто умней—куропатка или же тетерев. Взвесив все, мы решили, что тетерев много умней. Правда, глуповата куропатка: приладится зимой и летает все на то же самое место и она утром только, бывает, собирается вылетать, а ястреб уже дожидается ее на дереве.

— Тетерева,—рассказывал егерь,—много умней. Сели раз тетерева всей большой стаей на березовые почки, стали клевать. Вдруг ястреб, и вмиг все бросились вниз и зарылись в снег. Ястреб за ними и вот ходит, вот ходит по снегу, и видел, и знает, что тетерева под ним, а нет того, чтобы себе покопать, очень умен на другое, а это ему не дано. Ходит и ходит, а те лежат. Так тетерева, а куропатка от ястреба только голову в снег,—хвост на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.

Так, беседуя, мы высидели незаметно далеко за полночь.

— Я вас,—сказал Алексей Михайлович,—отведу спать на сено в сарай, на то самое место уложу, где и сам Ленин спал.

— Как Ленин?

После того долго еще пришлось посидеть, слушая рассказы этого охотника о Ленине.

### Первая встреча

— Сразу узнал,—сказал Алексей Михайлович.

— По портрету?

— По карточке, да и так: взгляд серьезный. Все другие товарищи сидят просто, а у него взгляд.

— И не шутит?

— Ну, как же не шутит, смеется, а все-таки заметно, взгляд не такой.

— Не охотничий?

— Ну, какой Ленин охотник: ездил, конечно, на деревенскую жизнь посмотреть, отдохнуть.

„Не охотник“ было сказано егерем почти с уважением, потому что очень уж много настрадался он от тех, кому хочется быть настоящими охотниками.

Да, вот тоже так не бывает с настоящими охотниками: собираются на охоту и вдруг Ленина нет. Бросились в сад—нет, во дворе нет,

на улице никто не видал. Ленин пропал, а ведь это не шутка. Долго искали, тревожились, пока, наконец, слух дошел: Ленин в Шеметове в совхозе сидит и с ребятами беседу ведет.

— И про охоту забыл, — сказал Алексей Михайлович, — а ведь у настоящих охотников так не бывает.

### Ленин на тяге

Старый егерь терпеть не может револьверов, считает, что у охотника должно быть одно ружье. Но по тому времени считалось, что необходимо ходить с револьвером: опасное было время. Так и они с Лениным взяли по револьверу и пошли в лес на вальдшнепов.

Известно, как тянут вальдшнепы, каждый год вдоль такой-то просеки, у такой-то березки завертывают, и тут одна линия пересекается с другой, и кто знает эту березку от прошлого года, стань тут в новом году и непременно весь вальдшнеп пойдет через тебя.

Возле такой замечательной березки егерь поставил Ленина и сам отошел, но все-таки устроился, чтобы ему видно было Ленина.

Опытный охотник не ошибся, конечно; только успели расставиться, раздается „дик“ и „хор“, показывается вальдшнеп и через голову Алексея Михайловича прямо тянет на Ленина. Что с ним? Не слышит ли, или обманулся слухом, ждет с другой стороны?

— Владимир Ильич!

Оглянулся, поднимает ружье, выстрелил и вдруг повалился навзничь.

Егерь бросился.

— Что с вами, Владимир Ильич?

Поднимается. Вышло это верно оттого, что он поспешил, плохо ружье прижал к плечу, оно его толкнуло, попятился, а там мазади пенек под ногу, и повалился.

„Ну, — подумал егерь, — так много вальдшнепов не убьешь“, — и стал рядом. Ленин не гонит. Вот опять тянет вальдшнеп. И тут, Алексею Михайловичу вдруг пришла в голову одна счастливая мысль. Ведь это известно всем охотникам, что если выстрелить одновременно двум стрелкам, то каждый из них не будет слышать выстрела соседа: свой выстрел у самого уха все заглушает. Это известное и положил егерь в основу своего загада. Ленин целится и егерь целится. Вместе ударили. Вальдшнеп упал. Прекрасный загад: конечно, Ленин не мог слышать выстрела. Побежал подымать, а ружье-то продуть и забыл. Эх, дурень ты, дурень, старый Алексей, чтобы тебе дунуть в кустах, когда подымал вальдшнепа! Несет теперь добычу Ленину, поздравляет:

— Ловко ударили, с полем, Владимир Ильич!

— Спасибо, Алексей Михайлович, — отвечает Ленин, — **только** отчего же у тебя ружье-то дымится?

Сам смеется, закатывается, как ребенок.

— Ну, ничего,—говорит,—ничего, становись рядом, давай вместе стрелять.

Стали рядом. Стреляли вместе. И за вечер семь штук убили без промаха.

### Примус

Мерилиз очень любил егеря и жил с ним хорошо целых двадцать лет. Конечно, такому охотнику не понравилось, когда все стали бить лосей и в какой-нибудь год истребили их совершенно. Но ведь так же было тогда и со всяким хозяйством. Степенным мужикам-хозяевам казалось, что кто-то сознательно грабит, кому-то это на пользу и в чьи-то руки все попадает. А более развитым обывателям казалось, что если и не попадает никому ничего в руки, то все-таки кто-то наверху во всем виноват.

Обменявшись с Алексеем Михайловичем разными скорбными мыслями об истреблении лосей и хозяйственном разорении того времени, я спросил его:

— А как вы думаете, виноват ли Ленин был во всей этой разрухе?

— Нет,—ответил Алексей Михайлович,—я был у Ленина в Москве, все видел: у Ленина нет ничего.

Так это удивительно вышло и незаметно прошло: я сказал: „виноват“, а егерь на это ответил: „нет ничего“.

И стал мне рассказывать очень подробно, как после одной охоты Ленин позвал его к себе в Москву в гости. Вот и выдумал однажды егерь поехать к Ленину в Москву и все посмотреть. Стал собираться обдуманно: это не шутка из такой глуши попасть прямо во дворец к Ленину. Конечно, представлялось, что в роде как бы к царю едет, но деревенского хлеба взял с собой все-таки порядочно: может быть, это только так говорил Ленин, а там к нему и не допустят, а может быть, и дома не будет. Так ехал к Ленину в Кремль, а хлеба захватил. Но Ленин оказался дома, и егеря к нему повели сразу, как назвался. Вот открылась комната большая-большая и в роде как бы пустая. Может быть, там что и стояло, но комната была большая и казалось, будто совсем таки пустая. А в конце этой большой комнаты стоит ящик, на том ящике сидит Ленин и вот примус накачивает, вот накачивает...

Очень обрадовался, смеется.

— Чем же тебя угостить, Алексей Михайлович, хочешь кофей сварю, только не настоящий, овсяный?

Стали варить кофей. Пospело. Пошел Ленин, принес хлеба. Страшно смотреть было, какой хлеб: хорошей собаке не дашь.

Алексей Михайлович сказал:

— Извините, Владимир Ильич, что назовусь: я с собой деревенского хлеба прихватил...

— Давай сюда!

Пили овсяный кофей и ели хлеб. Три дня егерь кормил Ленина своим хлебом.

Закончив рассказ свой, Алексей Михайлович сказал:

— В роде как сон и сейчас часто вижу: комната большая-большая, в конце ящик и на ящике примус.

„Значит,—спросил я,—Ленин не виноват?“ — „Нет,—ответил русский мужик,—чем его виноватить: у него нет ничего“.

Было уже очень поздно. До свету оставалось всего часа два.

— Здесь спать ляжете?—спросил хозяин,—или на сене?

— Веди в сарай.

— Вот и Ленин тоже: любил спать на сене.

Я ночевал в сарае, где ночевал и Ленин: сарай все такой же, и едва ли хоть на одну морщинку переменялся неутомимый егерь, переживший и Мерилиза и Лёнина. Я лежал в том же самом углу, где и Ленин лежал, на том же самом месте, все было точь в точь, как и тогда, но только Ленина нет больше в живых, и сено другое.

---

## ПЕТР ШАМОВ

\* \* \*

Иду. Дорога дальняя  
Бежит чуть-чуть пылясь  
И речки нить хрустальная  
Прорезала поля.

В полях холстами полосы  
Лежат под рубежком,  
Что чесанные волосы,  
Янтарным гребешком.

Над речкою под кручами  
Горит алмазом луг,  
А в небе синем кучами  
Плывет лебяжий пух

---

# Песня о предмете роскоши

НИК. АСЕЕВ

Жюлю Ромену,—незнакомому другу.

## I

Стой,  
довольно вздор писать,  
есть же  
цвет  
и вкус в вещах.  
Голубую  
шерсть песка  
я добыть  
вам обещал.  
Неразборчив  
след судьбы,  
но у этих  
легких ног,  
— будь я проклят  
и забыт,—  
упадет он,  
как венок.  
Я и сам  
не так уж прост,  
Я делю  
добычу с ней:  
выпрямляюсь  
в полный рост,  
как разумней  
и честней.  
Если  
север наш  
суров,  
если  
жаждет  
он побед,—  
льдись в кристалл,  
мое перо,  
выполняется  
обет.

Если  
    вьюгу затрясло,—  
значит ей  
    меня и жаль...  
Становлюсь  
    на лыжи слов,  
ухожу  
    в литую даль.

## II

Запорошены  
    следы,  
стонет тундры  
    колыбель;  
он,  
    среди других—седых,  
всех  
    быстрее  
    и голубей.  
Виляя по ветру  
    дымок,  
билась об землю  
    пурга,  
он собрался  
    весь в комок,  
в снеговой  
    скача курган.  
От снегов  
    в глазах рябит,  
простынь  
    пухляя топка...  
Вот он  
    пойман  
    и убит:—  
щелкнул  
    зубцом капкан.  
Он прижат  
    щекой к снегам,  
он оскалил  
    белый зуб,  
никогда  
    не полагав  
ветром  
    вытекнуть слезу.  
Вот и все,  
    что записал,  
все, что  
    высмотреть  
    я смог,

кинув ветром  
                                 в небеса;  
 а теперь  
                                 к губам замок.  
 А теперь...  
                                 Ты кто таков,  
 чьи виденья  
                                 так остры? —  
 Подложи-ка  
                                 с двух боков  
 сушняка  
                                 в мои костры.

### III

А теперь,  
                                 мои друзья,  
 я засну,  
                                 жарой томим;  
 шкуру  
                                 от костей раз'ять —  
 уж придется  
                                 вам самим.  
 Не посмей  
                                 на нас 'клепать,  
 гнусь, —  
                                 скорей забейся в щель.  
 Видишь, —  
                                 что я ей припас:  
 цвет и вкус  
                                 и вес вещей.  
 Сплю я в ряд  
                                 с моей судьбой,  
 и тепло  
                                 ее плечо,  
 вьюга льдится,  
                                 снег рябой,  
 уголь  
                                 спину мне печет.  
 Нет, не сплю я.  
                                 Сон бежит.  
 И у белых  
                                 легких ног,  
 голубея,  
                                 он лежит,  
 завернувшись,  
                                 как веноч.

# Разговор на Одесском рейде десантных судов: „Советский Дагестан“ и „Красная Абхазия“

ВЛ. МАЯКОВСКИЙ

Перья облака,  
                  закат расканарейте!  
Опускайся,  
                  южной ночи гнет!  
Пара  
                  пароходов  
                  говорит на рейде:  
То один моргнет,  
                  а то  
                  другой моргнет.  
Что сигналият?  
                  напрягаю я  
                  морщины лба.  
Красный раз...  
                  угаснет  
                  и зеленый...  
Может быть—  
                  любовная мольба  
Может быть,  
                  ревнует разозленный,  
Может, просит,  
                  — «Красная Абхазия!»—  
Говорит  
                  «Советский Дагестан».—  
Я устал,  
                  один по морю лазая,  
Подойди сюда  
                  и рядом стань.—  
Но в ответ  
                  коварная  
                  она:  
— Как-нибудь  
                  один  
                  живи и грейся!  
Я  
                  теперь  
                  по мачты влюблена!



# За правду—в Сибирь

(Путевые заметки арестанта 1914 года)

С. МАЛЫШЕВ

## I

**И**з конторы предварительной тюрьмы, где мы находились до размещения нас по камерам, окно выходило во двор. Четыре стены многоэтажного квадратного ящика «предварилки» тянулись вверх, упираясь чуть ли не в небо. Из этого тюремного ящика, из маленьких квадратных окон камер все небо казалось также квадратным, тусклым, серым. И солнце никогда не попадало в этот двор и, в особенности через маленькие железорешетчатые окна, в камеры к заключенным.

В середине шестизэтажной железобетонной предварилки был маленький дворик, где находился деревянный, дощатый круг с отдельными перегородками и верхушкой—для дежурных надзирателей. Это было устройство для прогулок заключенных. Тут же, за деревянным забором круга, помещалась и общая прогулка, которой пользовались заключенные с законченным следствием, но больше всего уголовные.

По расположению окон я вспомнил, где какой номер камеры находится, ибо за десяток лет большевистской партийной работы мне довелось сидеть в этих камерах пять раз. Тюрьма осталась все та же. Когда я первый раз пришел в эту «предварилку», не было в ее дворе растений. Во вторую мою сидку здесь сажали молодые дубки, а теперь вот эти дубки уже выросли в огромные, мощные дубы и заслонили собой часть тюремного двора, часть маленького тюремного света и солнца.

И только одна эта перемена произошла за этот период, а остальное все по-старому. Стук тюремными ключами по решеткам, это значит: «прими арестанта». Изредка звон кандалышков, вновь закованных и отправляемых в далекий путь, в какой-нибудь из многочисленных тогда столыпинских каторжных централов...

Просидел я этот раз в предварительной тюрьме недолго. На допросы меня, после первого, который был в охранке еще из Спасской тюрьмы,—больше не вызывали. Что будут делать с нами, я не знал.

Перестукиванием получил весточку от арестованного после нас товарища, который между прочим сообщил мне, что всех нас, правдивых, арестованных в ночь на девятое июля 1914 г., будет судить палата, и что члены думы хотят делать по этому вопросу в государственной думе запрос правительству. Других сведений о нашем деле получить не было возможности. Свиданья с родными жандармы мне не давали.

Оторванный ото всех, почти в полном смысле изолированный, сидел я неделю за неделей. В окно на прогулке увидал своих товарищей—Смирнова, Н. И., Васильевского, В. Н., Гертника, А. М., и др. Мне сообщили, что первым трем, Смирнову, Гертнику и, если не ошибаюсь, Васильевскому, жандармы состряпали дело и пустили его в суд.

В середине ноября 1914 года я, вернувшись с прогулки, сделал пяток оборотов по железобетонной камере и сел на кровать. Сажу и флегматично гляжу на переднюю стену тюрьмы и, сквозь маленькое квадратное тюремное окошко, на кусочек серого неба... В длинном тюремном коридоре слышались чьи-то шаги. Вот эти шаги замедлились, чего-то выжидают... Опять приближаются к моей камере, очевидно, ко мне. Вот слышу, подбежал к двери моей камеры надзиратель, которого я уже знал по походке. Шумно повернулся ключ. Железо двери проскрипело и в камеру вошел тюремных поручений чиновник с бумагами. Спросил фамилию, имя и отчество, день ареста, сколько лет от рождения. Получив от меня на все эти вопросы ответы, чиновник стал читать мне бумагу:

«Настоящим вам об 'является, что вы постановлением особого совещания при министре внутренних дел высылаетесь на три года в Восточную Сибирь и т. д. и т. д.».

По прочтении предложил мне написать нижеследующее:

«Настоящее постановление мне об 'явлено такого-то числа и пр.».

Тюремный чин глянул на меня, переглянулся с надзирателем, спокойно собрал с моего железного столика бумаги, вежливо сказал: «До свиданья» и ушел. Железная дверь снова с шумом захлопнулась. Ключ раз-другой повернулся в дверном замке и весь шум резко прервался. Шаги в коридоре стали все тише, все отдаленнее и, наконец, умолкли.

Как-то быстро пролетел этот день, как-то не так прокричал в форточку уголовный: «Кпяток», как-то по-иному поздно загасили тюремный свет. Словом, под новыми впечатлениями, тюремный быт мой как-то изменился. Уже давно тьма уложила спать многих заключенных, уже кончились между отдельными из них стучевые разговоры и по стенке и по водосточным трубам, а я, впотьмах и в тиши тюремной, все еще продолжал носиться взад и вперед по камере. Сегодня я узнал, что немцы лезут на бельгийские города, что война разгорается. Надзиратель откровенно и искренне, шопотом передал мне все эти новости и дополнил, что все новые и новые мобилизации проходят у нас, уже мобилизовали такие-то и такие-то года. И я сегодня не слушал его с тем вниманием, с каким эти его секретные новости слушал вчера.

Значит, мы в Сибирь. Далекий этап, окруженный строгим конвоем, пересыльные тюрьмы России и Сибири, и далекая Енисейская губерния, по которой, чтобы попасть в назначенное место, придется идти или ехать около тысячи верст... Ух.

В этих думах и настроениях кое-как сунулся в кровать и, уставший от переживаний, незаметно уснул.

Утром после чая явился ко мне старший надзиратель и в форточку предупредил, чтобы я собрал вещи. «Это значит—отправляют в пересылку, на этап»,—подумал я.

Через час меня вывели из камеры, также неслышными шагами провели в контору, постучали ключом о решетку, при передаче от надзирателя к надзирателю, и сдали меня конвоем для доставки в пересыльную тюрьму.

В пересылку привели нас вместе с другими после обеда. Ввели во двор, где, продержав полчаса, завели в контору. Поставили всех нас в строй, по два. Строго оглядел нас младший надзиратель, еще более внимательно осмотрел старший и, наконец, впустили в общую камеру, в которой мне удалось встретить некоторых наших товарищей-большевиков и несколько товарищей, моих однодельцев. Радости и разговорам между нами не было конца. Слова лились рекой, факты перебирались, как восточные четки. И воображением и действительностью определяли мы свой далекий путь, думая о всяких неожиданных случайностях, которые нас, большевиков, сопровождают, всю историю нашей борьбы, всю историю боевой жизни нашей партии.

Больше всего обращали внимания на меня, рабочего-журналиста, одетого по-буржуазному, в гаврилке, в манжетах, в синем костюме и в котелке. Смеху было над этим моим видом очень много, разных шуток и острот—тоже.

На другой день утром всех нас вывели в коридор тюрьмы, где начальство должно было непосредственно прощупать нас своим начальственным оком, проверить по документам, опросить всех и каждого, и перевести нас, наконец, куда-то в другую камеру, откуда уже окончательно приготовить к этапу.

В коридоре выстроили нас, человек 30, попарно. Мы, политические, подобрались к одной стороне шеренги, плечом к плечу, рука к руке. Остальные—уголовные.

Явился к нам кургузый начальник тюрьмы, одетый по-жандармскому, с ремнями жандармского образца змеиного цвета, которыми он был туго подтянут. Ходит по нашему фронту, как петух, взад и вперед, разглядывает нас, словно прилаживается клюнуть нас, что-то записывает себе в книгу. Хмурит лоб, пялит на нас свои злые, малого калибра, змеиные глазки и молчит; вслух сопит так сильно, как будто весь его носовой аппарат засорен древесным перегноем.

— Господин начальник,—обращаюсь к нему.

Он медленно оборачивается в мою сторону и спрашивает:

— Что?

В маленькой паузе, которая получилась от этого, рассматриваю его лицо, важное и недоуменное, лицо его, которое говорило нам: «Знаем мы вас».

Весело настроенный, готовый на смех и на ругань, я продолжаю разговор:

— Господин начальник, мы долго еще здесь пробудем?

— В ожидании этапа... С неделю или несколько дней,—отвечает он, также внушительно и важно, по-начальственному.

Я вижу, что это как раз тот самый суб'ект, который был у нас в «Крестах» младшим помощником, и у него я высидел еще в 1904 г., во время японской войны, около года. И потому опять обращаюсь к нему, как к знакомому, еще более развязно.

— Вы помните, может быть, в «Крестах», где вы начальствовали в 1904 г., нам ежедневно давали газету и мы аккуратно тогда следили за ходом войны. Теперь вот опять война, хотя уже и 1914 года. Нам хотелось бы, чтобы вы, по примеру 1904 г., также давали нам и теперь газеты для ознакомления с ходом войны.

Начальник удивленно вытаращил свои глазки, секунду как будто соображал, как ему ответить, и, наконец, промычал:

— Вы в 1904 г. на нас ездили, а теперь мы этого вам не позволим и никаких газет вам теперь не будет...

— Разве ездили?—серьезным тоном спрашиваю я его.—Нет, никто кажется из нас не вспомнит, чтобы мы на вас ездили. Когда же это было?—пристаю к нему совершенно всерьез.

Начальник смутился, растерялся и не знал, что говорить. Что-то буркнул себе под нос, очевидно, нас как следует ругнул и скрылся. А старший надзиратель после этого принялся быстро загонять нас в камеру для приготовляемых к этапу и злобно захлопнул за нами дверь.

## II

В один из зимних, слякотных питерских дней наш этап был сформирован, выведен во двор тюрьмы, расставлен в шеренги и под команду «шагом марш» направлен на Николаевский вокзал для отправления нас по далекому пути, к Сибири.

На нас, арестованных еще до начала войны и не видевших военных улиц, город Питер произвел сильное впечатление. Всюду были военные новозки, всюду движение воинских частей к вокзалам и обратно.

Товарная станция, куда нас пригнали, была заполнена военными эшелонами, артиллерией, медицинскими отрядами и т. д. и т. п. Вся эта мобилизованная публика смотрела на нас, этапников, какими-то злыми глазами. Кто-то из них хотел подойти к нам поближе, чтобы взглянуть нас, узнать, что мы за люди и куда мы двигаемся, но большинство мобилизованных глядело на нас подозрительно.

Уголовные в серых арестантских одеждах были им понятны, но вот мы, политические, мало еще были тогда знакомы всей этой массе и были

для них загадочными людьми в вольной одежде. Патриотический военный угар среди интеллигенции, которая становилась тогда на колени перед царем и перед дворцом, к тому времени еще не прошел и среди мобилизованных этот угар засел в головах и вызывал явно враждебное чувство к нам.

Нас выстроили на платформе товарной станции. Начали делать нам переключку. Окруженных конвоем, строгий окрик которых для некоторых из нас казался непривычным и остро-ощутительным, нас, наконец, попарно завели в вагон.

Пульмановский «благоустроенный», а в 1907 году, говорили мы, «стольпинский» вагон, был специально приспособлен для нас, арестантов. Четыре этажа этого вагона были устроены с отдельными железными перегородками. Купе на 14, а иногда и на 16 чел., имело отдельный запор и отдельные ключи. Сидеть в купе в таком количестве совершенно нельзя было. Приходилось лишь кое-как, полулежа, пристраиваться в этих тесных, арестантских клетушках. Даже в уборную выпускали нас из вагонных клетушек с большим трудом, ибо по наущению начальства конвоиры старались причинять нам как можно больше неприятностей.

После многократных передвижек и толчков, наконец, наши четыре арестантских вагона прицепили к поезду на Вятку. Время от времени дежурный конвоир приносил ведро горячей или холодной воды, время от времени заваривали мы в своих чайниках и кружках чайку, и двигались дальше, к Сибири. Через два-три дня мы прибыли на ст. Вятка. Выгрузили нас из вагона, посчитали, окружили зорким взглядом увеличенного состава конвоиров, и повели в губернскую тюрьму.

Вмещавшая несколько сот человек общая камера тюрьмы оказалась уже переполненной предыдущими этапами. Подвальное помещение этой огромной камеры сплошь набито людьми всех национальностей, не только России, но и Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Турции и пр. Все это были военно-пленные. Среди них, как бы клином, вбиты были также и наши уголовные, а затем, вот, втиснулись и мы, политические, мы, правдисты. Как муравейник кишела эта огромная камера разными настроениями и говором. А спертый отвратительный воздух так сильно действовал на нас, пришедших с улицы, что некоторые наши товарищи еле-еле держались на ногах.

Самые разнообразные впечатления получили мы в этой камере и самые удивительные новости. Оторванные от воли еще до начала войны, мы совершенно не знали, что творится ни на войне, ни в нашей жизни.

Одетые в свою одежду, военно-пленные австро-венгерских войск, русины и др. славянские племена рассказали нам, что они побросали оружие и сдались царским войскам в полной уверенности, что они могут по-братски разрешить военный вопрос, не воюя и не убивая друг друга. Отдались в руки русского царя, как говорили они, потому, что народ русский был им родственен и близок.

Но эти славяне, скитаясь два месяца по русским тюрьмам, теперь шли по направлению к Сибири, как преступники. Все они уже начинают

проклинать тот час, когда они решились на этот поступок. Они думают теперь только о том, чтобы как-нибудь вырваться из цепких лап царского чиновничества и бежать опять к фронту, чтобы снова открыть поход против того, что они встретили в этой «братской» России...

Дверь в нашу камеру загремела, открылась. Окрик «встать» закружился по камере, в этом людском шуме, но мало вызвал к себе внимания. Среди людей кое-кто было поднялся с места, большинство же осталось сидеть, в особенности политические. Мы оказались вблизи двери, сидели на своих котомках и глядели в нахохлившееся лицо надзирателя. Надзиратель растерялся и, не зная, что делать, глядел на политических, которые весело разглядывали его русскую, незлобивую рожу, а некоторые из политических даже не обратили внимания на окрик и продолжали вести свои разговоры. Через минуту вошел, вернее «вковылял» старый офицер, длинный и тощий, как кирасирская сабля, с большими ногами и в полковничьих погонах. Посмотрел на всех арестантов, и в особенности на людей, которые не встали. Поморщив нос и лоб, он спросил нас:

— А вы что? Кто вы такие?

— Политические,—отвечает один из нас, также сидя на месте.

— Это из Питера?

— Да, из Питера.

— Вы из журналистов?

— Да, журналисты.

— Это не из рабочей ли газеты «Правда»?

— Да, из нее.

— Так, так,—протянул он себе под нос, круто повернулся и вышел из камеры.

Через несколько минут дверь снова открылась и появился тот же надзиратель, но уже не крикнул «встать», а, смиренхонько войдя, обратился к нам и спросил:

— Вас, политических, сколько здесь?

Мы назвали, сколько нас.

— Ну, собирайте вещи, да пойдите в другую камеру.

Мы собрались. С большим трудом, сквозь людскую тюремную массу, выволокли себя и свои котомки в коридор. Нас немедленно же повели во второй этаж и поместили в отдельную камеру. Предложили кипятку. Подали отдельный обед. Дали чистые матрацы и кровати. Словом, мы почувствовали, что за нами начинают ухаживать, причин же этого особого внимания мы не могли понять.

При новом появлении к нам старшего надзирателя, мы стремились заговорить с ним о том, когда нас отправят к Сибири, и усиленно требовали отправить нас в первую очередь. Надзиратель вежливо отвечал, что начальник тюрьмы сделает все, чтобы поскорее, первым же этапом отправить нас по месту назначения. В вечернюю проверку, в 9 ч. вечера, явился тот же старый офицер, похожий на вызубренную кавалерийскую саблю, поздоровался с нами, потолокся около нас с полминуты и заговорил:

- Вы, господа, политические?  
— Да.  
— По какому делу?  
— По делу рабочей газеты «Правда».  
— «Правда», она теперь ведь закрыта?  
— Да, закрыта.

Из того, что он уже вторично заводит такую речь, мы решили, что он хочет поговорить с нами, и стали более словоохотливыми. Разговор завязался о войне, ибо мы об этой империалистической войне ничего еще не знали. Старик подполковник кое-что рассказал нам о ней. При этом подмигиванием указывал нам, что, дескать, многого вам говорить нельзя. Но все же его простецкая душа растворилась и рассказала нам больше, чем он сам этого хотел. Затем всех нас он переписал, но ясно было, что делает это он только для вида, чтобы показать, что он здесь около политических не зря толчется. Затем, после пары-другой сердечных слов, этот старый вояка ушел, сказав нам: «До свиданья, господа».

### III

Надзиратель, после такого отношения начальника тюрьмы, стал с нами еще любезнее. В 2 часа ночи, когда мы сидели с лампой и разговаривали о впечатлениях и фактах, которые мы встретили и узнали в Вятской тюрьме, вдруг волчок в двери задвигался, открылся и сквозь этот волчок стал кто-то шопотом говорить с нами.

— Подойдите сюда, подойдите-ка,—слышался шопот в этот волчок. Когда один из нас подскочил к двери, торчавшие в овальную дырку волчка губы выбросили звук:

— Начальник прислал вам газеты. Только осторожнее читайте их. Через час я приду за ними.

Свернутый крепко жгут газет выскочил из волчка на пол. Волчок снова закрылся. Мы огляделись кругом, убедились, что в окно из других камер не видно, и принялись читать эти газеты. Мы за весь этот военный период впервые имели газетные сведения. Надо сказать, что они произвели на нас ошеломляющее впечатление.

Просидели мы в Вятской тюрьме около недели. Нас действительно направили с первым же этапом на Екатеринбург. Этап составили очень большой, почти половину поезда. Тут были люди разных классов и положений, но больше всего дезертиры с войны и военно-пленные немцы, австрийцы, турки, поляки, евреи, небольшая часть русских уголовных и мы, группа политических, группа правдистов, отправленных правительством за «Правду» в ссылку, в Сибирь.

Через несколько дней мы прибыли в Екатеринбург, где также отгрузили нас с поезда и погнали в Екатеринбургскую губернскую тюрьму.

Во время движения поезда выяснилось, что среди уголовных и военно-пленных нашего этапа очень много больных не только тифом, но

и другими эпидемическими болезнями, и в особенности, много больных венерическими болезнями. На приеме этапа в тюрьму мы заявили тюремной администрации, чтобы нам, политическим, предоставили отдельную камеру.

Однако отдельной камеры нам не дали. Посадили нас вместе с польскими ксендзами, содержателями притонов, банкирами, ворами и проч. человеческой рухлядью.

На каменном полу, который служил нам и столом и нарами, мы разместились по группам. По ночам от клопов оборонялись всякими способами, в том числе и обведением на полу всего нашего района водяной линией, через которую клопы не могли перейти. Со вшами же бороться мы никак не могли.

Кормили нас в Екатеринбургской тюрьме отвратительно. Варили какую-то необыкновенную похлебку из конины. Но конина эта не была действительно кониной, — покупались тухлые конские копыта. Раз или два эти конские копыта оказывались в похлебке, даже вместе с кусочками подковы и гвоздями. Кроме этого, нам больше ничего не давали.

Спустя несколько дней мы, конечно, начали протестовать и требовать себе отдельной камеры. Начальство как-то размякло и, действительно, в этом же коридоре нашло нам маленькую отдельную камеру, куда нас, в количестве 7 чел., и посадили. Но эта камера нормально могла вместить только одного человека. Спать всем нам в ней лежать было никакой возможности, мы спали полусидя, впривалку один к другому. Повернуться было также невозможно. Трудно было пройти по камере, чтобы не задеть кого-нибудь.

Воздух был настолько густ, что буквально затруднял дыхание. Чем дальше, тем все больше и больше сгущалась атмосфера в нашей камере. Мы наклеили на бумажку жидкого хлеба, прилепили к стеклу и тихонько выдавили стекло из окна, сделав таким образом отдушину вроде форточки.

В Екатеринбургской тюрьме оказался тогда наш старый большевик И. М. Малышев, сидевший, кажется, по какому-то Уральскому делу. Узнав, что мы прибыли с этапом, он немедленно же прислал нам записочку, в которой вместе с приветом сообщил, что нам пришлют передачу и деньги, о чем он уже сообщил на волю. Там тогда кроме местных большевиков работали еще Н. Н. Крестинский, высланный из Питера вперед нас. Вскоре же Екатеринбургская организация сделала нам передачу продуктов и денег. Пробыв в этой тюрьме около 10 дней, мы двинулись дальше, все также с лязгом кандалов и грубым окриком конвойных. И опять те же картины этапного пути, заманчивые картины далекой «Владимирки».

Когда нас выстроили на станции Екатеринбург, в партии арестантов были уголовные, военно-пленные и человек 7—8 нас, политических. В момент проверки конвоя на платформе вокзала подошла к этапу какая-то барыня, что-то поговорила со старшим конвоиром и, приблизившись к арестантской шеренге, начала раздавать арестантам свое подаяние.

У нас, политических, не принято было принимать подобную милостыню. Мы всегда реагировали на это самым категорическим образом: или выбрасывали из камер подобные подаяния, или просто заявляли «благодетелям», что мы подаяний не принимаем. Так, вероятно, произошло бы и тут. Но здесь случилось совершенно другое. Оделив всех уголовных, барыня остановила свое внимание на нас, осмотрела нашу группу и полушопотом спросила у конвоира,—кто мы такие. Получив, очевидно, ответ, что мы политические, она плюнула в нашу сторону и пошла. Мы посмеялись ей вслед.

Нас погрузили в вагон и через час поезд двинулся. Этап наш направился в Енисейскую губернию, через Тюмень. Недели три спустя после Екатеринбургской тюрьмы, побывав в Тюменской и Омской тюрьмах, мы были доставлены в Красноярскую пересылку.

Деревянные бараки этой пересылки на своем веку видывали разные виды, в них за историю нашей борьбы разыгрывались огромные события, большие бунты, но то, что происходило во время нашего там пребывания, все же было необыкновенно: особо огромные этапы арестантов шли каждый день. Самый контингент их был совершенно иной и необычный. Кроме уголовных, пленных и политических, здесь собраны были царской властью люди большого количества наций, классов и положений: турки, немцы, венгерцы, поляки, болгаре, евреи и пр., и пр., и пр.

Нельзя сказать, чтобы администрация тюрьмы была груба с нами или нахальна,—она была просто индифферентна к нашим арестантским нуждам и предоставляла нас самим себе. Если у кого из уголовных были деньги, то они питались как следует; мы же, политические, поддерживали себя коллективным кошельком. У кого-нибудь из наших товарищей были кое-какие средства и эти средства коллективизировались и шли на существование. Из тюрьмы удалось также связаться с нашей Красноярской партийной организацией, которая оказала нам содействие к улучшению нашего материального положения. Из России родные и товарищи телеграфным порядком также переводили нам кое-какие денежные средства, а также посылали посылочки с вещами и теплой одеждой. С улучшением нашего материального положения создалось у всех и настроение более веселое, чем оно было за последние две недели этапа.

Наконец, всем нам об'явили, кто куда из нас назначен, и в одну из зимних морозных ночей мы двинулись на подводах вниз, к Енисею. Всего было организовано до 100 подвод. На каждой из них, кроме вещей и кучера, было посажено по 3, а если сани были побольше, то и по 4 арестанта; на 3 подводы 1 конвоир, но зато он был в полном вооружении.

Обоз был очень интересный, шумный и веселый. Мы, политические, усаживались на подводы вместе, чтобы всем быть на виду друг у друга и чтобы можно было своевременно оказать помощь товарищу, а в случае каких-либо недоразумений с уголовными или с конвоирами, встать широкой грудью против врага.

# ИЗ ПРОШЛОГО

## Из архива Валерия Брюсова

I. При электричестве (стихотворение). II. Детские и юношеские воспоминания

### I ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Я мальчиком мечтал, читая Жюль Верна,  
Что тени вымысла плоть обретут для нас;  
Что поплывет судно громадней «Грит-Истерна»;  
Что полюс покорит упрямый Гаттерас;  
Что новых ламп лучи осветят тьму ночную;  
Что по полям пойдет, влекомый паром, Слон;  
Что «Наутилус» нырнет свободно в глубину морскую;  
Что капитан Робюр прорежет небосклон.

Свершились все мечты, что были так далеки.  
Победный ум прошел за годы сотни миль:  
При электричестве пишу я эти строки,  
И у ворот, гудя, стоит автомобиль;  
На полюсах звивились звездистые знамена;  
Семья «Титаников» колеблет океан,  
Подводные суда его врезают лоно,  
И в синеву, треща, взлетел аэроплан.

Но есть еще мечта, чудесней и заветней;  
Я снова предан ей, как в юные года:  
Там, далеко от нас, в лазури ночи летней,  
Сверкает и зовет багряная звезда.  
Томят мою мечту заветные каналы,  
О существах иных твердят безвольно сны...  
Марс, давний, старый друг! наш брат! двойник наш  
алый!

Ужели мы с тобой вовек разлучены?

Не верю! Не хочу здесь, на зеленом лоне,  
Как узник, взор смежить! Я жду, что сквозь эфир,  
В свободной пустоте, помчит прибор Маркони  
Приветствия земли в родной и чуждый мир;  
Я жду, что, наконец, увижу шар блестящий,  
Как точка малая, затерянный в огнях,  
Путем намеченным к иной земле летящий,  
Чтоб братство воссоздать в разрозненных мирах.

## II. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

В детстве мне не пришлось ездить много. Дела отца не позволяли ему надолго отлучаться из Москвы, и лето мы проводили не где-нибудь на «курортах», но под городом, «на даче». Впрочем, в течение нескольких лет истинно прекрасных,—когда мне было от 4 до 7 лет, мы жили почти в деревне, в местности, тогда еще почти не навещаемой дачниками, так как поблизости не было железной дороги (село Медведково, с великолепной церковью XVII века), и эта жизнь среди полудиких лесов и крытых соломой изб, в постоянном общении с мальчишками «с деревни», дала мне, конечно, больше, чем дали бы ребенку впечатления какого-нибудь Мариенбада или Спа (1).

Единственное путешествие, которое я совершил в детстве, была наша поездка в Крым в 1877 г., когда мне еще не было полных 4 лет. Тогда мы прожили в Ялте почти все лето, до самой зимы. Море и скалы, «царственные виды соседства гор и вод Тавриды» сразу обольстили мое детское воображение. Тогда я уже читал и даже что-то «сочинял», записывая свои «вдохновения» печатными буквами (скорописных—не знал). И, помню, что долго после я все спрашивал книг, где говорилось бы о море, а в своих младенческих виршах все подбирал рифмы к слову «волны».

В памяти у меня остались лишь разрозненные отрывки впечатлений этого лета: запомнилась почему-то, и вполне отчетливо, Ореанда; запомнились стены севастопольских домов, на которых тогда еще показывали следы ядер и пуль Крымской войны; запомнилась бурная ночь, когда ветер срывал ставни на ялтинских домах, а в море затонуло немало рыбацких баркасов. Но больше запомнились образы, прямого отношения к Крыму не имеющие: иные вечера, когда тетка читала мне вслух «Естественную историю» Германа Вагнера (2), иные часы, когда я раскрашивал картинки в своем альбоме (я долго увлекался рисованием) и т. п. Интересно, однако, что общий *вид* Ялты бессознательно остался живым в моей памяти. Когда, почти двадцать лет спустя, в 1896 г., я вновь побывал в Крыму и с палубы парохода увидел амфитеатр гор, окружающих его «столицу»,—сразу я *почувствовал*, что все это—мне знакомо, что все это—я уже видел когда-то. Очертания яйлы (3) и узор сбегających вниз долин, как что-то привычное, легли в мои глаза, и была какая-то сладкая боль зрения, воспринявшего впечатления в тех же местах, что два десятилетия назад...

После поездки с семьей в Крым я больше 15 лет не выезжал дальше, чем в окрестности Москвы: не бывал даже в Петербурге. Уже студентом первого курса в 1895 г. я совершил летом маленькое «круговое путешествие»: из Москвы в Петербург, Ригу, Варшаву и обратно. Теперь мне любопытно вспомнить, что эти города, в которых я бывал с тех пор десятки раз, тогда произвели на меня свое впечатление. Москвич, впервые попадающий в наш Петербург, невольно повторяет слова Белинского: «Вот

это—европейский город, или, по крайней мере, город, каким я представляю себе европейские города» (4). Конечно, теперь я с горечью знаю, как далеко нашему Петербургу до «Европы», но в 90-х годах (с того времени Москва значительно приблизилась к типу «европейского города») контраст между ним и «порфиросной вдовой» (5) был разителен. В однообразном и тусклом движении Невского все же есть некоторое подобие подлинного оживления большого европейского центра. Рига намекнула мне на характер старинных немецких городов; Варшава—на блеск и пестроту городов южных. И там и здесь на меня уже «пахнуло»—«за-границей».

Следующая моя поездка, летом 1896 г., была на Кавказ. Я ехал через Крым, увидел вновь Ялту, посетил Ореанду, где, в угоду своим эстетическим теориям, написал стихи:

Четкие линии гор;  
Бледно-неверное море...  
.....  
Создал я в тайных мечтах  
Мир идеальной природы,—  
Что перед ней этот прах,  
Стены и скалы и воды!

Если это не было неправдой, то и не совсем было правдой: так я *хотел* чувствовать, но, на самом деле, «бессилие» (перед мечтой) природы— пленяло втайне очи... (6).

Из Ялты в Новороссийск я ехал на пароходе и мог убедиться, как верен эпитет Бальмонта:

Застыл, как изваянье, *тяжелый* Аю-Даг (7).

На Кавказе большую часть времени я провел на группе «Минеральных Вод», взбирался, твердя стихи Пушкина, на Машук и на Бештау, любовался из Пятигорска в утренней ясности воздуха панорамой отдаленных Кавказских гор с белыми головами Эльбруса и Казбека (этот вид прекраснее, чем панорама Альп с высот под Берном), встречал восход солнца на Бермамуте, исходил все «балки» под Кисловодском, вспоминая стихи «Демона» и прозу «Героя нашего времени». Мне все еще не хотелось «уступить» обаянию природы, и я упорно заставлял себя видеть в ней несовершенство... Рассказать кстати, у меня было с собой мало книг, и я, достав в местной библиотеке полное собрание сочинений Шатобриана, прочел его от строки до строки, в том числе и «Начезов»; читая приторные описания девственных американских лесов, я повторял сам себе: вот и Америка, как и Кавказ ничтожны перед красотой большого города, а тем более перед видениями фантазии...

За границу я попал впервые на следующий год, в 1897 г. Поездка моя ограничилась Германией: я побывал в Берлине, в Кельне, в Ахене, в Бонне и еще нескольких прирейнских городах. В Берлине я впервые увидел подлинные полотна Боттичелли (петербургское «Поклонение волх-

вов» я еще не умел ценить)<sup>(8)</sup>. Уже так много я об них слышал, что мне они явились родными, и мне казалось, что и меня они встретили, как давнего знакомого. Я стоял в зале Берлинского музея (то было еще его прежнее помещение, теперь занятое почти исключительно собранием чудовищно-безобразных «мулажей», опозоривающих едва ли не все лучшие создания мировой скульптуры), стоял в пестрой толпе, беспечно глазающей на белокурую Афродиту, стыдливо потупившую глаза,—и чувствовал себя как бы государем, путешествующим инкогнито и признанным некоей принцессой. Мне хотелось шепнуть этой невинно-обнаженной девушке со змеями волос на плечах, резко выступающей на совершенно черном фоне: «Не выдавай меня, не говори, что это—я, *tace, mecum esse...*»<sup>(9)</sup>. Это все—смешно, но именно так я чувствовал тогда.

Кельн и Ахен ослепили меня яркой, золоченой пышностью своих средневековых храмов. Впервые, «сквозь магический кристалл», предстали мне образы «Огненного ангела»<sup>(10)</sup> (впоследствии я несколько раз бывал в Кельне и жил в нем сравнительно долго), Рейн мне показался широкой рекой, и только (его красоту надо искать в его верхнем течении). Больше впечатление оставили картины, мелькавшие в окне вагона, когда я ехал «южной» дорогой через Магдебург:

Поезд врывается в древние скалы,  
— Слева и справа гранит  
Вот на тропе пешеход запоздалый  
Стал, прислонился, глядит.  
.....  
Дальше... Опять надвигаются горы.  
Замок сошел на утес...<sup>(11)</sup>.

Этот замок, «сошедший» на утес, я и сейчас помню отчетливо, но сколько раз после, проезжая тем же путем, я ни выискивал его глазами,—вторично увидеть мне его не пришлось. Может быть, он мне и пригрелился.

Осенью того же 1897 г. я был в Малороссии: в Киеве я совершил паломничество во Владимирский собор, и живопись Васнецова была для меня еще и новостью и подлинной красотой. О фресках Врубеля в Кирилловской церкви тогда еще мало кто знал: не знал и я<sup>(12)</sup>. Из Киева в Кременчуг я ехал по Днепру, и путь, на который по расписанию полагалось что-то часов 10—12, мы совершали трое суток, застревая на каждом перекате. Оставалось лишь смеяться над школьными воспоминаниями: «Чуден Днепр при тихой погоде... сквозь леса и горы полные воды свои...». Потом я был в Миргороде, как раз в дни ярмарки (было гулко, грязно и дико), и в Больших Сорочинцах. В те годы это были места еще совсем глухие. На мою просьбу отвезти меня в гостиницу, ямщик-еврей мне ответил: «Этого у них нет». Хозяин хаты, приютивший меня, ежедневно готовил мне одно блюдо: похлебку из целой курицы, со всеми ее потрохами, которую утром излавливали под моим окном. Когда, уезжая, я предложил расплатиться, хозяин,—усатый казак, вроде пана Данилы из «Страшной мести»,—достал какие-то особенно громадные счеты и величественно начал подсчитывать мой долг. «Ну, за кур, если мы

положим по 15 коп., не дорого будет».—Думаю, что такие патриархальные времена миновали теперь и для Гоголевских Сорочинцев.

После своей женитьбы, два лета я провел с женой в Крыму, в Алупке, в 1898 и 1899 г. Мое пренебрежение к природе с меня, как сказали бы люди положительные, «соскочило», и я уже не мешал своим глазам радоваться всей пестроте далей, расстилаемых горными склонами; слуху—упиваться шумом моря, когда

с волной отбегающей  
Тихо грохочут камня (13);

всему существу—впивать южный воздух, дыхание водного простора, аромат цветов и зреющего винограда. То были последние годы перед тем, как Крым сделался базаром суеты—курортом, в европейском смысле, наполненным от Балаклавы до Керчи нарядной и надоедливой толпой петербуржцев и москвичей. Алупка была еще настоящей деревней, где татар было много больше, чем приезжих (теперь, говорят, наоборот), с парком еще пустынным (особенно в летние месяцы), с неоскверненным берегом моря, где можно было целыми часами лежать на какой-нибудь скале «Ирме», наблюдая жизнь медуз и крабов и не видя человеческого лица. Конечно, уже стояли и строились большие гостиницы, но еще без особых усилий было можно жить в полном затишии Крыма старого, того, каким его знавал, вероятно, Пушкин, а, бродя по горам, еще встречать и орлов и диких коз.

И я, и моя жена, мы были хорошими ходоками, так же, как и моя сестра (Н. Я. Брюсова—автор нескольких книг по теории музыки)<sup>(14)</sup>, жившая с нами одно лето. Можно сказать, что мы обошли все окрестности Алупки, верст на 30 в окружности, и что не осталось ни одного интересного уголка поблизости, куда бы мы не заглянули. Раз семь или восемь мы совершали восхождения (пешком) на Ай-Петри,—прогулка очаровательная, которую должно рекомендовать всем начинающим «альпинистам». Красивость вида с вершины этой горы (где в мое время единственным приютом для путников была жалкая «корчма» под затейливым названием «Милости прошу») достаточно известна и большинству знакома по личным впечатлениям, и я говорить об этом не буду. Скажу только, что главная прелесть этого вида (сравнительно, напр., с видами в Альпах и в Пиренеях)—в его широте: кругозор не замкнут другими высотами, но открыт на всю «бесконечность» моря, тогда как под ногами развернут чуть ли не весь «южный» берег с его селениями, парками, дорогами, ручьями, означенными словно на гигантской карте. Это делает Ай-Петри, несмотря на его незначительную абсолютно высоту, одной из привлекательнейших вершин для восхождения.

Попутно упомяну о двух моих наблюдениях.

Мне приходилось читать (и не только в путеводителях, но и в ученых исследованиях), что «происхождение названия Ай-Петри—неизвестно». Попытались вывести это название из каких-то татарских корней.

Между тем об'яснение его весьма просто. «Ай-Петри», как все знают, значит «Святой Петр». Если идти к этой горе по тропе от Мисхора, скалистые зубцы вершины, перемещаясь в перспективы, постоянно меняют свой внешний вид. Наступает, наконец, такая минута, такое место, откуда эти зубцы вполне определенно имеют вид *панской тиары*, «шапки святого Петра». Это я видел сам и даже зарисовал этот вид. Не знаю, дано ли уже это об'яснение в каком-либо сочинении о Крыме <sup>(15)</sup>.

Другое наблюдение касается моих критиков. У меня в одном стихотворении упомянута «орлиная стая». Критика мне указала, что орлы стаями никогда не летают. Не спорю. Может быть. Но однажды, всходя на Ай-Петри, уже недалеко от вершины, мы определенно увидели именно *стаю* орлов. Их было восемь или десять, и то были несомненно орлы, а не какие-либо другие пернатые. С гулким шумом крыльев пронеслись царственные птицы над самыми нашими головами, взнеслись, описав полукруг, выше и канули за последним зубцом скалы. Это—*было*. Но я готов допустить, что то был случай единичный. Однако вспоминаю еще жалобы авиатора, перелетевшего через Пиренеи, что на него напала «стая орлов»... <sup>(16)</sup>.

Вход на яйлу через Ай-Петри—общеизвестен. Менее, кажется, известен другой путь из Алупки на Крымское плоскогорье—через «Воронцовский перевал». Между тем этот путь, пожалуй, еще живописнее первого...

### Примечания

Стих. «*При электричестве*» печатается по автографу. Оно не вошло ни в один из сборников стихов В. Я. Брюсова, вероятно, по каким-либо случайным причинам; стихи, относящиеся к 1912 году, были включены Брюсовым в его сборник «Семь цветов радуги» (М. 1916). Тема стихотворения, чрезвычайно характерная для Брюсова, разработана им и в ряде других стихотворений. Напр., в упомянутом сборнике «Семь цветов радуги» стих. «Сын земли» оканчивается след. строфой:

Вы, властелины Марса иль Венеры,  
Вы, духи света иль, быть может, тьмы,—  
Вы, как и я, храните символ веры:  
Завет о том, что будем вместе мы.

В стих. «Земля молодая»—строки о полете к планетам и о световых сигналах неизвестным мирам. В стих. «Хвала человеку» (сборник «Все напевь», М. 1909) поэт, славословя мощь человека, говорит:

Верю, дерзкий! Ты поставишь  
Над землей ряды ветрил.  
Ты по прихоти направишь  
Бег в пространстве, меж светил.

Тема «межпланетные полеты» занимала Брюсова и в последние годы; в 1920 г. он работал над фантастическим романом «Экспедиция на Марс», оставшимся незаконченным.

О том влиянии, какое оказала фантастика Жюль Верна на Брюсова в детстве, он рассказывает в своих, еще неизданных, воспоминаниях следующее: «Жюль Верн... Не знаю писателя (кроме разве Эдгара По), который произвел бы на меня такое же впечатление. Я впивал в себя его романы. Некоторые страницы его производили па

меня неотразимейшее действие. «Тайна таинственного острова» заставляла меня леденеть от ужаса. Заключительные слова «Путешествия капитана Гаттераса» были для меня высшей—доступной мне—поэзией... Последние страницы в «8.000 лье под водой», рассказ о Наутилусе (корабль), замерзшем и безмолвном, до сих пор потрясают меня при перечитывании, может быть, по воспоминаниям».

Образы из романов Жюль Верна упоминаются и в печатаемом стихотворении.

«*Детские и юношеские воспоминания*» печ. с автографа. Рукопись не датирована, но по ряду соображений ее следует отнести к 1910—1911 г.г.

Не являясь законченным целым, этот набросок воспоминаний заключает в себе ценные данные для истории жизни и творчества Брюсова.

Нижеследующие примечания относятся к отдельным местам воспоминаний, отмеченным в тексте цифрами.

1. Село Медведково—бл. Москвы, в четырех верстах от Останкина. В начале 80-х г.г. Медведково—по словам обозревателя окрестностей Москвы того времени—«представляло мало удобств для дачной жизни» (С. Любецкий. Окрестности Москвы. М. 1880, стр. 80). Церковь в Медведкове—один из интереснейших памятников XVII в. (Путеводит. по Москве, изд. Моск. Архит. обществом под ред. И. Машкова. М. 1913, стр. LXXVII).

2. «Первые рассказы из естественной истории» Г. Вагнера, перевод В. Висковатова. СПб. 1872. В книге—краткие рассказы о животных, растениях и явлениях неорганического мира.

3. Яйла—Крымские или Таврические горы.

4. Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Петербург и Москва».

5. «Порфиросная вдова»—слова Пушкина («Медный всадник»).

6. Стих. «Четкие линии гор...» написано Брюсовым в 1896 г. в Ореанде, вошло в его сборник «*Me eum esse*». М. 1897. «Эстетические теории» о бессилии природы перед мечтой были развиты Брюсовым в его юношеской работе, в брошюре «О искусстве» (М. 1897), где к одной из глав (стр. 11) эпиграфом поставлены строки из стих. поэта 30-х гг. М. Пожарского:

Все пройдет, лишь мысль поэта  
Блещет вечной красотой...  
Мне ли слабую природу  
Звать соперницей своей?

В этой брошюре Брюсов писал: «Мгновения отходят в могилу без надежды воскреснуть. Задача искусства—сохранить для времени, воплотить это мгновенное, это мимоидущее... (стр. 12). Искусство воплощает настроения; в настроении проявляет свою жизнь душа... Душа पहले мертвой природы, осужденной исчезнуть, как призрак. Вот почему создания искусства мы называем бессмертными» (стр. 15). Подобные мысли об искусстве очень характерны для Брюсова раннего, декадентского периода; они развиты им в целом ряде стих. Напр. (Собр. стих. II. 1913, стр. 188):

Есть что-то позорное в мощи природы,  
Немая вражда к лучам красоты:  
Над миром снал проносятся годы,  
Но вечен только мир мечты...

7. Строка из стих. Бальмонта «Аю-Даг» (Собр. стих., т. II. М. 1905, стр. 65).

8. «Поклонение волхвов»—картина Боттичелли—находится в Ленинграде, в Эрмитаже.

9. Молчи, это—я.

10. «Огненный ангел»—повесть Брюсова из немецкой жизни XVI века; впервые напечатана в журн. «Весь» за 1907—8 г.г.

11. «Поезд врывается...»—в собр. соч. Брюсова (т. I, стр. 191) помечено: «1897 г. Близ Магдебурга».

12. Фрески в Кирилловской церкви в Киеве были написаны М. А. Врубелем в 1884—85 г. А. Н. Бенуа в своей «Истории русской живописи в XIX в.» (II. 1901,

стр. 266—267) говорит, что «никто не отметил в свое время такого поразительного явления, как фрески Врубеля, никто не оценил его Владимирских узоров... Многие годы Врубель был всеобщим посмешищем и лишь крошечная кучка лиц относилась к нему серьезно и любовалась его громадным живописным талантом». Впоследствии Брюсов был «страстным поклонником» творчества Врубеля (В. Брюсов. «За моим окном». М. 1913.—Воспоминания о встречах с Врубелем и стих. «М. А. Врубелю» в сборнике «Все напевы». М. 1909).

13. Строки из стих. Брюсова из цикла «Картинки Крыма и моря» в сборнике «Tertía Vigília» М. 1900, стр. 127.

14. Надежда Яковлевна Брюсова—теоретик музыки; ей принадлежит несколько работ: «Временное и пространственное строение формы». М. 1911; «Наука о музыке, ее исторические пути и современное состояние» в журн. «Весы», 1909, № 11 и др.

15. В книге В. Х. Кондараки «Универсальное описание Крыма» (ч. I. Никольский 1873, стр. 166) о названии Ай-Петри сказано, что «по преданию здесь был храм во имя св. Петра, вследствие чего и скала названа этим именем».

16. Обширная библиография Брюсова в полной мере еще не разработана, и мы затруднимся сказать, какое стих. здесь имеется в виду. В одном из черновых набросков Брюсова есть след. строфа:

Опять—один, опять ступаю  
В горах заброшенной тропой  
И вижу неба ширь да стаю  
Орлов высоко над собой.

Что касается до «орлиных стай», то у Брема («Птицы», т. I) находим по этому поводу сведение о том, что орлы во время перелета собираются в стаи. Упомянем еще, что в одном из стих. А. К. Толстого встречается строка: «В небе крик орлиных стай» (Собр. стих. П. 1902, стр. 243).

Н. Ашукин.

# Преступление Сухово-Кобылина

ЛЕОНИД ГРОССМАН

(Окончание <sup>1</sup>)

## 10. Обвинительные заключения

**Т**огдашнее судопроизводство не знало прокуроров и защитников. Но обстоятельства дела, проходившего ряд инстанций, суммировались и обобщались. Некоторые документы процесса имеют для нас такое значение синтетических оценок следствия и общих характеристик главных героев процесса. Таковы, напр., заключение управляющего министерством юстиции, представившего тонкий анализ всех обстоятельств первоначального следствия, или же мнения некоторых сенаторов, выступивших с обстоятельными критическими заключениями о всем ходе судебного дела.

Когда, при первом слушании дела в сенате (18 и 22 декабря 1852 г.), три «особы» предлагали утвердить решение уголовной палаты—т.-е. освободить Кобылина от суда и следствия, признав виновными в убийстве крепостных его,—один сенатор И. Н. Хотяинцев остался при особом мнении. В чрезвычайно обстоятельной записке, подвергнув анализу все обстоятельства дела, он указывал на вполне вероятную виновность Сухово-Кобылина и полную непричастность к убийству его крепостных.

Опытный и беспристрастный юрист высказал ряд весьма дельных соображений. Он признал невозможным, чтоб девушки Деманш «заялись столь тщательным убранством убитой, в каком она была найдена в поле,—убранством, требовавшим много времени, тогда как убийство совершено пред рассветом; мало этого, они в уши вдели серьги, а на руки кольца, супиры, перстни, брошку и булавки и все это для того, как показал Егоров, чтоб полагали, что Деманш убита и ограблена извозчиком; как же это сообразить—заставить думать, что ограбил извозчик, и надевать на мертвую вещи, тогда как для внушения этой мысли требовалось оные снять, если бы до убийства на ней и находились». Сенатор заключает, что факт нахождения драгоценностей на трупе

---

<sup>1</sup>) См. № 11 «Нового Мира».

вполне подтверждает основное показание двух женщин, что Деманш вышла вечером в том платье и убранстве, в каком была в гостях, и более домой не возвращалась. Далее он считает невероятным, чтоб глубокие и «огромные раны» на шее были нанесены перочинным ножиком. «Всего же менее можно принять за вероятное показание преступников, что убийство совершено было в доме гр. Гудовича, где не было бы возможности скрыть следов крови и в особенности перед Сухово-Кобылиным, который, как значится в деле, часу в 9-м утра 8 числа, то-есть часа через три по совершении убийства, приходил в квартиру отыскивать следы пропавшей Деманш и продолжал поиски с таким усердием, с такою тоскливостью и нетерпением, что в течение этого дня и ночи приезжал в квартиру раз шесть и оставался там по несколько часов один и вместе с зятем Петрово-Соловово, однако обоими ничего сомнительного не замечено»...

Несмотря на эти неопровержимые и убедительные соображения, обер-прокурор в своем заключении предлагал Сухово-Кобылина от следствия и суда освободить, а крепостных его наказать плетьюми и сослать в каторгу. Но, «по выслушании сего предложения», только двое сенаторов с ним согласились, двое же других остались при «данных ими мнениях». Вследствие этого дело было перенесено в общее собрание моск. департаментов сената. Но, в виду того, что здесь голоса сенаторов разделились, все производство было представлено в министерство юстиции. Отсюда последовало обстоятельное заключение генерала-прокурора, т.-е. самого министра юстиции, В. Н. Панина, заслушанное в сенате 2 октября 1853 года.

Это было подробное, беспристрастное и энергичное рассмотрение всех обстоятельств дела, решительно обнажавшее всю сложную систему заматания следов, обеления виновных и очернения невинных. По первому вопросу о виновности крепостных министр юстиции заключал, что, «при явной неполноте и очевидных недостатках следствия, признание крепостных Сухово-Кобылина (в совершенном ими убийстве) не удовлетворяет требованию закона, а при разноречии на каждом шагу представляется весьма сомнительным и даже неправдоподобным», министр категорически указывал на невозможность строить обвинения на таких шатких основаниях и в частности «осуждать безграмотных женщин к тяжкому наказанию по показаниям, никем из них незарукоприкладствованным»<sup>1)</sup>. Столь же неосновательным представляется министру указание Сухово-Кобылина, что убийство Деманш совершено с целью воспользоваться ее имуществом. Драгоценности, оставленные на теле Деманш, а также найденные на ее квартире бриллиантовые и серебряные вещи, билеты сохранной казны на 800 руб. сер. и другое имущество решительно опровергают предположение об убийстве с целью грабежа.

По вопросу о месте убийства министр решительно опровергает версию о совершении преступления в доме гр. Гудовича. Ведь «из меди-

<sup>1)</sup> Т.-е. непризнанным их подписью или подписями доверенных лиц, стряпчих, депутатов и проч.

цинского осмотра оказывается, что Деманш, имея от роду 35 лет, была телосложения крепкого и здорового; следовательно, не могла не бороться с убийцами и не кричать при нападении на нее, спавшую. Жившие в одном с Деманш флигеле дома графа Гудовича, князь Радзивилл, его люди и дворник утверждают, однако же, положительно, что в квартире Деманш ночью на 8 число ноября крику, визгу и никакого шуму не слышали, а дворник видел ночью огонь в ее квартире и тогда говорили, что ее ожидают домой... Из расположения квартир во флигеле «заключить должно, что всякий крик, не только вопль отчаяния был бы и в ночь на 8 число (как неоднократно раньше) услышан или самим князем Радзивиллом или его людьми, если бы убийство было совершено действительно в квартире Деманш». Незаметно вывезти тело было еще затруднительнее: «из дела видно, что лошадь Деманш стояла в одной конюшне с лошадьми князя Радзивилла... Никто, однако же, равно и дворник, не видал, как Козьмин выводил из конюшни лошадь, запрягал в сани, как вынесли тело убитой, изложили оное в сани, отворили ворота и выехали; не видели даже и того, когда Козьмин на лошади возвратился домой, распрягал лошадь и убирал сани», что «было уже утром часу в 6-м», когда «все рабочие люди, и в особенности дворники, не спят».

Далее записка министра устанавливала непримиримые противоречия и явные несообразности в рассказах Егорова и Козьмина о совершении ими убийства. Не могло быть никакой цели «резать шею мертвой женщине. По осмотру тела оказалось, что горло около перереза завернуто волосами распущенной косы, что могло служить для одного лишь удержания стремительного течения крови; принятие подобной меры в поле в овраге было бы излишним и даже опасным для убийцы, которому надлежало торопиться уехать и не оставить на себе кровавых следов преступления. Если бы шея была перерезана на месте отыскания тела в овраге, то кровь истекла бы в более значительном количестве не на платье, а на снег, особенно, когда тело найдено лежащим вниз лицом; но по осмотру оказалось, что под самым перерезанным горлом имеется на снегу кровь в небольшом количестве, между тем как манишка, сорочка и платье в верхнем конце спереди догольно много окровавлены и залиты кровью, юбка и шапочка также запятнаны кровью». Все это давало основание автору записки категорически утверждать, «что Деманш зарезана не в поле и не в ее квартире».

Обращаясь к Сухово-Кобылину, министр юстиции отмечал ряд серьезнейших и словно намеренных упущений следствия в отношении этого лица. Об'яснения им происхождения кровавых пятен в его флигеле явно неудовлетворительны, но следователи не нашли нужным установить более точно причины этого важнейшего факта; ими не установлена дата письма Сухово-Кобылина к Деманш, в котором он угрожает «пронзить кастильским кинжалом неблагодарную и клятвопреступную женщину»; не переведены и не изучены прочие письма Кобылина к Деманш, из которых видно, «что между ними в последнее время был почти совершенный разрыв»; не разыскана последняя записка Деманш к Ко-

былину, писанная за несколько часов до ее убийства, и на которую ответа она не получила. Сбивчивы и уклончивы все показания слуг Сухово-Кобылина о его времяпрепровождении 7 ноября вечером. Не установлено, был ли Сухово-Кобылин 7 после 8 час. у Нарышкиных и вообще был ли у них в то время званый вечер. Не обратили следователи внимания и на подозрительное поведение Кобылина в день после убийства (здесь министр отчасти повторяет аргументацию сенатора Хотяинцева):

«Из дела видно, что Сухово-Кобылин, бывший по собственному его показанию у Деманш днем 7 ноября, приходил и на другой день 8 числа часу в 9-м утра, т.-е. часа через три по совершении убийства в квартиру отыскивать следы пропавшей Деманш и продолжал поиски с таким усердием и нетерпением, что в течение этого дня и ночи приезжал в квартиру раз шесть и оставался там по несколько часов один и с зятем Солововым. Он, по словам камердинера Лукьянова, возвратясь 8 ноября в свою квартиру часов в 10 веч., был в смущенном виде и говорил: «Верно, Деманш убита». Между тем, как видно из показаний дворовых людей, Аграфены Кашкиной и кучера Игнатия Макарова, Сухово-Кобылин не показывал прежде никакой тревоги об отлучке Деманш, уезжавшей на два и на три дня; но следователи не обратили на сие обстоятельство никакого внимания».

Эта обстоятельная записка, возвращаясь в заключении к крепостным, указывала, что, «опасаясь произнести решительный приговор к тяжкому наказанию над лицами, в виновности которых законного убеждения, по его мнению, не представляется, он, управляющий министерством юстиции, признает ныне невозможным разрешить настоящее дело по существу и полагал бы подвергнуть сие дело *строгому переследованию по всем обстоятельствам*»...

Это заключение управляющего министерством юстиции было утверждено в общем собрании государственного совета 17 декабря 1853 г., и затем «удостоено высочайшего утверждения» 11 января 1854 г. Новая следственная комиссия приступила к производству 27 февраля. Ее энергичная и весьма рациональная деятельность выяснила ряд темных вопросов, установила многие важнейшие факты, умышленно затушеванные прежним следствием, и почти непрерываемо перенесла обвинительные тенденции с крепостных людей на самого Сухово-Кобылина.

## 11. Общественная версия

Необходимо отметить, что приведенные мнения министра юстиции и одного из сенаторов вполне соответствовали впечатлению, создавшемуся в московском обществе.

На вопросы следователей поверенный Шепелева (дяди Сухово-Кобылина) отвечал, что причины убийства Деманш ему неизвестны, но вся Москва говорила, что убийство совершено Сухово-Кобылиным; однажды, когда он сидел у ворот дома Сухово-Кобылина, проходившие два студента сказали: «Вот дом убийцы».

Уже 20 ноября 1850 г. А. И. Васильчикова писала в Тверь своей дочери А. А. Барановой: «Все в городе заняты уголовным делом, в котором замешан г-н Кобылин, очень умный и, казалось, очень достойный человек. Эти дела не делают чести Москве». В таком же духе сообщал об этом происшествии Л. Н. Толстой в неизданных его письмах к тетке.

В записи, хранящейся в Пушкинском Доме, Е. М. Феокистов сообщает, что по Москве ходили две версии об убийстве: одна соответствовала той стадии следствия, которая отразила сознание крепостных в убийстве; но, по свидетельству Феокистова, это мнение разделялось не всеми, многие утверждали, что убийца был Кобылин, и дело, по словам их, происходило таким образом: «Дом свой на Страстном бульваре отдал он в распоряжение своей сестры, г-жи Петрово-Соловово, приезжавшей на зимние месяцы в Москву, а сам поместился во дворе того же дома, во флигеле, куда и приезжала к нему по вечерам m-me Нарышкина. Однажды m-me Симон (она жила на углу Тверской и какого-то, кажется, Газетного переулка), давно уже следившая за соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному, с проклятиями и ругательствами набросилась она на них, и Кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника или чего-то другого уложил ее наповал. Затем склонил он прислугу деньгами вывезти ее за город. *Для всякого, кто имел понятие о необузданной натуре Кобылина, не представлялось в этом ничего необычайного*».

Если принять во внимание, что Феокистов весьма близко и длительно знал Кобылина, последние слова приобретут особенный вес и убедительность.

Напомним, что будущий начальник управления по делам печати состоял в начале 50-х г.г. домашним учителем у детей гр. Салиас. Ему пришлось принять весьма деятельное участие в организации похорон Симон-Деманш. По просьбе сестер Сухово-Кобылина и Нарышкиной— он трижды был у католического пастора, которому, между прочим, десятого ноября, т.-е. на другой же день по обнаружении трупа, привез записку Нарышкиной с просьбой не допускать Сухово-Кобылина к телу Деманш, если бы тот приехал в костел. На эту записку следователи не обратили никакого внимания и Нарышкину, вообще, почти не допрашивали, несмотря на постоянное упоминание ее имени в главных показаниях. Между тем, очевидно, что подобная письменная просьба раскрывала богатейшую психологическую картину, уходящую всеми своими корнями в только что пережитую трагедию <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Следует предположить, судя по практике тогдашних подкупов, что богачи Нарышкины сумели этим путем добиться самого незначительного участия в следствии самой Нарышкиной. Отметим, что эта участница дела, которая при иной системе следствия рисковала бы быть привлеченной не только, как свидетельница, но и в качестве обвиняемой, поторопилась в самом начале этого дела навсегда уехать за границу: уже через месяц после возникновения следствия—9 декабря 1850 года «губернской секретарше Надежде Ивановне Нарышкиной»—было выдано «свидетельство на выезд за границу, куда она и отправилась».

Феоктистов дополнял свои соображения описанием поведения Сухово-Кобылина в критические ноябрьские дни 1850 года.

«...Но при этом возникает предо мной его фигура в те дни, когда было обнаружено преступление. Нельзя представить себе, какое странное отчаяние овладело им при известии о насильственной смерти женщины, которая в течение многих лет питала к нему безграничную преданность. Этот суровый человек рыдал, как ребенок, непрерывно повторялись у него истерические припадки, он говорил только о ней, и с таким выражением горя и любви, что невозможно было заподозрить его искренность. Неужели все это была только комедия, которую он с утра до ночи разыгрывал перед матерью и сестрами? И затем, когда его требовали к допросу, когда прямо высказали ему, что считают его убийцей, он отнесся к этому с негодованием и яростью, едва ли свойственными преступнику? Но если даже и заподозрить его в притворстве, хотя самый лучший актер не сумел бы с таким искусством в течение столь продолжительного времени разыгрывать роль, что сказать о Нарышкиной? С того дня, как огласилось убийство, она почти не покидала Кобылина, находилась в обществе его родных и ни единым словом, ни единым мускулом своего лица не обнаружила, что была сколько-нибудь знакома с этим делом. Неужели и она могла с таким поразительным самообладанием носить личину?».

Это ценное описание ближайшего очевидца, сообщающего здесь факты и обстоятельства, нигде не зафиксированные, представляет крупнейший интерес. Лишь выводы мемуариста сомнительны; ни отчаяние Сухово-Кобылина, ни самообладание опытной светской «львицы» Нарышкиной—не могут, конечно, служить опровержением известной версии. Как бы ни был суров будущий драматург, все же разразившаяся над ним катастрофа не могла не ввергнуть его в глубочайшее отчаяние; помимо позора и грозного возмездия, ожидавшего его, Сухово-Кобылин не мог не быть искренне потрясенным кровавым эпилогом своего романа, неожиданно раскрывшим в родовитом, культурнейшем дворянине, считавшем себя джентльменом и рыцарем, инстинкт и нравы темных подонков. Гибель Луизы Деманш, если только правильна была версия обвинителей Сухово-Кобылина, не могла не вызвать в нем сильнейшего внутреннего потрясения. Горе его в эти черные дни его биографии было искренним и рыдать истерически ему было о чем.

Родные и близкие позаботились, чтоб Сухово-Кобылин не видел тела убитой Деманш, боясь, повидимому, какого-то непоправимого эксцесса. Мы знаем, что труп был почему-то пред'явлен не ему, столь энергично предпринявшему поиски, а его крепостным. Даже в церковь к открытому гробу он не был допущен. Сухово-Кобылин только присутствовал на самых похоронах в воскресенье, 12 ноября.

Мы увидим ниже, что версия Феоктистова об убийстве Симон-Деманш Сухово-Кобылиным сохранилась в семейных преданиях его рода и однажды даже всплыла на поверхность печати.

## 12. Три характеристики

Сделаем здесь небольшое отступление. Отметим, что в маленьком флигеле на Страстном [бульваре столкнулись [вечером 7 ноября три совершенно необычных человеческих натуры, трагически связанные запутанным узлом ненависти, вражды и неукротимых страстей.

Чертами пылкости, заносчивости и жестокости отличался прежде всего сам Сухово-Кобылин. От предков своей матери, от Баташевых и Шепелевых, он унаследовал властную и буйную натуру грозных крепостников XVIII века. Необузданность диких характеров представитель этой фамилии нередко доводила их до зверской лютой или до утонченной жестокости. Дед Сухово-Кобылина по матери, Иван Дмитриевич Шепелев, прозванный «Нероном Ардатовского уезда», приказал умертвить своего капельмейстера, перехватив к нему записку одной из своих крепостных актрис. Это еще далеко не наиболее утонченный пример поистине дьявольской свирепости, обогатившей потрясающими эпизодами историю этой дворянской родословной.

От своей матери, рожденной Шепелевой, будущий драматург унаследовал черты патологически разнузданных и глубоко преступных характеров ее предков. Сама Мария Ивановна, об'езжавшая в молодости лошадей и ходившая с ружьем на охоту, отличалась крепостническим нравом и порывами буйных страстей. Увлеченная знаменитым Надеждиным, который в 30-х годах жил у Сухово-Кобылиных и имел вполне невинный роман с их старшей дочерью Елизаветой (впоследствии Евгенией Тур), она в минуту гнева бросает ему в лицо: «Вам пустят пулю в лоб». Александр Сухово-Кобылин, в то время семнадцатилетний юноша, с исключительной жестокостью отнесся к увлечению сестры разночинцем. — «Если бы у меня дочь вздумала выйти за неравного себе человека, — говорил он, — я бы убил ее или заставил умереть *взаперти*». Эти слова оттолкнули от него Константина Аксакова, его университетского товарища. По словам С. Т. Аксакова, молодой Сухово-Кобылин был весь «напитан лютейшей аристократией»... Жестокость его натуры развернулась впоследствии, когда он безжалостно «бывал из своих рук крепостных», награждал их пощечинами и даже однажды, незадолго до своего процесса, так тяжело избил немолодую уже служанку Деманш, Пелагею Алексееву, что несчастная женщина потеряла сознание от побоев.

О Нарышкиной у нас немного сведений. Вспомним все же свидетельство Феоктистова: «Она приковывала, главным образом, какую-то своеобразной грацией, остроумной болтовней и тою самоуверенностью и даже отвагою, которая свойственна так называемым «львицам». Н. И. Нарышкина страстно влюбилась в Кобылина»...

Есть основание предполагать, что эта женщина не была чужда тщеславию. Уехав через месяц после убийства Симон в Париж, Нарышкина сошлась с братом Наполеона III, герцогом Морни, бывшим одно время послом в Петербурге. Этот виднейший государственный деятель второй империи был отчасти и драматургом. Первые чтения

его водевилей происходили, по словам его биографа, в интимной обстановке, при закрытых дверях, у г-жи Нарышкиной, рожденной баронессы Кноринг.

«Во время чтения герцог просил отзывов об отдельных диалогах и сценах у этой знатной русской дамы, отличавшейся оригинальными привычками, вечно оживленной, превратившей ночь в день, проводившей время за книгой, курением или беседой, в полном согласии со своим веселым характером, возбужденным и шаловливым умом».

Нарышкина, по словам биографа Морни, была начитанной, образованной, красивой женщиной с замечательными «ручками и ножками ребенка», весьма ценившей людей и дела театра. Ибо после ее сотрудничества с водевилистом Морни она вышла замуж за одного из первых мастеров французской сцены — Александра Дюма-сына. Французскому биографу осталось неизвестным, что в ряду поклонников Нарышкиной находился также один из первых мастеров русского театра.

Такова была одна из героинь «дела». Она отличалась, видимо, особенными изломами характера, которые одно время определялись у нас терминами «демоничности» или «инферральности». Желание мучительно ранить соперницу было ей, видимо, весьма свойственно.

Нет основания не доверять в основном рассказу Сухово-Кобылина, переданному нам Дорошевичем. Здесь имеется и такой эпизод.

«Сухово-Кобылин безуспешно ухаживал в эту зиму за одной московской аристократкой.

В один из вечеров у этой аристократки был бал, на котором присутствовал Сухово-Кобылин.

Проходя мимо окна, хозяйка дома увидела при свете костров, которые горели по тогдашнему обыкновению для кучеров, на противоположном тротуаре кутающуюся в богатую шубу женщину, пристально смотревшую в окна.

Дама monde'a узнала в ней Симон-Деманш, сплетни о безумной ревности которой ходили тогда по Москве.

Ей пришла в голову женская злая мысль.

Она подозвала Сухово-Кобылина, сказала, что ушла сюда в нишу окна, потому что ей жарко, отворила огромную форточку окна и поцеловала ничего не подозревавшего ухаживателя на глазах у несчастной Симон-Деманш.

В тот вечер, вернувшись, Сухово-Кобылин не нашел Симон-Деманш дома...».

Можно не доверять здесь, в виду противоположаний других материалов, заявлению о безуспешном ухаживании Сухово-Кобылина за московской аристократкой; мы не допускаем, чтобы Луиза Симон исчезла в самый вечер рассказанного эпизода. Но в подлинности его сомневаться не приходится—Сухово-Кобылину нечего было измышлять через 50 лет эту сцену. Она подтверждается отчасти и следственными материалами.

Мы видели, что, по словам кучера Деманш, он часто ездил с ней по вечерам «и все кружились с нею около дома Нарышкиной; при этом

Деманш высматривала, не у Нарышкиной ли Сухово-Кобылин и где сидит он там»...

Наконец, горячностью, порывистой пылкостью и даже жестокостью отличалась и Симон-Деманш. Как ни грустна ее судьба и ни пленителен ее внешний облик, необходимо и на нем отметить теневые стороны. В деле сохранились весьма красноречивые указания на вспыльчивый, строптивый и даже жестокий нрав Деманш. «Со своими людьми она обращалась очень строго, за всякую безделицу взыскивала и даже бивала из своих рук весьма больно».

Обратим внимание на этот старинный оборот. Он выразительно живописует барские нравы эпохи. Помещик мог просто послать крепостного на конюшню для соответственной экзекуции. Но нередко вспыльчивые российские самодуры не отказывали себе в непосредственном удовольствии «бить из своих рук». Это право широко присвоила себе и иностранка Деманш и даже подчас настолько злоупотребляла им, что однажды жалоба на нее возшла к самому военному генерал-губернатору Москвы.

Из наряженного дознания обнаружилось, что в январе 1850 г. Симон-Деманш нанесла жестокие побои половой щеткою своей прислуге, Настасье Никифоровой. Лекарский осмотр «дворовой девки» обнаружил на ней опухоли, царапины и синяки таких размеров и в таком количестве, что по распоряжению генерал-губернатора с Деманш была взята подписка обращаться впредь с людьми «как следует». Сама французенка нашла нужным при этом вознаградить избитую девушку 10 руб. серебром (по тем временам довольно значительною суммой).

Вот какие характеры столкнулись во флигеле на Страстном бульваре 7 ноября 1850 года. Можно представить себе силу происшедшего отсюда психологического взрыва.

Приведем из «Русского Архива» 1910 г. следующие справки, проливающие обильный свет на тайну нашего дела.

В майской книжке «Русской Старины» г. А. М. Рембелинский, ближайший сосед А. В. Сухово-Кобылина по имению в Чернском уезде, Тульской губернии, рассказывает слышанное им от бывшего начальника управления по делам печати Е. М. Феоктистова, именно: «Сухово-Кобылин охладел к французенке и заменил ее новым предметом страсти <sup>1)</sup>. Французенка была крайне ревнива. 7 ноября 1850 года вечером она, придя на квартиру Сухово-Кобылина, застала там госпожу Н. Между двумя соперницами произошла бурная сцена, пылкая французенка оскорбила Н. действием, ударив ее по лицу. Не менее пылкий Сухово-Кобылин, вне себя, схватил первый попавшийся ему под руку тяжелый канделябр с камина, пустил им во французенку, попал ей прямо в висок и убил ее наповал. Тогда что делать? Он, якобы, призывает своих крепостных людей и, подкупив их деньгами и обещанием выдать вольные, убеждает их вывезти труп за заставу и принять вину на себя, обещая сверх всего свое покровительство и заступничество перед судом». Феокти-

<sup>1)</sup> Нарышкиной.

стов был прикосновенен к делу Сухово-Кобылина. По г. А. М. Рембеллинскому, это «маловероятная версия» и вздорная болтовня. Что делать? А мы, опираясь на свидетельство родственного А. В. Сухово-Кобылину и по сей час здравствующего лица, верим, что наш известный писатель действительно был убийцей француженки Симон. И не одна только эта родственница знает про «драму в жизни писателя»: эта драма не тайна и для многих других сухово-кобылинских родственников, но им ли поднимать завесу над печальной былью, почти поросшей травой забвения?

«Убийство Симон совершено, как мы слышали, в «состоянии запальчивости и раздражения, без заранее обдуманного намерения». Это, конечно, весьма смягчает вину, но не уничтожает были. Перед отправлением на бал, в квартире А. В. Сухово-Кобылина, у него произошло крупное об'яснение с ревнивой француженкой. Слово за слово, и Сухово-Кобылин, не владея собою, с такой силой толкнул Симон, что она ударила голову о камин и мертвою упала на пол. Будущий писатель-сатирик мгновенно пришел в себя и почувствовал весь ужас только что содеянного. Тут на помощь злополучному барину явился любивший его и рабски ему преданный повар Ефим Егоров, который принял вину на себя. Он был за это щедро награжден. Уж он готов был к путешествию «по Владимирке», и не один, а с «соучастниками», но правда восторжествовала: невинные не пострадали... Касательно того, что у убитой Симон «зияла рана на горле» и т. д., не постарались ли для барина крепостные? В награду обещано более 10 тысяч»<sup>1)</sup>.

Версия Феоктистова о встрече трех героев романической истории вечером 7 ноября в сухово-кобылинском флигеле и о происшедшей здесь бурной сцене с дикими и жестокими вспышками представляется наиболее вероятной.

### 13. Чрезвычайная следственная комиссия

27 февраля 1854 года началось новое дополнительное следствие или, по старинному термину, *переследование*. В этот день комиссия, «учрежденная по высочайшему повелению», допросила арестованных крепостных: Козьмина, Егорова и Кашкину. Все трое (Пелагея Алексеева уже успела скончаться в заключении 16 августа 1853 года) подтвердили в полной мере свои первоначальные показания, настаивая на своей непричастности к убийству. Кашкина категорически утверждала, что никаких показаний об участии в убийстве она никогда не давала.

Козьмин также решительно заявил, что показание его об убийстве Деманш утюгом написано было под диктовку пристава Хотинского и по склонению его разными обольщениями, в том числе и собственноручным письмом его господина<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Павел Россиев. «Сух.-Коб. и француженка Симон». «Р. Арх.» 1910, VI, 316—319.

<sup>2)</sup> Едва ли, конечно, Сухово-Кобылин писал своим крепостным письма на эту тему. Но более чем вероятно, что пристав Хотинский и Стерлигов, зная обычное, беспрекословное подчинение крепостных воле барина, пустили в ход и этот прием воздействия на них.

Аналогичное показание дал и Егоров, заявивший дополнительно по вопросу о кровавых пятнах во флигеле на Страстном бульваре, что «на заднем крыльце никакой дичи он никогда не резал».

Новое важное обстоятельство было согласно установлено крепостными и подтверждено дальнейшим следствием. Оказывается, уже 8 ноября вечером, т.-е. за сутки до обнаружения трупа, Сухово-Кобылин приказал своим крепостным—столяру Савину Карпову, дворнику Пахомову, камердинеру Лукьянову и Галактиону Козьмину—заложить ломовую лошадь в простые сани, взять с собой стамеску, клещи, отвертку и молоток и доставить к нему на квартиру комод, шкаф и кровать Деманш. На квартире француженки люди уже застали частного пристава, которым и были задержаны. Таким образом, в первый же день своих тревожных розысков Сухово-Кобылин предпринял такой энергичный шаг, как перевозку к себе громоздкой мебели исчезнувшей женщины (в шкафу и комодке хранились его письма к погибшей).

На допросе следственной комиссии Сухово-Кобылин настаивал на убийстве Деманш его дворовыми людьми с целью воспользоваться ее имуществом и утверждал, что в продолжение следствия он не мог иметь, и не имел никаких сношений ни с частными приставами, ни с самими преступниками. По всем прочим обстоятельствам дела (кровавые пятна, вечер 7 ноября у Нарышкиных и проч.) он подтвердил свои прежние показания, заметив в заключение, что «ревности к Нарышкиной Луиза Деманш не из'являла».

Между тем раскрывались новые обстоятельства, говорившие явно против Кобылина. Повторное следствие обнаружило, что в 1851 году Сухово-Кобылин перестроил черные сени и парадное крыльцо флигеля, в котором в ноябре 1850 года были обнаружены кровавые пятна.

Показаниями смотрителя дома графа Гудовича, часовых, будочников на Овражках (т.-е. у скрещения Брюсовского и Чернышевского переулков) было установлено, что «в ночь с 7-го на 8-е никто из подозрительных лиц не проезжал и во флигеле дома Гудовича все было совершенно спокойно». Наконец, тщательный осмотр дома и местности совершенно опроверг гипотезу об убийстве Деманш на ее квартире.

Наконец, осмотр комиссией платья Деманш, которое было сильно залито кровью по направлению сверху вниз, доказал: «что перерез горла Деманш совершился тогда еще, когда она была жива», при чем в этот момент «Деманш находилась вовсе не в том лежащем положении, как об'яснил Егоров»; поэтому, «судя по обагрению крови платья», предшествовавшему вывозу Деманш из места убийства, *следует безошибочно заключить, что местом убийства Деманш не могла быть занимаемая ею во флигеле графа Гудовича квартира, в которой никаких кровавых знаков решительно не было найдено*.

Вот почему уже 30 апреля некоторые члены комиссии признали, что «обнаруженные уже факты, ниспровергающие первоначальное следствие об убийстве Деманш в квартире ее, не могут, судя по ходу дела, измениться дальнейшим следствием». Петербургские следователи предла-

гали подвергнуть Сухово-Кобылина содержанию под стражею до окончания следствия.

Необходимо отметить, что комиссия, действовавшая вообще весьма планомерно и рационально, с должным вниманием отнеслась и к двум важнейшим обстоятельствам первоначального следствия: кровавым пятнам в квартире Кобылина и к заявлению о его пребывании 7 ноября на вечере у Нарышкиных.

По обоим пунктам факты свидетельствовали против Кобылина. Его ссылка на больных родственниц, живших до него во флигеле, отпала. Тетка его, Жукова, показала, «что болезнь ее дочери состояла в расстройстве нервов и желудка, при чем пользовалась она внутренним лекарством».

Прислуга Жуковой подтвердила, что «хотя барышня была больна, но ей никаких кровопусканий не делали».

Еще решительнее обнаружилась шаткость знаменитого *alibi* 7 ноября. Комиссия допросила, наконец, ряд лиц, которые, по указанию Сухово-Кобылина, были на вечере у Нарышкиных. Результаты получились для него мало благоприятные. Некоторые из опрошенных (Ермолов, поручик Шеншин) отказались подтвердить ссылку на них Сухово-Кобылина. Два-три лица дали весьма неопределенные справки. Так, некая Бахметьева показала, что она видела Сухово-Кобылина у Нарышкиных «накануне того дня, когда по Москве пронесся слух о смерти француженки Симон». Слух этот мог пронестись не раньше 10 числа, так что и это показание ни в коей мере не могло относиться к 7 ноября.

Другой допрошенный, статский советник Бутовский, показал, что у Нарышкиных был вечер в ноябре 1850 года, *числа он не упомнит*—на этом вечере был Сухово-Кобылин. При отсутствии указания на число и это свидетельство теряло всякое значение.

У нас имеется и косвенное свидетельство о том, в каких условиях приходилось многим из опрошенных давать свои показания. Как раз о приведенном ответе Бутовского рассказывает в своих воспоминаниях П. Д. Боборыкин, интересовавшийся делом об убийстве Симон-Деманш.

«...А. И. Бутовский (тогда директор департамента мануфактур и торговли) рассказал мне раз, как он был прикосновенен в Москве к этому делу.

Он служил тогда председателем коммерческого совета в Москве и попал как раз на тот вечер у г-жи Н., когда в квартире С.-К. была убита француженка, его любовница <sup>1)</sup>).

От Бутовского обвиненный хотел иметь на следствии показание, что он видел его еще на вечере, когда сам уезжал домой.

Такого показания Бутовский не мог дать потому, что не хотел утверждать этого положительно, а для обвиненного это нужно было, чтобы доказать свое *alibi*».

Только одна опрошенная Теплова показала, что видела Сухово-Кобылина у Нарышкиных вечером 7 ноября. Тем не менее Сухово-

---

<sup>1)</sup> Любопытно, что близкий к Нарышкиным Бутовский не сомневался, что любовница Сухово-Кобылина была убита в его квартире.

Кобылин в дальнейших своих бумагах настаивал, что Шеншин, Бутовский и другие «за присягою показали, что в ночь совершения преступления с 7 на 8 ноября 1850 года он был с ними на вечере у Нарышкиных». И любопытнее всего, что судебные инстанции приняли это толкование.

Пересмотр всех показаний по этому вопросу не оставляет сомнений в том, что вечер 7 ноября 1850 года Сухово-Кобылин провел безотлучно дома, как показали в ближайшие же дни его дворники, кучер и повар. Попытки установить *alibi* следует признать неудавшимися, хотя суд ими впоследствии и воспользовался.

Но следственная комиссия оказалась все же на высоте беспристрастия. На ходатайство матери Сухово-Кобылина об освобождении сына в мае 1854 г. комиссия указала, что еще 20 апреля она признала себя обязанною подвергнуть Кобылина аресту до окончания следствия; при последующем производстве... обнаружены еще другие улики и доказательства *против него*, что вполне исключает возможность его освобождения.

#### 14. Завершение процесса

Мы переходим к последней стадии процесса.

Комиссия по расследованию, как мы видели, действовала энергично и собрала ряд новых ценных материалов. Дополненное таким образом дело об убийстве Деманш было представлено следственной комиссией в министерство юстиции и 15 сентября 1854 года доложено правительственному сенату, который препроводил его московскому генерал-губернатору для нового пересмотра в суде первой инстанции.

Процесс снова попадает в московскую обстановку, в атмосферу домашних интимных воздействий на суд через клубы и салоны. Неудивительно, что явные признаки новых закулисных влияний сказываются на дальнейшем ходе дела.

Уже 2 ноября 1854 года московский надворный суд постановляет освободить Сухово-Кобылина и Лукьянова от стражи, отдав их на поручительство полковнице Сухово-Кобылиной. За полгода перед тем, как мы знаем, следственная комиссия в этом категорически отказала просительнице. Еще разительнее, после произведенного расследования, новый приговор, вполне воспроизводящий первоначальные решения судебных инстанций. Впрочем, необходимого единогласия снова никак нельзя было получить.

В феврале 1855 года, в виду разногласия «по произведении диспута», был приглашен заседатель другого департамента, голос которого решил дело в смысле полного оправдания Сухово-Кобылина и присуждения крепостных к каторжным работам: Егорова бессрочно, Кузьмина к 20-ти годам, Кашкину к 22-м годам и шести месяцам. Все трое должны были подвергнуться наказанию плетью в Москве через палачей (от 80—до 100 ударов), а мужчины и наложению клейм.

Московская палата уголовного суда, приняв в основном это решение, лишь незначительно уменьшила сроки каторжных работ и число

плетей. К этому моменту изменил свой взгляд на дело и сам Закревский. Военный генерал-губернатор рапортом от 30 июня 1855 г. признал решение уголовной палаты правильным и представил дело в правительствующий сенат.

Но сенат, не соглашаясь снова с приговорами низших инстанций, заключал, что «сознательные показания Егорова, Козьмина, Капкиной и Алексеевой об убийстве ими Деманш столь неправдоподобны, что не могут служить основанием к осуждению их, как убийц». Многие же обстоятельства дела «навлекают на Сухово-Кобылина подозрение если не в самом убийстве Деманш, то в принятии в оном более или менее непосредственного участия, как также в том, что он, воспользовавшись влиянием, которое имел, как помещик, на своих крепостных людей, склонил их разными обещаниями принять на себя учиненное преступление». В виду таких соображений сенат в своем определении постановлял: *«оставить Сухово-Кобылина в подозрении по участию в убийстве Деманш, Капкину освободить от всякой ответственности, Егорова же и Козьмина, неприкосновенных к убийству, но давших ложные показания, отвлекшие внимание следователей от настоящих следов преступления, лишить всех прав состояния и сослать на поселение в отдаленные места Сибири.* В заключение сенат признавал вероятным обвинение Сухово-Кобылина крепостными в подговоре их к принятию на себя убийства через частных приставов Стерлигова и Хотинского.

Таким образом, несмотря на сомнительную санкцию, теоретически сенат решал дело совершенно правильно: крепостные в убийстве не повинны, все подозрения, как в убийстве, так и в подговоре крепостных к ложным показаниям, остаются на Сухово-Кобылине.

Дело снова принимало серьезный оборот. Семейство Сухово-Кобылиных предпринимает ряд новых энергичнейших шагов к устройству нужного приговора. Вероятно, к этому моменту дела относится факт, сообщенный нам Феоктистовым: «Сестра его (Сухово-Кобылина) Софья Васильевна получила доступ к великой княгине Марье Николаевне, которая отнеслась очень сочувственно к несчастью, постигшему ее семью». Во всяком случае, весной 1856 года Сухово-Кобылин вместе со своей матерью приезжают в Петербург для непосредственных хлопот. В дело были сразу пущены все крупные связи богатой дворянской семьи, окончательно запутавшие карты суда.

Марья Ивановна Сухово-Кобылина обращается с письмом к императрице и добивается высочайшего приказа министру юстиции прекратить дело. Происходит совершенно беспримерный факт: в гостиную к обвиняемому приезжает для окончательного допроса сам министр юстиции, рассыпающийся в любезностях и обещаниях. Безграничная сила золота и сословных связей сказалась в полной мере.

Сам Сухово-Кобылин рассказал нам этот невероятный эпизод. В дневнике его сохранилась следующая запись.

*«Петербург. 1856 г. Май 12. Суббота. Утро сидели вместе с маменькой. В 12 часов доложили, что директор департамента Танильский—*

желает ее видеть. Его приняли—он об'явил, что министр юстиции желает ее видеть и будет сам по окончании заседания в государственном совете. Я бросился сказать Голицыным и остались дожидаться министра. Были оба в волнении. Условились, чтобы маменька начала говорить о деле, а я буду ей помогать и что тем самым войду в разговор. В пять часов министр приехал. Вот его слова (в оригинале по-французски):— «Сударыня, вы изволили писать ее величеству? Императрица передала мне ваше письмо вместе с приказом закончить дело,—оно будет закончено... также и с указанием, чтоб я принял во внимание подробности этого дела, они будут приняты во внимание. Имеете ли вы что-либо прибавить к этому, сударыня? Я готов вас выслушать.—Граф, вот мой сын»... Я раскланялся. Граф тоже встал и раскланялся и повторил мне те же слова. Я начал...» и т. д.

Эта сцена, записанная самим Сухово-Кобылиным,—сильное обвинение против него. Этот министр юстиции, который, стоя и с поклонами, получив определенный приказ от императрицы, выслушивает на дому у обвиняемого его сбивчивые и смущенные показания, заранее предупредив, что дело его будет прекращено—какое разоблачение сущности и характера знаменитого процесса!

В силу таких же категорических императивов свыше обер-прокурор сената, по поручению министра юстиции, предложил 21 июня 1856 г. новое компромиссное решение, которое в конечном счете и восторжествовало. Это примирительное предложение сводило сущность дела к следующему тезису: «как дворовые люди, Ефим Егоров, Галактион Козьмин и Аграфена Кашкина, не могут по правилам закона быть признаны изобличенными в убийстве Деманш, так равно нет основания оставлять в подозрении и помещика Сухово-Кобылина по предмету означенного убийства или содействия к оному, а потому господин министр юстиции полагал: *«Титулярного советника А. В. Сухово-Кобылина, а равно дворовых людей его... от всякой ответственности по вышеозначенному предмету оставить свободными».*

Это—первая формула приговора, который после ряда вариантов вскоре получил окончательную силу. При этом сенат, принимая во внимание, что дворовые люди Сухово-Кобылина «давали показания против своего помещика и тем могли возбудить к себе негодование владельца», поручал их *«особенному попечению местного предводителя, без разрешения коего не подвергать их каким-либо взысканиям или переменам в месте жительства».*

Это мнение и было положено в основу окончательного приговора государственного совета, куда на последнее решение дело и поступило из общего собрания московских департаментов правительствующего сената.

25 октября 1857 года соединенное заседание департаментов гражданских и духовных дел государственного совета 28 голосами признавало, что сознание крепостных в убийстве «явно противоречит обнаруженным при следствии фактам». В силу этого государственный совет

полагал: «Дворовых Сухово-Кобылина и Аграфену Иванову от всякой ответственности по предмету убийства Симон-Деманш оставить свободными, поручив их особенному попечению местного предводителя дворянства». Сухово-Кобылин был приговорен лишь к церковному покаянию за любовную связь.

На представленной мемории государь 3 декабря 1857 г. написал против мнения 28 членов—«и я». Это означало окончательное завершение дела.

Таким противоречивым приговором, оставляющим, при изумительном богатстве и красноречивости следственных данных, преступление нераскрытым, заканчивался этот знаменитый в свое время процесс. И если в результате разорительных подкупов, инквизиционных истязаний, царской протекции и бесчисленных других мер, предпринятых Сухово-Кобылиным и его родными в целях обвинения дворовых людей, они все же были оправданы и даже поручены *особенному попечению* предводителя дворянства, чтоб не стать жертвой «негодования владельца», если в результате всех высочайших приказов и министерских визитов обреченные на каторгу жертвы были об'явлены «от всякой ответственности по предмету убийства Симон-Деманш свободными»—не ясно ли, что высшие инстанции суда тем самым признавали убийцей Сухово-Кобылина, хотя и были лишены возможности произнести во всеуслышание свой приговор?

Так, по крайней мере, воспринял это решение главный герой процесса. Получив в Москве копию постановления, он записывает в своем дневнике: «Оказывается, что и преступники равным образом оправдываются. Вот и решение!.. Весь день я им был поражен».

И действительно, государственный совет своим молчаливым приговором ясно указывал на убийцу.

## 15. Заключение

Итак, дело, возникшее 9 ноября 1850 г., столько лет волновавшее барскую и чиновную публику обеих столиц, закончилось 3 декабря 1857 года.

За эти годы Россия пережила целую эпоху. Рухнула правительственная система страшного тридцатилетия. Показательные фигуры и деятели целой исторической полосы ушли из жизни: умерли Николай I, Гоголь, Грановский, Чаадаев, братья Киреевские; по слову современника, «в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму»—и старая Россия зашаталась. Впервые, после хвалебных патриотических од, славянофил Хомяков, как раз в момент самого разгара сухово-кобылинского процесса, произнес негодующие стихи о николаевской России, которые могли бы послужить превосходным эпиграфом к изучаемому нами делу:

В судах черна неправдой черной  
И игом рабства клеймена...

Это «иго» и эта «неправда» только и могли привести Сухово-Кобылина к оправдательному приговору.

Если бы мы основывались только на общем впечатлении современников, на молве, на преданиях, на устных версиях и сообщениях мемуаристов—в заключении нашего обзора мог бы возникнуть вопрос пушкинского художника-отравителя:

...Или это сказка  
Тупой бессмысленной толпы, и не был  
Убийцею создатель Ватикана?

Но перед нами обширный перекрестный опрос целого общества в протоколах следствия и в свидетельствах современников. Мы точно знаем, к каким безотрадным выводам приходили немногие правдивые следователи и судьи этой мрачной эпохи, как подставленный, сложно организованный и щедро купленный приговор, обеляющий преступника и осуждающий его невинных рабов, неизбежно встречал во всех инстанциях возражения, «особые мнения», протесты и, несмотря на тягчайшие обременения судейской совести подкупами снизу и распоряжениями свыше, никак не мог осуществиться в намеченном направлении и объеме. Компромисс последнего приговора сената уже явственно указывал на подлинного преступника, безусловно оправдывая и заботливо оберегая группу оговоренных крепостных. Наконец, через 50 лет после преступления, его главный участник, потративший в свое время столько сил и средств на осуждение невинных, в обстановке другой эпохи, на склоне своих дней, когда вся острота события давно миновала и, вероятно, никто из его участников уже не был в живых, сам заявил о полной невинности своих слуг.

Эти поздние свидетельства Сухово-Кобылина, решительно опровергающие многие из его следственных показаний, представляют для нас высокий интерес.

Беседовавший с Сухово-Кобылиным незадолго до его смерти С. Сухонин передал заявление старого драматурга: *«Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири... Вот она, дореформенная Русь!..»*. И далее: *«А. В. подробно рассказал мне дело об убийстве Деманш, в которое он и несколько его крепостных людей были вовлечены, о пытках, которым подвергали несчастных крепостных, дабы вырвать у них сознание в мнимом совершении ими преступления.—Накануне каторги я был...»*.

Совершенно аналогичное, но более обстоятельное показание дал Сухово-Кобылин в 1901 году и Дорошевичу.

«Следствие обнаружило, что сознание (крепостных) было вынуждено у людей в квартале пытками.

Квартальный надзиратель кормил их селедками и не давал пить, подтягивал допрашиваемых на блоках к потолку, так что у несчастных плечевые кости выходили из суставов, и требовал:

— Сознавайтесь, что убили.

Так было добыто «сознание».

— Имейте в виду,—говорил при этом «сознавшимся» квартальный надзиратель,—и следователям и судьям показывайте точно также. Измените показание, опять вас к нам пришлют, и мы вас опять так пытать будем.

Крепостные и повторяли всем от страха «оговор на себя».

Только на одно не шли эти несчастные в своей «рабьей верности»: как ни пытал их квартальный надзиратель «показать на барина», они и под пыткой твердили:—*Барин не при чем!*».

«Собственное признание есть высшее всего мира свидетельство»—невольню вспоминаются слова из «Смерти Тарелкина» при чтении этих оправдательных заявлений старика Сухово-Кобылина, вполне равносильных собственному признанию.

«Истина в пути, и ее ничто не в силах остановить!»—вспоминаются вдохновенные слова Эмиля Зола по поводу одного возмутительного осуждения невинного. История многих загадочных и темных процессов действительно показывает, что истина властно пробивается наружу сквозь самую непроницаемую толщу лжи, насилия и подлогов. В этом есть нечто глубоко утешительное для всех поколений, для всех жертв истории. Их оправдание намечено и должно наступить.

Но в этой конечной победе много грустного. Этот процесс реабилитации невинных бывает бесконечно медленным. Часто момент этого справедливого приговора наступает лишь тогда, когда заинтересованные в нем лица уже не могут его услышать. Таков и рассказанный нами случай. Восемьдесят пять лет прошло уже с того дня, как одна пленительная парижанка, словно сошедшая со страниц балзаковского романа, прибыла в узорную северную столицу. Более 75 лет миновало с того вечера, когда обнаружение закоченного тела в сугробах у Ваганьковского кладбища отметило печальный эпилог этой короткой, беспечной и трагической жизни.

Немногим короче срок, протекший с момента чудовищной социальной несправедливости—с первого судебного приговора по этому жуткому делу, осудившему четырех невинных крепостных на тяжкие и позорящие наказания, чтоб одновременно торжественно заявить о полной невинности их владельца, против которого громогласно свидетельствовали все улики следствия. Невинность Сухово-Кобылина была официально признана и окончательным приговором.

Но в архивной пыли дремлют нелюбезные свидетели минувших тайн—подлинные документы забытого дела. Несмотря на окончательный приговор высшей судебной инстанции, пересмотр неправого дела неизбежен в будущем. И, всемерно подтверждая мнение старого сената о полной невинности четырех крестьян, годами томившихся в застенках дореформенных российских тюрем, новый приговор со всей энергией произносит блестящему русскому драматургу свое непоколебимое: «да, виновен!».

«Да, виновен!» Но более даже, чем в убийстве, виновен Сухово-Кобылин в оговоре своих неповинных слуг, каторгой которых он хотел купить свою свободу. В этом его подлинное преступление. Само дело, за которое он судился свыше семи лет, имело все же свои смягчающие вину обстоятельства. В обстановке гласного суда Сухово-Кобылин мог даже легко получить оправдание: преступление, совершенное в состоянии аффекта, в придачу, вероятно, в момент защиты любимой женщины от физического оскорбления, могло бы настроить присяжных достаточно милостиво. Практика уголовных процессов в пореформенном русском суде с блистательными защитниками и культурными общественными судьями свидетельствует об обычных оправданиях подобных «преступлений по страсти». Необходимо учесть и то обстоятельство, что сознание Кобылина вовлекло бы неизбежно в судопроизводство и Н. И. Нарышкину, т.-е. опозорило бы в глазах целого общества женщину, с честью которой Сухово-Кобылин особенно считался. Узел событий, завязавшийся на Страстном бульваре вечером 7 ноября, было чрезвычайно трудно распутать и нужно принять во внимание крайне сложную психологическую проблему, возникшую в этот вечер перед Сухово-Кобылиным. До некоторой степени она смягчает его вину, но, конечно, не устраняет ее.

Каковы бы ни были осложнения и трудности создавшейся ситуации, поступок Сухово-Кобылина, решившегося сбросить свое тяжкое преступление на темных, беспомощных и подвластных ему людей, не может найти себе оправдания. Глубокий аморализм даровитого человека здесь раскрывается во весь свой рост. Как ни печален такой вывод, приходится признать, что среди знаменитых имен русской литературы значится также имя замечательного драматурга и философа, на совести которого лежала глубокая тень от совершенного им преступления.

Это об'ясняет многое в творчестве русского Бомарше. Судебное дело об убийстве Симон-Деманш—вот необходимая предпосылка к изучению жуткой драматической трилогии о Варравиных, Расплюевых и Тарелкиных. Сквозь их комические маски, гротескные образы, плутовские выходки, шутки и буффонаду неизменно и фатально просвечивает глубокое убожество, неизбывная боль и обидная нелепость человеческого существования. Эти иронические комедии-шутки не могут скрыть от нас своей трагической основы, ибо театр Сухово-Кобылина—это драмы на крови.

## Дома и за границей

1. НИК. СМИРНОВ. В гостях у случайных соседей. 2. Н. ЗАМОШКИН. Два романа о вчерашнем дне. 3. Л. ЯКОБСОН. Новый опыт построения марксистской методологии литературы. 4. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. Революционный жанр в искусстве Запада. 5. В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН. Стиль 2-го Московского Художественного театра. 6. Д. ФИБИХ. Горбатая земля.

### 1. В ГОСТЯХ У СЛУЧАЙНЫХ СОСЕДЕЙ<sup>1)</sup>

Ник. Смирнов

«Колокола» Ивана Евдокимова — пухлый, пятисот-страничный том в прекрасной обложке, украшенной черными, похожими на копыя, елочками, трудно ввести в рамки какого-либо конкретного литературного определения: это, скорее всего, хроника или художественная бытовая запись.

Семь частей, составляющих книгу, соседствуют случайно, они при незначительных коррективах, ничуть не умаляющих их достоинств, представляли бы совершенно законченные, самостоятельные произведения. Гулкая «широта» «Колоколов» обманчива, сложная конструкция романа — будем пользоваться этим термином условно — остается незаполненной разбегом единого сюжетного действия: в основе конструкции, несмотря на ее затейливую пышность, лежит примитив. «Эпическое полотно» Ивана Евдокимова лишено крепости, оно разрывается без всякого труда.

Иван Евдокимов, судя по «Колоколам», его первой, крупной (по размерам) вещи, не романист. Он — новеллист, рассказчик. Как рассказчик, он иногда ярок, интересен, оригинален, — это подтверждают многие главы отдельных частей романа, ибо многие из отдельных глав носят характер той же полной законченности.

Сила Евдокимова — в его внешней изобразительности, слабость — в воспроизведении внутреннего человеческого мира. Он тонкий бытонаблюдатель, зоркий и верный в цветах и оттенках «видимого» и близоруко-растерянный в тот сокровенный для художника миг, когда он заглядывает в глубину «очей души».

Евдокимов в своих «Колоколах» не создал героя. Из пестрой галереи человеческих лиц ни одно не остается в памяти. Благодатная теплота глаз, лукавая веселость усмешки, осенняя горечь мучительных губ — ничто не доходит до сознания читателя, не волнует его.

Ни одна из человеческих фигур не обрисована Евдокимовым до конца. Погоня за эффектами, нагромождение ненужных подробностей заслонили, обесцветили характерность людей, действующих в романе.

Роман, в частности, тенденциозен, в нем много традиционных «добродетели и порока». Он не поразит неожиданностью и не повеет новизной, но за всем тем будет читаться с интересом, как добротная беллетристика со всеми присущими ей чертами и особенностями.

Огромная книга Евдокимова напоминает тяжелую кружку с цветным напитком, изготовленным по старинному рецепту послеобеденного питья: в меру игривости (вольность в любовных сценах), в меру остроты (героизм и тра-

<sup>1)</sup> Ив. Евдокимов. — «Колокола», роман. «Земля и Фабрика». Москва — Ленинград. Стр. 559.

гичность), в меру питательности (революционная окраска).

Роман построен на параллельных линиях. Однако их свойство никогда не смыкаться не искупает основного его недостатка—разомкнутости составных частей. Сам же метод сравнений, противопоставлений одной общественной группировки—другой, заранее выдает намерения писателя. Получается транспарант.

Первая часть романа («На зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецках») дает картину старого, предшествовавшего революции 1905 г., рабочего быта.

Глухие зимы и лета, нищие осени и весны, вечные туманы с мертвого озера Чарым, испытые мастеровые в сатиновых рубахах и темных картузах, и среди них—два, резко подчеркнутых, но ступенчато неразработанных типа, символически определяющие разнородный характер рабочей массы. Одно крыло рабочих идет за Просвирниным, отцом того подростка-забияки, которого мы видим в наши дни с кастетом и финкой в руках, другое—за Егором, упорным и твердым бойцом-революционером. Между Егором и Просвирниным стоит работница Аннушка, девушка со сложной и богатой душой, живущая с Просвирниным и—любящая Егора.

Егор и Просвирнин—два непримиримых начала в рабочей массе: организующее и разлагающее. личная их вражда кончается трагически: Просвирнин падает под пулями Егора. Как отсвет крови, как эхо револьверных ударов, рождается драма Аннушки, задумчиво склонившейся над убитым и—с затаенной лаской взглядывающей на убийцу.

Великолепная сюжетная завязка в широкой социальной оправе настораживает читателя, но на пути его обостренного внимания неожиданно вырастает «Голубой дом» (вторая часть романа).

После желтых туманов Чарыма—дремота теплых, сонных комнат, запыленные шелковые гардины, просторный мезонин, тихий свет лампад и

плиссированно-бумажных разноцветных фонарей под потолком,—нагретая уютная лежанка старосветски-покойного быта.

В «голубом доме» проживает семейство Брянчаниновых,—старуха-вдова и ее дети, дочь Люда и сын Анатолий,—люди, с которыми все мы, читатели, не раз и не два встречались на страницах старых беллетристических произведений.

Поднимается, даже не очищенная от пыли, проблема «отцов и детей» в применении к старому общественному укладу.

Разговор гостей на домашней вечеринке:

— Дворянство падает. Наша Александра Александровна тому наглядный пример. Вы подумайте, вы подумайте, она выдала свою дочь за какого-то канцелярского писца без роду и племени.

— Он букинист.

— Букинист Пуговкин. Ха-ха! Люда—замужем за «канцелярским писцом». Ее брат, Анатолий...

— Женился на простой учительнице. Приданого—одни учебники. Людочка и невестка терпеть не могут друг друга.

Про невесту же спрашивают:

— Она служит в земской управе?

И Александра Александровна, мать Анатолия, шутливо отвечает:

— Не хочет есть мой хлеб. Анатолий каждый месяц приносит ее жалованье мне и получает его тут же от меня на мелкие расходы.

Манера Евдокимова: показывать события и людей извне, не касаясь внутренней их сути, здесь, в описаниях разрушающейся дворянской семьи, сказывается наиболее ярко.

«Голубой дом» Брянчаниновых воспринимается читателем лишь зрительно. Жизнь его обитателей, их быт остаются не вскрытыми: дворянски-разночинная семья—непонятна. Александра Александровна—шаржирована, Люда, ее дочь, только самка, Анатолий проходит перед читателем какой-то безвольной болезненной тенью в траурном капюшоне неврастении. На крыльце «Голубого дома» прибитая визитная карточка штампа. Румянец тен-

денциозной преднамеренности светится на лицах людей, обитающих в нем.

Столь же шаблонны и гости «голубого дома», особенно учитель Тур, социалист, конечно, больной чахоткой, и с хрипом, патетически приветствующий грядущую революцию:

— Вот вы увидите, вы увидите. Вы слепые... она идет, идет...

Наряду с вечеринками у Брянчаниновых, учитель Тур посещает нелегальные политические рабочие собрания. Эти собрания происходят «у Никиты на Погосте» (третья часть романа), в кладбищенской сторожке. Зарисовки собраний бледны, они отягощены неубедительными диалогами, скучны, тяжелы и тягучи, словно тот «деготь бальзама», который, по выражению писателя, пьет кладбищенский сторож Никита.

Среди рабочих, собирающихся в сторожке, мелькают старые знакомые, Егор и Аннушка. Действие возвращается к своему первоначальному истоку.

Аннушка пережила глубокую драму,—не даром в разговоре с нею после одного из собраний Егор говорит:

— Аннушка, но ведь он убил бы меня. Ты пойми, подумай. Вся слобода рада его смерти. Мы сто раз говорили с тобой.

Драма Аннушки, ее человеческая боль, мука раздвоенности (жалость к Просвирину и любовь к Егору) неизвестны читателю. Образ Аннушки туманен, как ее заплаканные глаза под пугливыми ресницами. Намечен же образ чрезвычайно интересно, как образ новой женщины, отчетливо выявленный впоследствии, в эпоху революции.

Об этом по-своему хорошо сказал Никита, кладбищенский сторож, увидевший Аннушку вместе с Егором:

— Муж на кладбище поляживает, а она подолом над могилкой вертит... Ну и ле-во-рю-ция!..

Крapiнки новизны проступают и в другом женском образе, Олюньки, мелькающей в той же части романа. Любовь Олюньки и Сергея, вводная глава третьей части,—опять-таки самостоятельная новелла. Взятая отдельно, она интересна, но в романе проигрывает: это только случайный эпизод.

В плане все той же литературной самостоятельности следует брать и историю новой любви (Алеша и Лия), составляющей содержание следующей части книги—под громкой вывеской: «Венский шик».

Читатель, только что сделавший прогулку по ночному погосту, озаренному скудным огоньком в сторожке, где заседают революционеры, и встревоженному певучим ветром весны, попадает в шляпный магазин Эсфири Марковны Шмуклер.

Читатель уже не удивляется: занимательное чередование и пестрота действия начинают утомлять. Роман, при всей своей кинематографичности, однообразен по приемам—начальные главы каждой новой части неизменно дают краткий историко-хронологический обзор местности и событий. Кроме того, при чтении каждой новой части, предыдущие—туманятся, отходят, почти забываются: обилие людей, в большинстве ничем не связанных, и обманчиво-широкая емкость тематического охвата все больше и больше запутывают писателя.

Стремление зарисовать каждую новую, возникающую в воображении, человеческую фигуру или бытовую деталь достигает в «Венском шике» своего предела. В романе—это, в процессе чтения, обнаруживается все явственнее—отсутствует твердая планирующая установка. «Венский шик», одна из его лучших частей,—веское доказательство этого положения. Этот «роман в романе» нуждается в какой-то очень большой очистке: он, являясь материалом для отдельной (и хорошей) книги, в данном своем виде не подвергнут окончательной и тонкой художественной лепке, по справедливости заслуживаемой им.

Тематическое богатство книги Евдокимова, вообще, велико, и от души жаль, что оно осталось неиспользованным в отдельных произведениях,—отдельные главы романа свидетельствуют о неоспоримом даровании писателя.

В романе рассыпано немало жемужин художественности: их блеск можно рассмотреть и в скромных косах Аннушки, и на солнечных стеклах «голу-

бого дома», и на старомодной шляпке милой, смуглой Лии.

Женские фигуры, в общем, значительно больше удались писателю. В то время, как герои романа застыли и блеклы,—в его героинях чувствуется, порой, взволнованное биение жизни. Иногда в романе, там, где выступают женщины, слышится живой голос, светится улыбка, ощущается человеческая ласковость и теплота. Но, повторяем еще раз, даже наиболее удачный рисунок Евдокимова носит мертвенные следы спешной, торопливой работы, неуменья (или нежелания) задержать на нем пытливый глаз и уверенную кисть.

Так, не доходит до читателя образ Аннушки, быстро блекнет и стройный, прелестный облик Лии, невесты, матери и революционерки-воина. Много вредит Евдокимову, в данном случае, и то, что в его обрисовке женщины человечность весьма часто вытесняется самодовлеющей грубостью «физиологии» (об этом ниже). Женица в романе Евдокимова всегда практична и чуть грубовата. Элемент легкой шаржированности внесен им, например, в наиболее нежную любовную сцену Лии и Алеши.

Как Калаф, жених жестокой и пленительной принцессы Турандот, в трагический момент бьет себя по груди ночной туфлей, так Лия, «наклоняясь к самым глазам» целующего ее Алеши, просто и наивно-грубовато спрашивает его:

— Но зачем ты целуешь пуговицы?

Но если в глазах Лии иногда сияет тихая «зодотинка» одухотворенности, то Алеша—только гипсовый слепок одного из любимых, ставших уже классическими, героев литературы.

Писатель снова копирует.

Вы помните молодого красивого студента в голубом мундире, с лицом мечтателя-подвижника и с утомленной прядью, кудряво падающей на лоб?

Он—сын богатых родителей, но он отрывается от своего золотого наследия. «Презренный металл»,—говорит он о деньгах.

Иногда он только позирует, быстро успокаиваясь за приходо-расходной

тетрадью, иногда, действительно, уходит в грозное подполье революции, женясь на девушке из «низшего круга».

И тогда отец—купец в шелковом коротком сюртуке, или дворянин в расшитом халате—проклинает своего сына, «с корнем вырывая седой клочок из своей головы».

Алеша—вторая разновидность этого, излюбленного когда-то, героя («положительного типа»). Он связан с революционными организациями и, кроме того, любит Лию, дочь «шляпницы», Эсфири Марковны Шмуклер (шляпный магазин является приютом революционеров).

Алеша хочет жениться на Лии—сын купца женится на еврейской девушке!—и по этому поводу объясняется с отцом.

Приводим выдержки из этой сцены. Они напомнят многие и многие прочитанные когда-то литературные образцы:

*Сын.* Я от тебя уйду. Не хочешь иметь сына в дому, сын найдет себе квартиру, комнату, собачью будку, а Лию не оставит.

*Отец.* Помни. С голоду будешь подыхать... штаны свалятся... копейки не дам. У меня тоже дело решенное.

*Сын.* Мне ничего не надо. Я даже могу вернуть тебе твой юбилейный подарок. На, вот, возьми. У тебя деньги к деньгам, а у меня ничего.

*Отец.* Так, так... Запомни на всю жизнь: нас отец за поленицу дров учил у дьячка, а мы при отце не курили до сорока годов, говорить не умели при отце. А ты... а ты.

*Сын.* Прощай, папа,—все выяснено. Говорить нам не о чем...

*Отец.* Дур-р-рак...

Алеша покидает «отчий дом», женится, дает уроки и впоследствии, при разгроме организации, арестовывается. Он—в тюрьме.

Одиночка, могильный крест решетки, тишина, а за окном май, синее небо, и над озером Чарым кружатся, кричат белые чайки, тихие птицы скитаний...

Копия продолжается, лик Алеши все больше сливается с его серой тюремной шалкой. В облике Алеши нет ни одной капли той новизны, которая

оправдала бы его существование на страницах «Колоколов». И только в сценах свиданий Алеши со своим отцом, Глебом Ивановичем, писатель опять проявляет себя, как художник: человеческое в отношениях отца и сына оживляет их. Эти сцены прочтутся с несомненным вниманием.

С тем же вниманием будут прочитаны и превосходные места романа (в том же «Венском шике»), в которых изображен Глеб Иванович со своей внучкой, дочерью Алеши прелестной маленькой Мусей.

Маленькая Муся почти не знает своих родителей: мать в ссылке, отец за границей. Алеше; вскоре после суда, удалось бежать, и мы уже видим его на олеографических берегах Женевского озера, мечтающим о родине, жене и дочери. Его жена, Лия, бежит из ссылки, заезжает, по дороге, к Глебу Ивановичу и пробирается к Алеше.

Все это дано Евдокимовым бегло, многое не убеждает, рассыпается на мелочи, тонет в подробностях или, наоборот, мертвеет в схеме.

Грустную историю о любви Алеши и Лии можно считать законченной. Однако роман еще далек от своего завершения.

Древние факиры, на глазах зрителей, выращивали цветок из зерна.

Иван Евдокимов, без всяких усилий, подбирает новые и новые сюжетные зерна, почти никогда не дающие цвета.

«История о шапке, о тачке, о погроме и забастовке» (пятая часть романа) удачна там, где писатель дает забастовочную толпу,—она движется, шумит, поет, волнуется—и, как всегда,—худосочна в своем «психологическом» отрывке.

Рабочий Кукушкин, ставший провокатором и погибший под раскаленными колесами поезда, облачен в ветхие олеяния мелопламы. Катяна казни другого провокатора. Кленина, лишенная необходимой, резкой суровости, выдержана в агитационно-плакатных тонах.

В казни Кленина принимает участие и Егор, начальный герой «Колоколов».

Появление его, как, например, появление в последующей части («Оре-

шек») обитателей «Голубого дома», употребляется, очевидно, в качестве сюжетной скрепки отдельных слагаемых романа, непрерывно отмыкающихся друг от друга. Появление же их совсем не обязательно: их отсутствие, зачастую, могло бы послужить лишь к очистке действия, придало бы ему равномерность и динамику.

Динамичность и стремительность, в их внешнем проявлении, впервые обнаруживаются как раз именно в этих двух частях романа (пятой и шестой).

В них веет северный ветер трагизма, много жути и крови. Волны забастовок, разгул черной сотни, еврейские погромы, горячие крылья «красного петуха» над черноземными полями,—все это, зачастую, слышишь и видишь, наблюдаешь и переживаешь. Внутренняя же сила всех этих явлений, пружина, развертывающая их, остается, все-таки, скрытой. Писателя часто сменяет писатель, художника—публицист. Часто попадают газетные хроникерские заметки:

«Свешниковская мануфактура загудела первая, загудели маломержи — и рабочие пошли с узелками с шести утра. У нового забора вокруг Свешниковской мануфактуры уныло околачивались безработные с обвязанными головами, испытые, исхудалые, как вороха пожелтевших осенних листьев. На всех фабриках и заводах ввели постоянные расценки».

Наряду с хроникерскими заметками, читатель снова сталкивается с плакатом. Предпоследняя глава «Орешек» (название усадьбы) предваряется, как и ее предшественницы, историческим экскурсом: писатель шуршит желтыми листами родословной книги в тяжелых серебряных крышках, вынимает из осыпающихся рам старые, усадебные портреты.

Обычно эти портреты подобны тому чорту, «намалеванному» кузнецом Ваккулой в притворе Диканьской церкви, который употреблялся в качестве пугала для капризничающих детей:

— Он, бач, яка така намалевана...

Потомок этих людей, студент Кирик Чернов, очень во многом и, прежде

всего, в своей извращенности и сатире, напоминает достойных предков.

Кирик, последний хозяин усадьбы «Орешки»,—друг того самого Анатолия, который, если не забыл читатель, жил в «голубом доме» и был женат на революционерке Галине. Анатолий и его сестра Людмила, любовница Кирика, гостят в «Орешках». Усадьба подвергается разгрому, Кирик и Людмила погибают, а на пепелище приезжает воинский отряд под командой ротмистра Пышкина, начинаются избиения и истязания мужиков, а в городе, там, где плещется туманное озеро Чарым, воздвигаются, возносятся баррикады. На баррикадах—в последней части романа—читатель еще раз видит Егора и прощается с ним: Егор скоро заковычивается в наручные кандалы.

И вот—заключительная картина романа: светлое, тихое весеннее утро, солнце, сияющий город, колокольный перезвон, и на запасном пути—отходящий поезд, грустные вагоны с решетками в окнах:

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели.  
Молчали желтые и синие,  
В зеленых плакали и пели...<sup>1)</sup>

Поезд уходил в сибирские просторы, к каменным гробницам Акатуйских рудников.

«Из тюремного вагона махали руками. Егор захлебнулся. Он закричал в ветер, рабочим, вагону, городу, отавой прораставшей земле в этот скотий георгиев день:

— Товарищи! Мы не одни. Мы не одни»...

В заключительных главах романа (романа-хроники) есть немало сильных страниц, на которых опочило огневое дыхание революции, но и эти страницы, отвечающие в современность, чрезмерно растянуты, как и весь роман. Общее впечатление от романа—впечатление беспредметной огромности, зыбкости, стихийной хаотичности, словно от дикого озера Чарым.

Но наличие гряды островков, заросших весенним ивняком талантливо-

сти—из ивняка вырезают напевные свирели—наличие таких островков в романе не приходится отрицать.

К достоинствам романа, кроме уже отмеченной нами изобразительности, следует причислить и его язык. Но и язык Евдокимова далеко неравномерен: его узорность, похожая, применяя образ писателя, на масленичную сбрю, часто переходит в роспись лубка, а иногда в кокетливо-фальшивую графику бомбоньерки. Слово Евдокимова певуче, но тяжело. Роман труден для чтения.

Преизбыточная нагрузка образности, наличествующая в романе, заслуживает внимательного рассмотрения. Евдокимов очень свободно пользуется образом, не всегда удачно применяя его. Однако многие из его образов хороши: выразительны и четки. Несколько примеров: «Зимой на полянке видны были заячьи лапки и лисьи четки следов, а по кругу, взмыленные морозами, в пене стояли островерхие, будто калмыцкие шапки,—елки».

Елки, сравниваемые с островерхими калмыцкими шапками,—это оригинально, ново и смело.

Удачен и такой сложный и пестрый, но отточенный образ:

«Щеки у нее были алые, гладкие, шелковые, волосы черные, будто черное дерево на бабушкиной шкатулке, а глаза ясные, как косые капли дождя на солнце».

Все эти образы пленяют своей конкретностью и законченностью. И наоборот, многие из образов Евдокимова удивляют безвкусием и надуманностью.

«Люда поднялась с кресла, протянула руки, на талию к ней легла рука кавалера и, качнувшись лугами крепких бедер, она, как легкий экипаж, покатила по круглому залу».

Такие же образы, как «осеннее повечерие быстро перешло в ранний, как смуглый человек, вечер»—совершенно отвлеченны и дисгармоничны. Библейски-церковное слово «повечерие» должно было бы дополняться эпитетом, взятым из той же области. «Смуглый же человек»—ничего невыражающее понятие, оно никак не характеризует ранний вечер.

<sup>1)</sup> Ал. Блок.

В некоторых случаях писатель окончательно запутывается в своем «словесном наборе».

«Шел Никита к фонарю и, наставив медную луковицу часов на розово-голубой отблеск неугасимой лампы, глядел на череспосолицу часов».

И, наконец, вслед за приторно-мармеладными определениями, вроде: «скважинка желанья»—в романе светятся и сияют «усталые ночи глаз на пожелтевшем от беременности лице...»

«Скважинка желанья» и «усталые ночи глаз», запоздало вынутые из разубранной имажинистско-уайльдовской шкатулки, лишний раз характеризуют Евдокимова, как писателя противоречий—и в содержании, и в стиле.

Неприятно также в творчестве Евдокимова его тяготение к излишнему натурализму, в некоторых случаях становящемуся прямо отвратным, к голлой зоологичности, от которых порой становится душно.

Может быть, во всем этом и можно было бы найти некий исток здоровья и силы, но исток этот, покрываясь ржавчиной пошлости, веет гнилью, а не той непосредственной свежестью, которая могла быть в замыслах писателя.

Все та же двойственность—силы, ощущения земли и липкой пряности восточных сладостей—вносится Евдокимовым и в пейзаж.

Впрочем, пейзаж—слабое место Евдокимова. Конечно, и тут у писателя можно найти золотой проблеск художественности: «на другое утро выстрелил

мачтой дым из трубы, и морозное рыжее солнце заблестело негреющим круглым окном...»,—но, как правило, природа отражается Евдокимовым смутно и неопределенно,—через матовые стекла, или через запыленные шелковые гардины.

Пейзаж Евдокимова декоративен, оперно-пышен, в нем нет ни живого трепета листы, ни благословенного солнечного сияния:

«Солнце спустилось наполовину в облака огромным малиновым куполом неведомого собора, выстроенного на краю земли. И шел от него малиновый ясный свет и скользил по спинам полей дрожащими переливающимися вуалями. Купол медленно погружался в облака, темнея, густея, возрастая... И вот небольшой каравай хлеба постоял на облаках—потонул, опустился на золотых цепях лучей в раздавшиеся облака. Тогда облака и тут и там вспыхнули: будто выросли всюду клумбы, будто еще выше поднялась хрустальная крыша неба и раскрылась бесконечная оранжерея с грядами причудливых цепей и деревьев».

Вся эта «роскошь», построенная на сочетании декоративно-пышных красок, ни в какой мере не может заразить читателя, ибо она мертва, как всякая декорация, и, кроме того, легко рассыпается на свои составные элементы, в основе которых лежит разнородность.

Эту картину можно взять эпиграфом к роману, ибо семь глав романа также находятся в полнейшем разединении между собой.

## 2. ДВА РОМАНА О ВЧЕРАШНЕМ ДНЕ

(С. Сергеев-Ценский.—«Валя»<sup>1)</sup>. П а н т. Р о м а н о в.—«Русь»<sup>2)</sup>)

### Н. Замошкин

**В** плане глубочайшей интимности начата С. Сергеевым-Ценским грандиозная эпопея о «преображении» русской жизни. Конечно, весь цикл романов на эту тему, которым занят писатель, не

может быть создан в этой соблазнительной манере—впереди ряд романов, посвященных войне и революции. Но интимность первой части вполне оправдывается самой сущностью произведения и всем окружением его—проблемой одиночества, безволия и самоуничтожения интеллигенции кануна мировой войны. «И кому вообще, где бы то ни

<sup>1)</sup> Роман. ГИЗ. М.—Л. 1926.

<sup>2)</sup> Роман. Части 1, 2 и 3. Стр. 203+192+172. Изд. «Прибой». Л. 1926. Ц. каждой части 1 р. 50 к.

было, можно сказать о своем?—Никому, конечно...». Вот формула этого одиночества, высказанная главным героем романа. В этом безнадежно-уверенном, покорном словечке «конечно» и сказывается сознание тупика, распада человеческих связей. Почти все персонажи романа носят в себе сознание взаимного непонимания, отчужденности, почти все они—маньяки и жертвы своей *высокой душевной организации*, от которой и гибнут... Картина получается удручающая, страшная, хотя писатель совершенно свободен от всяческих пристрастий к «ужасам». Сергеев-Ценский—подлинный реалист и, даже изображая большую психику героя, насыщенную предчувствиями, и тонко и проникновенно играя на неуловимых деталях,—он остается скупым, выдержанным художником, бесстрашно рисующим то, *чего скрыть нельзя*. Интимность и тончайшая психологическая тональность романа целиком обусловлены самим предметом художественного изображения, т.-е. жизнью Алексея Иваныча, архитектора, — яркого представителя и завершителя индивидуалистической, замкнутой в себе самой, культуры определенной части русской интеллигенции.

К тому же «Валя»—поэма о неумирающей любви. Поэтому-то заранее читатель должен признать всю необходимость именно такого (интимного) подхода к теме.

Тут сделаем небольшое пояснение. Дело в том, что та или иная тематика и принципы ее раскрытия всегда обязывают автора быть внутренне близким к своему произведению. Даже сатира не исключает известных симпатий автора к изображаемому. Поэма о лебединой песне того или иного общественного слоя должна быть любовной поэмой. Человеку со стороны тут делать нечего. В этом смысле Сергеев-Ценский, пожалуй, один из немногих хозяев своей темы. Но, обладая правом собственности на свое детище, художник может легко переступить грань историческо-объективного изображения. Тут все держится на волоске. Эта опасность постоянно грозит не только старику-писателю, но и молодому писателю, изображающему,

например, приход и победу новых деятелей культуры. Если художник хотя бы легчайшим незаметным движением обрывает волосок, тогда критика, в собственном смысле этого слова, пред'являет право на обвинение или же на раз'яснение. По отношению к «Вале» вопрос ставится так: любовно рисуя *своих* людей, их безысходность, их покорную углубленность в дебри своего бытия, их, наконец, печальную кончину, не ограничивается ли Сергеев-Ценский только воспроизведением поэзии увядания? Или: есть ли перспектива в «Вале», хотя бы намек на выход из тупика? Если нет, то произведение не сумеет заразить читателей другой эпохи, другого класса. И новый вопрос: кто творит перспективу—писатель или читатель? Обязан ли писатель нарисовать стрелку, указующую путь? (Ведь всегда такая стрелка, т.-е. тенденция, без формулировки обойтись не может, и поэтому выпадает из художественного плана произведения.) Напрасно мы будем искать прямой и четкой перспективы в самом романе «Валя»—ее нет. Но зато всякий читатель, а из разряда интеллигенции, особенно (как известно, болезни и уродства в близком человеке нам тяжелее, чем в далеком)—по прочтении романа скажет: так жить нельзя. Каждый читатель каждого класса, если он здоровый человек, будет искать выхода и бороться за другую, человеческую жизнь. Вот в этом-то решении читателя и заключена взрывчатая сила романа; в нем, в этом решении, и скажется перспектива и даже стрелка, указующая путь, так искусно и подлинно-художественно сокрытая Сергеевым-Ценским. Это главное. Второстепенное же, т.-е. субъективные прорывы писателя в перспективу менее характерны для него. К ним относятся немногие уязвимые для автора места, где он намеками, полугайнами пытается выйти за пределы печальной жизни героев своего оригинального романа. Отметим эти места—они напомнят к тому же своеобразные черты творческой личности Сергеева-Ценского, почти забытого современным читателем.

Сергеев-Ценский—поэт стихийной силы природы. В этом, пожалуй, еще нет

никакого своеобразия. Но оно начинается тогда, когда писатель этой силе поклоняется и идет к солнцу не только «в минуты душевной слабости», но и философски утверждает его, как единственный исход. Пейзаж у него очеловеченный, животный. Например: «море было неопределенно-огромно, черно и раз за разом шлепалось в берег мягким животом прибоя», пейзаж такой, когда кажется, что «небо-то ведь живое»... И тут же рядом: «пропадала уверенность в прочности земли и жизнь казалась случайной, маленькой и скромной». Отсюда у Сергеева-Ценского безудержное стремление сбросить пути земли и устремиться в хаос природы, в вечность, ибо для него «земля—страшная вещь»... В эти минуты человека охватывает трусливое сознание гибели. Вот это контрастирование смертной земли и вечной природы—в пользу безликой стихии, отвлеченной вечности, когда все житейское, любовное, домашнее расплывается, вот эта покорная сдача человеческой позиции и является уязвимым местом Сергеева-Ценского.

\* \* \*

Сюжет романа не сложен, не богат событиями и не отягощен особым романтическим окружением. Главный герой—Алексей Иваныч, потерявший жену и сына, попадает в южный морской городок, где знакомится с людьми своего круга—полковником и его семьей, гимназистом, помещиком и проч. Всем им он говорит о своем горе и о том, что некий Илья увлек и обманул его жену незадолго перед ее смертью. Происходит встреча Алексея Иваныча с Ильей, которого он зовет к ответу. Попытка убить Илью при свидании кончается ничем, т. е. Алексей Иваныч убеждается в безграничной пошлости этого человека. На очень короткое время Алексей Иваныч обретает покой. Но встреча с Натальей Львовной, дочерью полковника, невольно толкающей его на месть, и целый ряд предзнаменований заставляют его совершить убийство. Преступление происходит на вокзале при случайной встрече с Ильей. Вот и все. Такова сюжетная рамка, внутри кото-

рой развивается сложная повествовательная нить из переживаний, столкновений и гибели. Вместо романтического окружения подробно показана внутренняя напряженнейшая борьба героя за продление былого счастья. Счастье олицетворено Валией, которой вовсе не существует, т.-е. Вали, живой женщины, действующего персонажа—в романе нет. Валя, умершая жена Алексея Иваныча, *проходит в романе тенью*, напоминая и постоянным мучительно-любовным воспоминанием Ал. Ив. И не случайно ее именем назван роман, и не случайно она является подлинным героем романа, хотя ее и нет! Такая установка основного замысла по необходимости придает всему действию соответствующую окраску.

Ал. Ив. кажется, что Валя продолжает жить, взывает к отмщению за себя, присутствует в его скитаниях и пр. Самые красочные пятна романа лежат именно в местах пересечения образов Вали и ее мужа. Мятущаяся душа архитектора, потерявшего навеки уют, семью, все привычное прошлое, не может помириться с мыслью о невозвратности счастья. Образ Вали его преследует, моментами он совершенно перевоплощается в него. Ал. Ив. ищет всюду следов Валиного присутствия, даже в квартире своего соперника. Теребя свое воспоминание, он реально представляет ее фигуру, жесты, страдает от позора жены и задыхается, теряя голову... Подобные переживания героя можно свести к чистой физиологии, к психозу—к раздвоению сознания. Но в этом ли дело?

Исключительный по психологической тонкости диалог Ал. Ив. с Ильей следует признать лучшим местом романа. В нем разрешена труднейшая задача полного слияния в одном человеке двух индивидуальностей—всеми мыслями Ал. Ив. владеет Валя. Только некоторые диалоги Достоевского в этом случае могут притти на память—но и это сближение ограничивается только напряженностью их. Характерным отличием Сергеева-Ценского в диалогах будет его совершенное, почти олимпийское, спокойствие и внешнее бесстрашие—никаких криков, слез, истерич-

ности. Встреча соперников, один из которых должен погибнуть, показана в плане игры и как-будто рассчитана на актеров громадного таланта. Разговор двух лиц построен на паузах, когда соперники настороженно следят за собой и друг за другом; неожиданно паузы разряжаются потоком речей, быстрый темп которых развивает Ал. Иваныч при внешнем окостенении Ильи, ограничивающемся краткими выпадами язвительной силы. Время, нужное для прочтения диалога, почти равно действительному времени диалога, т.-е. при сценической обстановке. Такова конструкция диалога. Психологическая же значимость его заключается в чередовании определенных комплексов переживаний Ал. Иваныча, ведущего роль и за себя и за Валу. Литературные свойства этого диалога сочетаются с драматургическими—в нем живет *скрытое действие*.

В чем бессилие Ал. Ив. перед невозмутимым самодовольством Ильи? В его тонкой, постоянно рефлексировавшей, душевной организации, в его полном одиночестве и, главное, в его привязанности к пройденному уже этапу жизни. Писатель очень рельефно отмечает эту последнюю причину—Ал. Ив. «плотно сидит в сундуке своего прошлого». Все дело сводится к тому, что человек никогда не знал в жизни никаких сюрпризов. Постепенно накапливались в нем и отвердевали житейские факты, а личность не кристаллизовалась, сопротивляемость внешней среде не нарастала. Любовь женщины к нему и оборвалась только потому, что он застыл в своем семейном благополучии. Мудрено ли, что эт т человек стал судорожно биться над разрешением задачи, т.-е. причины ухода Вали? Мудрено ли, что человек стал цепляться за образ милого прошлого и ловить исчезающие мгновения? Отсутствие близких людей, упреки в безволии со стороны Нат. Львовны и отсутствие пафоса к труду (что могло бы спасти его) делают его полувменяемым. Полковник и другие старые люди—отставные жители земли, живущие с ним рядом,—не могут понять его смятения. Они доживают свой век на пенсии. Разве только преферанс может

сблизить их на одну минуту. Другая категория людей—«краснощекие» (как любит их называть Сергеев-Ценский), толстокожие, бездумные. Они берут жизнь в свои лапы легко, открыто. Подрядчик Макухин—из чумазных— берет в жены прекрасную девушку, так как это ему лестно и сулит большие дела. Илья же из тех, кто не думает о любви, но зато знает вкус ее. Только Наталья Львовна, замечательная девушка, проделавшая в прошлом трогательно-комический, насквозь интеллигентский, путь от странницы к актрисе, а теперь скучающая (у ней «уж будущности нет»),—только она понимает Ал. Ив., раздражает его своим сходством с Валею, взывает к его силе, к мести за жену, тянется капризно к нему, и, разуверившись, истерически порывает со всем своим прошлым—отдается Макухину!.. Что-то буйное, властно-рабское в этом ее жесте сблизжает ее с inferнальными женщинами Достоевского.

Белые глаза Ал. Ив. с ужасом и растерянностью смотрят на все происходящее, земля уплывает из-под его ног, а Вали, Валя хотя и «ушла навсегда—это верно... но—пришла снова»... Больные иллюзии героя писатель грубо разрушает, давая ему понять, что Вали нет, что смерть—конец. Но Ал. Ив. брошен всеми людьми—поэтому-то одиночество родит в нем свой особый мир. Случай (не больше!) направляет, наконец, его руку с револьвером в Илью. Убийца благородно и, почему-то обращаясь к Макухину, взывает ученическим голосом: «простите!», а единственный понимающий человек, Наталья Львовна, умалчивает при допросе о причине убийства... Одиночество замыкает свой круг.

Вновь и вновь встает вопрос о безвинности виноватых. Конечно, Ал. Ив. без вины виноватый и достоин по человечеству человеческого же внимания. Социальная же вина Ал. Ив., Натальи Львовны и других неудачников—в их оторванности от здорового, целостного, трудового общечеловеческого, хотя бы и в условиях буржуазного порядка. Об их общественно-трудовом участии в жизни ничего не говорится в романе, но тем

ярче в этом умолчании сказывается этот пробел их существования, истинная причина их безысходного одиночества, взаимного непонимания и скрытого эгоизма. Правда, Алексей Иванович инженерствует — прокладывает шоссе, но ведь это делается только мимоходом. Даже мудрое обвинение, брошенное современным поэтом в лицо современных «краснощечких»: «профессией повеял человек», — к нему неприменимо. Профессия могла бы его спасти, но и этого нет.

Таким образом, вся трагедия нелепых Алексей Ивановичей питается гипертрофией их чувств, их отчужденностью от широкой общественной жизни. Сергеев-Ценский вплотную, жестко и чеканно (хочет он этого или не хочет), подводит читателя к этому заключению. В сущности говоря, эти люди занимаются уничтожением самих себя, живя в каком-то *ночном сознании*. И не даром Сергеев-Ценский своим заключительным главам дал обозначение: вечер, поздний вечер и ночь.

В редкие моменты, когда особенно сосет под ложечкой, герои романа творят легенды. Так, Ал. Ив., увлекаясь, потешает себя вымышленной охотой на лебедей, а Наталья Львовна мечтает вместе с мечтательно-героическим мальчиком Павликом о пастухах, бросающихся под копыта лошади какой-то опальной царицы. Оказывается, что жить без пастухов — рыцарей «скучно-вато». Поэтической сказкой о несбывшейся в их жизни красоте увлекаются эти люди (мотив о мечте, украшающей серую жизнь людей, близок Сергееву-Ценскому — см. его рассказ «Аракуш», а еще раньше он увлек М. Пришвина — см. его прелестный рассказ о мужике, поверившем в существование «белого перепела»).

Павлик — интереснейший, к сожалению, лишь вскользь показанный, тип мальчика-мечтателя эпохи религиозно-философских исканий. Его костыли, его раннее, отравленное погружением в себя резонерство, тесно переплетенное с безудержной мечтательностью о подвиге, его действительный подвиг (бросился под копыта взбесившейся тройки лошадей), — все это показал Сер-

геев-Ценский необычайно мягко и проникновенно. Но и Павлика, несрочно состарившегося, уже мутит от нелепого подвига и его результатов — костылей. Предчувствуя свою скорую смерть, калека пишет «патологию бога» (!)... Печальная судьба Павлика напоминает всю жуть минувшей эпохи, а также и печальную судьбу многих и многих других «бледных мальчиков».

\* \* \*

Остановимся на некоторых деталях романа, без которых сущность и своеобразие его могут потерять долю своего интереса.

Раскрытие сюжета романа сопровождается все время тончайшими деталями, подчас неуловимыми при первом знакомстве с ним. Импрессионистическому письму Сергеева-Ценского тут раскрывается широкое поприще. Каждое явление, каждый фактик приобретает законченный смысл. Например, запах фруктов родит у Ал. Ив. печальное воспоминание о кладбище, об умершем сыне и пр. Павлин, встретившийся Ал. Ив. на дороге и посмотревший «обидно спокойно ему в глаза», был для Ал. Ив., как впоследствии оказалось, дурным предзнаменованием. Спокойно-комические глаза этой птицы говорили Ал. Ив. о ненужности отмищения за Валу и пр. Писатель — то знает, что «павлин на парашете казармы был просто красив и только»... Но больная душа Ал. Ив. сделала из павлина важную зловещую птицу... В этой детали скрыт тонкий юмор и грусть художника, свободно пользующегося своим материалом. Подобными художественными фактами наполнено все действие романа, особенно моменты перевоплощения Ал. Ив. в Валу. Не сообщая ничего определенного о характере умершей Вали, художник, сделавший ее центральной фигурой романа, все же подводит остроумно и осторожно читателя вплотную к ее характеру. Валя — гордая, непреклонная женщина, жаждущая рабства и деспотической любви, — с этой стороны делается известной только по своей схожести с характером Натальи Львовны. Эксперимент этот Сергеев-Ценский проделывает необы-

чайню искусно и смело. К концу романа он, как бы неожиданно, обнаруживает, что жертвой Ильи была не только Валя, но и... Наталья Львовна. Эта сюжетная концовка была бы вполне «американской», если бы не психологическая дальновидность (схожесть характеров, одинаковость судьбы) Сергеева-Ценского, который заранее и исподволь готовил читателя к необходимости именно такого конца.

Условным (композиционным) недостатком романа являются немногие места описания мелкой и юркой жизни обитателей городка, почти несвязанной с основным действием романа. В городке нет коренных жителей, нет быта—русские, татары, евреи, турки, немцы и пр. собрались в нем как бы печально и своим существованием только оттеняют «случайную» судьбу главных персонажей.

Символично-психологическая установка произведения и такие же принципы ее разрешения могут навести на мысль об отсутствии в манере Сергеева-Ценского реалистических образов, крепкого бодрого словаря и пр. признаков здорового стиля. Подозрению такому нет места. Счастливо и оригинально сочетает этот большой писатель реалистическую живопись русской классической литературы с достижениями символической школы. Трагическое течение отдельных жизней Сергеева-Ценский показывает наиболее спокойно. Интимность его романа бесконечно далека от истеричности. Надо обладать мудростью бесстрашия, даже жестокостью, холодной, но клокочущей внутри, индивидуальностью, чтобы не впасть в крикливость, изображая сплошной крик. Сергеев-Ценский владеет этим оружием вполне. Отсюда его живучесть, пригодность для нашей эпохи. Хотелось бы только от писателя получить и в этом романе ту отдушину, которой он пользовался, к выгоде для себя и читателей, в других своих произведениях. Отдушиной этой была, обыкновенно, поэзия труда, ответственности, добротности (наприм., в его повести «Движения»). В «Вале» этих нужных, всегда прекрасных у Сергеева-Ценского, сцен нет. Господ-

ствует ночное и умирающее сознание. Впрочем, таково сознание изображаемых им людей.

«Догоню, ворочу свою молодость»,— кричит вовсе не старый еще человек— Ал. Ив. Догоняя, он все больше и больше вязнет в прошлом, не находя поддержки в других и в себе. Одиночество уже не павлином (он спокоен), а черным вороном нависает над ним. Патология бога становится патологией человека. Обычное «человек человеку—волк» Сергеевым-Ценским заменяется формулой—«человек человеку—смерть». Хрен редьки не слаще... Сергеев-Ценский виновен лишь в том, что до последнего предела вскрыл страшный смысл этой формулы, но зато прав в другом: формула—«человек человеку—жизнь» не может быть осуществлена в той увядающей жизни, которая им изображена.

Роман Сергеева-Ценского является завершением или началом завершения периода в литературе, предшествовавшего русской революции. Никто из старых мастеров, современников и участников судьбы Алексей Ивановичей, так сжато, скульптурно и проникновенно не изобразил кончину известной части русской интеллигенции, запутавшейся в своих же собственных сетях. Никто еще так правдиво, в процессе художественного познания интеллигенции, не доказал самоубийственного значения следующей тирады: «именно то, что никому другому не нужно, нужнее всего тебе». Подлинно: болезнь Алексея Иваныча нужна только ему одному!

Первые три части «Руси» выросли из отдельных клочков, которые создавались на протяжении нескольких лет. Это обстоятельство, повидимому, повлияло на всю структуру романа. Твердого сюжета, вращающегося вокруг «жизни человека», в нем, по существу говоря, нет. В большом изобилии и по нескольку раз в романе чередуются сцены поездов на тарантасе, пейзажные и пейзажные картины, помещичьи попойки, любовные встречи, заседания «Общества» из дворян и купцов, мужичьи беседы на завалянке, разговоры

«Барина со слугой, интеллигентские разговоры и картины всеобщего безделья. Роман с вариациями—так можно назвать «Русь». Правда, есть герой—Митенька Воейков, но он не «живет», а всего-на-всего своим ничемным существованием «иллюстрирует» идею произведения. Последняя сводится к гибели и вырождению дворянства. Во-круг Воейкова—множество других погибающих экземпляров. Важно отметить, что погибают эти люди не от поражения в борьбе с более сильными людьми, а от своей лени, от своего прекраснодушия, от привязанности к «мировым масштабам», интеллигентским разговорам и проч. Другая идея, параллельная первой, касается мужиков. Их косность и беспредельная беспечность автором взяты как бы в тысячекратном масштабе. В лето 1914 г., когда развивается действие романа, они даже навоз не возят! Они ждут, на что-то надеются, охают, почесываются, беседуют... Мужики, одним словом, тоже вырождаются.

Проблема «оскудения» дворянства и мужиков взята автором безотносительно. В этом сказались его публицистические очки, его традиционно-либеральная точка зрения на судьбы России. Конечно, в свете такого подхода Русь за всю свою историю постепенно вымирала. Романов в это поверил и не критически принял в основу своего художественного произведения *политический, не исторический лозунг об абсолютном оскудении*. Ставка на всеобщую, провиденциальную порочность Руси, само собой, не освободила все-таки его от необходимости локализовать время действия романа. В этом пункте и обнажилась его ошибка в решении вопроса об «оскудении». 1914 г.—год наибольшего роста производительных сил старой, буржуазно-дворянской России. Вырождающееся дворянство выдвинуло из себя капиталистических организаторов—автор «Руси» их не замечает. Эксплуатируемое же крестьянство в 1914 г., как и за все годы своей истории, показало свою исключительную выносливость, приспособляемость. Крестьянство всегда *трудилось*—это главное. Таких лодырей, таких трупных лю-

дей, как романовские мужики, на Руси, как правило, *никогда не было и быть не могло!* Мог ли такой народ совершить революцию? Нет, не мог. В картине подобной «Руси» нет и намек на действительную «причину» революции, изображением которой озабочен писатель (см. эпиграф к роману). Если это даже только подступ к причине (сама «причина» должна быть выведена в дальнейших частях), то и он не верен. Очень спорна, кроме того, сама постановка вопроса о «причине» в художественном произведении. Не является ли она лишь следствием, т.-е. не вытекает ли она из восприятия художественного произведения? Оставляя также в стороне вопрос о возможности художественного воспроизведения *всей Руси*, напомним лишь Романову, что Гоголь, Лев Толстой и др., изображая свою страну, давали всегда своим произведениям *частные названия*... И они были в этом правы. Таковы в общем недостатки романа, вытекающие из самого замысла.

Обратимся к героям. Митенька—любопытнейшая фигура. Он—конденсатор, собрание всех грехов нашей прошлой общественности. Автор отказал ему в биографии (то же самое он сделал и с другими персонажами). Зато Митенька—весь в поступках. Прием сам по себе положительный, но исключительно трудный, драматургический. К сожалению, все поступки Митеньки (слепое подчинение провинциальному демону, эпикурейцу Валентину, неопытность, разочарованность, тяжесть с мужиками и проч.) не внутренне мотивированы... Он прыгает, как марионетка, по воле автора и владеющей *им* идеи.

Перед нами—сборная трансформация образов Обломова, князя Мышкина, Пьера Безухова, Иванушки-дурочка и мн. др. На судьбе Воейкова тонко прослежено влияние случая в жизни недорослей 1914 г.—в этом заслуга писателя. Много в Митеньке детскости, «святой наивности», даже жертвенности—как не полюбить такого человека! Внешняя сатиричность его рисунка и других героев не должны поэтому вводить читателя в заблуждение. (Кстати:

установка романа сделана на сатиру, но это не сатира—нарочитость положений, гиперболизм поступков, «свинные рыла» и пр. очень искусно подретушированы бесстрашием и отсутствием авторского окрика.) Много в Митеньке и от «кающихся дворян»... Несмотря на различие темпераментов и индивидуальных, очень иногда интересных, черт у других героев, все они—никудышники, прожигатели жизни, с искрой страдания в глазах и непомерной гордостью. Авениры и Федюковы фрондируют против «устоев» и играют в честолобие в совершенно карикатурном «Обществе», ими основанном. Дух разрушения витает не только над ними, но и над слугами, не говоря уже о мужиках.

Язык романа вполне реалистический, простой, без всяких претензий на новизну. К сожалению, он лишен местного колорита и не чужд прозаизмов. Речевые индивидуальные оттенки едва заметны. При внешней своей очерченности он как-то бестелесен. Емкости в языке да и в образах вообще не достаёт роману. Оригинально развивается действие—по линии поездок на **тарантаса**. **Встречи, случаи, завязки, развязки,—все это результат путешествий.** Прием вполне чичиковский. Искусно

имитируются известные русскому читателю лирические отступления, оставки автора на пейзажах и пр. Стилистическая манера Романова—акварельная, мягкая. Масляные краски были бы в романе к месту, но их нет. Удаются автору интимные сцены: смерть Тихона, встречи с Ириной и многие детали, напоминающие толстовскую любовь к мелочам. Новизной они не блещут, но подкупают искренностью любовью.

Таков роман, т.-е. первые части его. Даже из кратких замечаний уже видны истоки его—из классической русской литературы. Без особого труда можно было бы привести ряд разительных примеров-совпадений. Подобная близость, вытекающая из любви и родственности, ведет иногда Романова к рабской зависимости от оригинала. Между тем можно ли утверждать, что русская литература осветила *все стороны Руси?* Думается, что талант Романова мог бы кое-что дополнить к этой картине. Время, революция, открывающиеся перспективы—в поле зрения писателя, живущего в наши дни. Следующие части романа должны быть поэтому вполне творческими, а не традиционно-реконструктивными, как это случилось с первыми частями.

### 3. НОВЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МАРКСИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРЫ<sup>1)</sup>

Лев Яковсон

Писать о Плеханове новую книгу в наше «плехановское» время—дело не легкое. Но работа М. А. Яковлева, представляющая попытку *«систематизировать»* методологические высказывания Плеханова, как классика марксизма в русской критической литературе», ввиду «эскизности» и «этюдности» его (П—ва) статей об искусстве, находит свое полное оправдание, как новый шаг к построению марксистской методологии литературы.—С этой точки зрения

особенно интересными оказались следующие главы: IV—«Поэт и общество»; VI—«Форма и содержание в худ.-литер. произведении» и, особенно, гл. VII—«Сравнительно-исторический метод в понимании Плеханова».—Автор не ограничивается в них,—как это обычно практикуется,—общим анализом литературной методологии основателя русской марксистской школы, а стремится выявить ее особенности в тесной связи как с теми литературоведами-объективистами, которые могли влиять на него самого (Тэн и Веселовский), так и с теми, на которых эти последние влияли непосредственно: напр., с одной стороны, Брандес и Куно Франке (тэнизм),

<sup>1)</sup> М. А. Яковлев.—Г. В. Плеханов—жан методолог литературы. (Опыт построения марксистской методологии литературы). Издание «Книга». Ленинград-Москва 1926 (не обозн.), стр. 157, тир. 2.000, цена 1 р. 65 к.



то в новом опыте марксистской методологии литературы она по существу должна была бы, конечно, служить главным краеугольным камнем всего построения. Помимо того, что в диалектике — существо данного метода, Вопрос о *конкретном применении* материалистической диалектики в современном литературоведении больше всего нуждается в тщательной разработке. Между тем, автор главное внимание уделяет выяснению самой концепции гегелевской диалектики и материалистической диалектики Маркса — в дальнейшей разработке данного метода у Плеханова, т.-е. как раз выяснению тех общих вопросов, прекрасную разработку которых читатель легко найдет в многочисленных работах по историческому материализму. В то же время специально и злободневному вопросу о конкретных приемах применения диалектического метода к литературно-художественным явлениям уделяется меньше всего внимания. Отсюда — чисто отвлеченный характер, которым данная глава отличается больше, чем все остальные. — Разумеется, преждевременно еще было бы требовать от автора в подобных случаях своей особой законченной «схемы» или «рецепта» для конкретного применения диалектики. Речь идет здесь лишь о том, что для решения вопроса о научном применении марксистского метода к явлениям поэтического творчества далеко *уже недостаточно* систематизировать разбросанные высказывания П—ва, — чем так усердно занимались до сих пор, — а необходимо, учитывая современные научные достижения и методологические искания, идти в том же направлении дальше. От общих рассуждений пора, наконец, перейти к тем «частным исследованиям», на которые в конце книги правильно указал и сам автор. Но навряд ли таким «частным исследованием», имеющим целью «на-

копление исследованных фактов», можно признать всю работу М. А. Яковлева, в целом, и последнюю главу его, в частности. Впрочем, такого упрека автору легко мог бы избежать, если бы не претендовал на «опыт построения марксистской методологии литературы», — о чем, однако, так красноречиво свидетельствует подзаголовок книги, — а ограничивался бы именно той целью, которая обозначена в самом названии книги — дать общее представление о «Плеханове, как методологе литературы». Последнюю же, более узкую и скромную, задачу автор решил, как кажется, более или менее удачно.

В заключение нельзя не указать на один дефект работы М. Яковлева, который, несомненно, способен вызвать у многих читателей чувство досады. Несмотря на то, что вся она строится и «держится» на цитатах, автор обращается с последними, к сожалению, весьма небрежно. За редкими исключениями, если и упоминается самое название источника, то без указания страницы. Часто же цитаты лишены даже указания и на самый источник, откуда они заимствуются, наконец, нередко цитаты лишены даже кавычек, и бывает трудно определить, где кончаются чужие слова, а где мы имеем дело с изложением чужих мыслей собственными словами. Все это наблюдается так часто, что приводить примеры излишне: достаточно открыть любую страницу, чтобы лично в этом убедиться. Навряд ли в научной работе подобное обращение с цитатами можно признать допустимым. Дело тут, конечно, не в отсутствии доверия, а в том, что вдумчивый читатель, к беспрекословному доверию которого автор апеллирует, лишается таким образом возможности самостоятельно разобраться в трактуемых вопросах, идя по следам самого же автора и его источников.

## 4. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЖАНР В ИСКУССТВЕ ЗАПАДА

Я. Тугендхольд

Задача современного художника — резко освещать упадочность капиталистического общества и выдвигать великую коллективную силу борющегося за свое освобождение международного пролетариата.

(«Из письма Петера Альма».)

## I

Вследствие оторванности нашей от художественной жизни Западной Европы, у нас установилось представление об ее искусстве, как об искусстве чисто формальном, сплошь аполитическом, и мы готовы были чуть ли не противопоставлять ему в качестве единственного мирового образца наш АХРР. Первую трещину в этом нашем представлении произвела прошлогодняя выставка послевоенного германского искусства, организованная Межрабпом: от нее уже повеяло острым и тревожным духом европейской послевоенной действительности. Второй и окончательный удар ему нанесен недавней выставкой «Революционного искусства Запада», устроенной Гос. Академией Худож. Наук. Эта выставка, явившаяся своего рода смотром наиболее передовых художников Австрии и Германии, Бельгии и Франции, Венгрии и Голландии, Чехо-Словакии и Америки, доказала, что и они не чужды революционной тематики, что и они не глухи к пережитой эпохе великих общественных потрясений. Социальный жанр в современном искусстве Запада—вовсе не миф: он существует, имеет свою традицию, свою диалектику. Не миф, но факт, и самое существование художнического интернационала, небогатого количественно, но уже богатого первоклассными именами.

И пусть эта московская выставка в силу технических трудностей оказалась небольшой и не без значительных пробелов, но она ярче, чем какая бы то ни было книга, показала, что на Западе бурлит острая классовая борьба, вскипая и на поверхности искусства. Ибо это искусство в лице наиболее честных своих представителей все более и более ощущает упадочность капиталистического строя, неустойчивость буржуа-

зии, как мецената, и наоборот—потенциальную силу пролетариата.

Революционизирование художественного сознания западно-европейской интеллигенции обязано своим происхождением двум главным факторам. Во-первых, мировой войне, вскрывшей весь ужас капиталистической цивилизации, всю ложь пацифистской идеологии. И, во-вторых, — войнам революционным, гражданским, прокатившимся по миру под влиянием нашего Октября. В такой же мере, в какой цветение социального жанра в прошлые эпохи обязано было революционным запашкам 48-го года (Курбе и Домье), а затем и Коммуны 71-го года (Стейнлен), новый прибой революционного чувствования в европейском искусстве обязан Октябрьскому толчку и вызванным им в Германии, Венгрии и других странах волнам. Не даром символ «Серпа и Молота» фигурирует в столь многих экспонатах выставки; не даром устроителям ее удалось составить целый уголок «Лениниады» (из произведений Петера Альмы, Крота, Зейферта и других), а в чехословацком отделе мы находим целых две серии иллюстраций к «Двенадцати» Блока (Райхенталь и Машек).

Однако эта известная тематическая зависимость современного «авангардного» искусства Запада от нас не должна заслонять другого факта. В области формы, в области художественной интерпретации западно-европейское искусство развивается своим собственным путем, говорит на собственном языке, и этот язык чрезвычайно интересен для нас, варящихся в собственном соку. Вот почему выставка революционного искусства Запада, показавшая нам подлинники многих художественных произведений, знакомых нам до того лишь по репродукциям (как, напр., творчество Стейнлена, Ма-

зереля и др.), и более того—впервые открывшая перед нами совсем незнакомые крупные имена (как, напр., голландцы Альма и Кроп и особенно венгерец Белла Уитц),—целое «событие» на нашем горизонте.

## II

Эта выставка, правда, была недостаточно полна, чтобы обрисовать перед нами исторические истоки революционной традиции в искусстве Запада: для этого в ней не хватало многих страниц (особенно Домье). Она охватывала лишь последнее двадцатипятилетие, вернее, десятилетие. С другой стороны, как увидит читатель, не все показанное на ней—от революции, но и от реакции, не от мужества, но и от испуга. Но, так или иначе, и в том виде, в каком выставка эта была развернута перед нами, она с большой логичностью выявила различные этапы социального «возмужания» западно-европейского искусства, а соответственно этому—и эволюции его формы в сторону все большего и большего заострения и четкости.

В этом смысле, на самом правом флапте выставки—творчество англичанина Франка *Брэнговина*, одного из крупнейших мировых мастеров в области офорта и литографии. Художник большого размаха, Брэнгвин охватывает, в своих на редкость больших для гравюры листах, всю капиталистическую, торговую и мореходную Англию. Ему принадлежит несомненная заслуга—художественного «открытия» этой современной индустриальной Англии. Вспомним, с каким идеалистически-донкихотским упорством сопротивлялось машинизму прежнее эстетическое сознание англичан в лице Рескина, Морриса, социалиста В. Крэн, префаэлитов, которые противопоставляли машине красоту средневековья и средневекового ручного труда,—и нам станет понятным своего рода «революция», произведенная Брэнгином. Он первый из англичан повернулся лицом к современности с ее инженерией и металлургией; он первый возлюбил чудовища индустриализма: громады заводов и шахт, дымные вокзалы и поезда, ажурные мосты и верфи. Он первый ощутил своеобразный пафос

современного крупно-городского пейзажа. Брэнгвин—пейзажист торжествующего урбанизма, почти его апологет. Капиталистическая цивилизация захватывает его лихорадочно-деловитым темпом своего строительства, вдохновляет его величием своей «колоссальности», своим архитектурным размахом. Показывает Брэнгвин и тех, кто строит эту цивилизацию, кто возводит эти колоссы архитектуры—людей труда, пролетариат. Этот пролетариат фигурирует у Брэнговина то в виде людской массы, суетящейся и копошащейся у подножья гигантских судов, мостов и шахт, то в виде отдельных работающих фигур, полуобнаженные тела которых светятся на темном фоне той или иной трудовой обстановки. Брэнгвин заставляет дефилировать перед нами все отрасли труда—бурлаков, носильщиков, каменщиков, пильщиков, шахтеров—каждую со своим собственным трудовым жестом и ритмом. В этом отношении Брэнгвин столь же наблюдателен к телодвижениям труда, как и бельгийский скульптор, Константин Менье. Но не даром во всей этой брэнговинской черно-коричневой поэзии дыма, копоти и тумана, как и в самой его рембрандовски-контрастной манере, есть какая-то мрачность. Рабочий люд Брэнговина—это пролетариат еще на самой первой ступени развития; мощный физически, он—еще лишь послушный раб этой капиталистической цивилизации, лишь винтик в ее машине, лишь неотъемлемая часть ее «индустриального пейзажа». Пролетарии Брэнговина почти всегда—с согбенными спинами (его излюбленный мотив) или в усталой подавленности. Брэнгвину, как типичному британцу, еще не приходила в голову мысль, что эти рабочие спины могут выпрявиться во внезапном порыве, нарушив весь заведенный ход этой капиталистической машины. Творчество Брэнговина—*вчерашний* день английского пролетариата, еще не знавшего всеобщей забастовки и забастовки горняков.

Если в искусстве Брэнговина мы видим в сущности социально-бытовой пейзаж, то у другого представителя старшего художественного поколения—

Стейнлена (1859—1923)—«социальный жанр», как таковой, уже эмансипируется от пейзажа. Человек, народ, пролетариат—вот что находится в центре внимания Стейнлена. Обозревая искусство Стейнлена, жившего в классической стране измен (вспомним только антимилитариста Густава Эрве и художника-антимилитариста Жоссо), невольно преклоняешься перед рыцарски-верной любовью этого художника к парижской бедноте, выразителем которой он был в течение целых десятилетий. Рассыпанное по всем передовым журналам и газетам Франции, иллюстрировавшее наиболее популярные ее издания от монмартрских песен Бриана до «Интернационала» Потье, от «Песен нищих» Ришпена до «Крэнкбиля» Анатолья Франса, пестревшее плакатами на стенах всех парижских домов, искусство Стейнлена—поистине социальная летопись Франции за последнее полувековье. Не было ни одного общественно-события, на которое не откликнулся бы художник—будь то забастовка, локаут, дрейфусиада, полицейские эксцессы, борьба с клерикализмом. Этот популярнейший среди широких масс Франции и Европы художник был, вообще говоря, первым художником-социалистом не в английском, утопическом, а в собственном смысле этого слова. Ему принадлежат первые социалистические плакаты и серии пропагандистских рисунков, вскрывавших классовые противоречия, и, что особенно знаменательно сейчас, он первый изобразил идею смычки—союз рабочего и крестьянина, городского пролетария и батрака. И только в начале войны идейная стойкость Стейнлена, как и большинства западно-европейской интеллигенции, поколебалась. Но, начав свою серию военных рисунков с патристически-восторженной мобилизации, он вскоре увидел и в бесчисленных рисунках имел смелость показать *оборотную сторону* войны, ее быт—голодные женские очереди, беженцев, инвалидов и т. д.

Стейнлен—наследник Домье. Но все же у него не было силы иронии и силы гнева великого сатирика. Да и эпоха формирования стейнленовского таланта

была уже не та. Он попал в Париж из Швейцарии через несколько лет после разгрома Коммуны, в период реакции, в пору «малых дел». Мелкобуржуазная Франция оказалась еще неподготовленной для социального переворота. Революция осталась лишь в виде смутно реющей над пролетариатом «мечты»—летающей женщины в фригийском колпаке, к которой тчетно простираются руки рабочих (любимый мотив Стейнлена). Пролетариат ушел в свои большие житейские горести, в свои маленькие жизненные радости. И Стейнлен последовал за ним—в самую гущу повседневности. Мы не найдем у Стейнлена мотивов промышленного труда,—он изображал не столько труд, сколько быт, и не столько промышленный пролетариат, сколько люмпен-пролетариев, мелкую бедноту; только сейчас ведь Франция становится крупной индустриальной страной.

Но Стейнлен никогда не опускался до обывательщины, до пресного «бытовизма». В пестром мелькании парижских улиц, в скромном домашнем счастье бедняков Стейнлен следил за беги неиссякающей народной *жизнерадостности*. В его образах матерей, детей, разносчиц, швей и т. д. сказались глубочайшая любовь художника к «малым сим», его бесхитростная любовь к реальности. Ибо Стейнлен—реалист (вот почему его аллегории всегда так беспомощны). А в связи с этим—и весь облик его творчества, темпераментного, но в сущности незлобиво и лирического, и самая его манера—импрессионистически-эскизная. Не даром Стейнлен—один из несравненных мастеров литографии, наброска, сочной и трепетно-беглой зарисовки, полной характера и движения. Не даром он один и из первых проводников японского влияния в европейское искусство—броского пятна и синтетической линии.

Творчество бельгийца Франса Мазереля знаменует собою иную стадию «городского» мироощущения. Стейнлен любит маленькие улочки и народные кварталы Парижа. Мазерель—художник *города вообще*. Он—дитя современности,—все более стирающий грани

между Парижем, Лондоном, Нью-Йорком и все более заостряющий социальные углы капиталистического города. Растут к небу небоскребы и фабричные трубы, но зато внизу, на земле, растет проституция, теснота, нищета. Стейнлен—реалист, бытописец города; Мазерель—его фанатический изобличитель. И то, что у Стейнлена завуалировано ласковым сочувствием, у Мазереля кричит и вопит черным по белому. Мазерель, прежде всего, график. Даже тогда, когда он берется за живопись, из-под кисти его рождается какая-то особенная, специфическая, «урбанистическая» гамма—мишурно-едкая феерия черного, лилового, зеленого. Но его стихия—это игра контрастами, резкими черно-белыми пятнами. Окружающее кажется ему калейдоскопом рассыпающихся арабесков, бесконечным мельканием силуэтов. Он даже не столько гравер, сколько график, ибо в его гравюрах на дереве больше темпераментной спешки, чем любви к материалу. Мазерелю всего 37 лет, но он уже автор 10.000 гравюр и рисунков; ему не терпится показать все образы, которые ежедневно и ежечасно стучатся в его сознание. Он творит сериями, циклами, целыми фильмами, но каждая его гравюра, как короткая городская новелла, композиционно замкнута в себе самой, до краев насыщена и наполнена роem образов.

Мазерель—несомненно большой талант, в котором есть стихийность Бальзака и неистощимая энергия какого-то современного Уленшпигеля. Правда, в нем немало сложного и воспринятого. В его творчестве сказывается и японизм (воспринятый через Тулуз-Лотрека), и старая фламандская «чертовщина» Босха и Брейгеля. Почти в каждой гравюре Мазереля фигурируют чертенята, мелькающие под ногами толп, какие-то «демоны» мещанства, обывательщины, злословия, пошлятины. Любит Мазерель прибегать и к старинному народно-лубочному приему—показывать человеческую душу в «разрезе», вскрывать «змеящиеся» в ней пороки. Таков, например, его «Деловой человек», вскрытый скальпелем художника, с нутром, начиненным желаниями: «разбогатеть,

поесть, попить». Но все эти условности, сближая Мазереля с какой-нибудь средневековой «Библией бедных», не лишают его творчества убедительности, конкретности, современности. По существу, у Мазереля нет мистики; наоборот, у него есть определенная социальная установка, четкое понимание хитрой механики социального строя.

Мазерель—страстный изобличитель буржуазной демократии, мещанских толп, движимых животными интересами, волчьими инстинктами, конкуренцией всех против всех. Но в одном объединяется эта толпа—в охоте за женщиной. Женской доле в современном городе посвящено огромное количество работ Мазереля, и как раз там, где его предшественник и соотечественник, Ропс, видел демоническое владычество женщины, Мазерель вскрывает обратное,—ее социальную, экономическую порабощенность городу, коллективному буржуазному самцу. Такова, например, одна из наиболее выразительных вещей Мазереля «Ужас»—обезумевшая от отчаяния женщина, одинокая в кольце каменных домов и озверевших толп. Особенно ненавидит Мазерель «дельцов» нашего времени, раг-вепуев, выскочек, финансистов и бюрократов, типы которых у него поистине—средневековые дявольские маски.

Большое место в творчестве Мазереля занимает война, довершившая социальное развитие Мазереля. Резче, чем кто-либо, вскрывает он пружины войны—капитализм и империализм и ее благословителей—клерикалов. И Мазерель уже знает, где выход из этого кровавого хаоса: на одной из своих гравюр он рисует братание солдат с пролетариатом—призыв от войны внешней к войне гражданской.

### III

Совершенно очевидно, однако, что наиболее глубокие следы оставила война в искусстве победенной Германии. Здесь на первом месте должна быть поставлена Кетэ Кольвиц, престарелая и все еще юная духом и талантом художница-гравер. Ее социальные симпатии обнаружили уже давно—в двух

прекрасных сериях офортов: «Ткачи» (к Гауптману) и «Крестьянская война». Но в них была еще какая-то дряблость. Современная война научила художницу большей остроте и лаконизму. Прежние офорты К. Кольвиц были рассказами о событиях; ее послевоенные гравюры и литографии—это крик, исторгнутый событиями. В ее вдовах и сиротах Германии, в ее фигурах матерей над трупами сыновей, в ее голодных детях, требующих хлеба,—какая-то предельная, доходящая до трагического, выразительность. И вместе с тем, как во всем подлинно трагическом, в них нет истеричности, чрезмерности; эти женские и детские группы—монументальны и пластически компактны, и в густоте их черного тона есть подлинно скорбный пафос. Произведения К. Кольвиц—величайший памятник мировой бойни.

К. Кольвиц удалось переложить свою скорбь на язык искусства; другие художники послевоенной Германии, наоборот, сделали искусство отдушиной своего душевного смятения, нервного потрясения, мистики. Ужасы войны ввергли их в хаос отчаяния, а недоделанная революция и наступившая реакция словно выхватили последнюю почву из-под их ног. Одна из литографий Бекмана так и называется «Разочарованные»—интеллигенты, развалившиеся в безвольных позах, при чем в руках у одного из них, очевидно, утративший силу «Призыв» К. Либкнехта. Какой-то болезненной гипертрофией выразительности (а это и есть «экспрессионизм») проникнуто творчество большинства этих художников-немцев—Марты Штраг, Феликсмюллера, Герле, Дикса. Люди на гравюрах Феликсмюллера—словно скрюченные и вытянутые жилы, какие-то извивающиеся языки пламени. Герле—весь во власти ужаса перед механической войной и механизацией вообще; его произведения—наводнения людей-инвалидов, людей-протезов, людей-обрубков.

У Дикса, создавшего потрясающий цикл гравюр «Война», та же повышенность восприятия в отношении другого зла современности—проституции. Не чужд ее и сам Гросс, острейший рисовальщик и сатирик Германии, с глу-

бочайшей ненавистью высмеивающий республику Носке и Шейдемана—военщины и мечанства, разврата и ханжества.

В лице Гросса и других более молодых художников послевоенное искусство Германии нащупывает уже некий выход из этого тупика отчаяния и мистики. Этот выход—в *приобщении к активно борющемуся пролетариату*, который один только может обеспечить будущее от «ужасов войн».

К. Кольвиц, Гросс, коммунисты Зейферт и Иогансон уже обслуживают коммунистические издания, выступают под знаменем МОПР'а и Компартии Германии. Вот факт исторического значения, заслуживающий быть отмеченным и в отношении других стран. *Диалектика событий, эпоха бури и натиска приводит не второстепенных, но лучших мастеров Европы к позиции борющегося пролетариата.*

Правда, и здесь художника ожидают новые «ужасы». Так, норвежец Клуге и голландец Петер Альма в многочисленных работах изображают прелести белого террора—политзаключенных, их пытки и казни (Клуге делает это реалистически, П. Альма—с большой синтетической силой, как, напр., его «Памяти павших товарищей в Эстланде»). Но не это главное; главное—это тот «активизм», та *динамическая энергия*, та твердая страстность, которую черпают эти художники—голландцы П. Альма и Кроп, австриец Нистлер, венгерец Белла Уитц—от приобщения к самой стихии борющегося пролетариата.

Изображая восстания, Петер Альма подчеркивает, прежде всего, широкие, согласованные и стремительные движения коллектива. Руки и ноги масс—словно один выброшенный вперед жест. Но это симметрия не египетских рабов, это симметрия организованной воли. Отсюда и схематизм, несколько чрезмерный и жесткий у Петера Альмы. Если у Стейнлена человеческая фигура синтезирована лирически, если у Феликсмюллера она—обнаженные нервы, то у П. Альмы это, прежде всего, волевая схема, боевая формула. Такой же формулы, но не борющегося, а работаю-

щего, человека ищет венгерец Цильзер. Ничего—придут другие художники и наполнят эту голую формулу кровью и плотью живой реальности!

Отчасти они уже пришли. Я разумею венгерца Белла Уитца и австрийца Нистлера,—прекрасных, впервые увиденных нами мастеров. Еще не так давно Уитц, политэмигрант Венгерской Советской Республики, живущий в Париже, занимался поисками абстрактных «идеологических форм» в виде гомеометрических построений. Последние же его работы—«Луддитское восстание» (цикл 14 офортов)—отмечены огненной страстью, сверх-человеческой динамикой (не даром художник пленен китайским искусством с его сценами борьбы) и, вместе с тем, тягой к монументализму. Другое превосходное произведение Уитца, его альбом «Против империалистической войны» («Contre la guerre imperialiste»—издание «L'Humanité»), исполнено необычайно острой характеристики в обрисовке типов буржуазного мира (оффисера, попа, капиталиста) и, в то же время, проникнуто той же строгостью композиции, доходящей здесь до фанатизма; так, даже раненых и убитых пролетариев художник размещает в каком-то дисциплинированном порядке—словно и умирая они думали об организации!

Эта же черта—монументализм—и в творчестве Нистлера. Его цикл 18 рисунков «Чартистское движение»—патетическая поэма борьбы, поражения, мук, энтузиазма. Но об'ектом этой борьбы является не человек, а *человек-масса*, единая в своем коллективном напряжении. И эти стройно идущие, единодушно наступающие и яростно сражающиеся фигуры Нистлера—едва ли не сильнейшее впечатление выставки. Правда, и Уитц и Нистлер ищут вдохновения в прошлом, в героике прошлого, но ясно, что здесь «обратная перспектива», что подлинным вдохновителем их является современность, современный пролетариат, современная социальная революция. Она дает им тот свежий заряд, которого не было у Стейнлена.

Мы видим: растет мировое пролетарское движение, а вместе с ним револю-

ционизируется сознание художников, дисциплинируется и заостряется их способ выражения. От лирически мечтательного импрессионизма Стейнлена через интеллигентский психологизм германских «экспрессионистов» к четкому динамизму (дух борьбы) и монументализму (дух организации)—такова эволюция формы в области «социального жанра».

#### IV

Какой же урок для себя можем мы извлечь из этой выставки? Прежде всего, тот, что пора оставить чисто славянофильское самообольщение; что будто бы лишь у нас процветает революционное искусство. Наоборот,—и это не вина, а беда наша,—нам нужно еще создать его—ведь у нас нет тех больших традиций (Домье, Делакруа), которыми обладает Запад. Затем, у нас ещё нет мастерства—его надо выковать. Сила художников-революционеров Запада в том, что они органически сочетают подлинный пафос содержания с подлинным мастерством формы.

Правда, как мы видели, это «содержание» нередко еще во власти меланхолии и мистики (германский экспрессионизм), но у лучших художников оно исполнено активизма, энтузиазма, подлинной революционной страсти. И вот эту страсть свою западно-европейские художники умеют облечь в адекватную ей современную форму. Ибо иначе и не может быть: каждое действительно новое содержание всегда прокладывает себе и новое русло формы, новые берега, новый выразительный язык. Эту форму они еще не нашли, но они ее ищут упорно и искренно. Мы же ищем—мало. Мы готовы пойти по линии наименьшего сопротивления, т.-е. попросту... вернуться к передвижникам.

Теоретически возможна была бы такая точка зрения: если на Западе—кипение, то у нас, в стране революции *победившей*,—успокоение. А следовательно: если в революционном искусстве Запада—крайняя заостренность и взволнованность содержания и формы, то у нас—эпически-спокойный реализм. Мы свое уже сделали: в период

гражданской войны в нашем революционном плакате (несомненно, повлиявшем и на западное искусство) было достаточно «крика», достаточно гротеска, достаточно «динамики». Теперь, мол, нужно другое—правдивое отображение реальности. Действительно, история искусства свидетельствует о том, что победоносные революции приводят к расцвету бытовой живописи, «бытописи», к утверждению в искусстве нравов и типов победившего класса (голландский реализм XVII века, мещанская живопись Греза и Шардена времен Французской революции). Однако едва ли эти исторические прецеденты могут быть притянуты к нашей современности? Не те времена. И не тот класс. Победившая голландская или французская буржуазия самодовольно видела в добродетелях и привычках своего класса—предел не только своего, но и общечеловеческого идеала. Современный

пролетариат этого самодовольства чужд; он рассматривает себя, как переходное звено к обществу будущего; он не может почивать на лаврах; он революционен в каждый данный момент своего бытия. Реальная данность сегодняшнего дня—для него лишь ступень на лестнице дальнейшего восхождения.

Вот почему и в нынешнюю эпоху «мирного строительства» в нашем искусстве не должно быть места пресному бытовизму: наши будни полны героики и романтики лишь нуждающихся в художественном обнаружении. И революционное искусство Запада,—лишний раз напомнившее нам о том, что успокаиваться еще рано, что мы—в окружении мира, где еще кипит ожесточенная классовая борьба,—должно послужить и для нас уроком горячего художественного пафоса.

## 5. СТИЛЬ 2 МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

### В. Волькенштейн

#### 1

**В**опрос о стиле—точнее, о недостаточной отчетливости стиля 2 Московского Художественного театра станет понятнее в связи с хотя бы кратким биографическим очерком 2 М. Х. Т.

2-й Московский Художественный театр возник в подпольи—буквально, в подпольи. Изображая «голоса» в спектакле «Анатэма», будущие актеры 2 М. Х. Т.,—тогдашние сотрудники 1 М. Х. Т.,—сидели под сценой и зывали: «Давид Лейзер! Давид Лейзер!» или что-то в этом роде.—Первые шаги на пути искусства бывают скучны и мучительны.

Бывает подполье революционное, подполье бунта и мятежа. Бывает подполье религиозное, подполье сектантско-скрытников, подполье Достоевского. И бывает подполье ученичества, ремесленничества—в подвале большого предприятия усваивают и хранят ученики навыки мастера.

1 Студия—будущий 2 М. Х. Т.—была подпольем ученичества—и подпольем религиозным, точнее, религиозно-нравственным.

Студийцы были верными учениками Станиславского. Впоследствии—об этом речь впереди—Вахтангов возымел дерзость усомниться во всеобъемлющей правильности «системы»; но долгие годы властная и обаятельная фигура учителя довела над «подпольем»; его слово было законом; после годовой работы над студийной постановкой—над «Потопом» или «Балладиной»—он являлся на последние репетиции, сокращал текст, менял последовательность сцен, изменял образ, намеченный актером, давал пьесе и отдельным ролям свое толкование. Он выдергивал белые нитки, перекраивал и переиначивал; попутно он преподавал и наставлял. Весь, или почти весь, репертуар 1 Студии—«Сверчок на печи», «Калики переходящие», «Потоп», «Праздник примирения», «12-ая ночь», «Балладина» и т. д.

(менее всего «Гибель Надежды» — первая постановка Студии, работа Болеславского) — прошел его редакцию. Ему принадлежало художественное завершение спектакля.

В 1 Студии Станиславский был, пожалуй, более самовластным мастером, нежели в 1 М. Х. Т.

Однако общее постоянное руководство Студией было им поручено Сулержицкому — и Сулержицкий, а не Станиславский, дал 1 Студии ее первоначальное направление.

Сулержицкого занимала, прежде всего, *этическая эмоция*, возбуждаемая спектаклем; в этом смысле он был последовательным толстовцем.

Подчиняясь Станиславскому в приемах театральной работы, он с ним неоднократно расходился в общем толковании пьесы. Сулержицкий восхищался великолепным дарованием Станиславского, но полагал, что главная его сила — красочная фантазия. Глубокомысленный автор системы «переживаний» представлялся Сулержицкому замечательным театральным мастером, пренебрегающим иногда общим смыслом пьесы ради чисто-сценической выдумки. Станиславский допускал эту критику и прислушивался к ней. Сулержицкий был менее всего догматичен; среди толстовцев он был, вероятно, наиболее живым и непосредственным. Необыкновенно общительный, отзывчивый и жизнелюбивый, он проводил долгие часы в беседах с актерами, воодушевляя их к творчеству. Детальный анализ пьесы, ролей и приемов актерской игры, столь характерный для М. Х. Т., принимал в этих беседах оттенок художественно-нравственной исповеди. Следует заметить, что Сулержицкий не был ни проповедником-теологом, ни мистиком. Его искусство стремилось к конкретной цели: искусство человеколюбия — искусство сострадания — искусство угнетенных. В этом участии к судьбам беспомощных, смиренных и трогательно-чутких людей — смысл «Сверчка на печи»; в поисках моментов взаимной любви и понимания — значение «Потопа» и «Праздника примирения»; в неудержимом искании справедливости — трагедия «Калик переходжих»;

в сострадании к несчастным рыбакам, посылаемым на верную смерть жадным предпринимателем, — агитационная сила «Гибели Надежды».

В смысле художественного оформления театр в своих постановках был до аскетизма прост. Ставили в сукнах и полотнах, пользовались убогой бутафорией. Ученическое положение, необходимость долгие годы играть параллельно на двух сценах, отсутствие материальных средств, небольшая сцена и небольшой зрительный зал, — наконец, проповедь Сулержицкого — все это приводило иногда к полнейшему пренебрежению к тому внешнему *decorum*'у, которым привыкла щеголять театральная сцена.

Само по себе это было не плохо. В какой-нибудь простонародной среде такая простота могла бы сделаться своего рода *стилем*. Но ученики Сулержицкого все же не были сектантами; при этом Студия обслуживала ту же городскую интеллигенцию и буржуазию, крупную и мелкую, как и 1 М. Х. Т., — и эта публика была искушена в более изысканных зрелищах. Неудивительно поэтому, что примитив студийных постановок оказался не органическим художественным стилем, но необходимым суррогатом театральной формы, с которым мириться до поры до времени, но который надо было заменить. Да это, конечно, и не был настоящий «примитив»: постановки «Гибели Надежды», «Потопа», «Праздника примирения» и т. д. были сделаны в духе обычного в М. Х. Т. реализма и натурализма. Если можно было говорить о стиле первых постановок 1 Студии, то, конечно, только о стиле актерской игры. В этом смысле весьма существенно то, что сцена Студии была — без подмостков — прямым продолжением зрительного зала. Это придавало студийному натурализму особую интимность, стирало грань между живым впечатлением и художественным воспроизведением. Недаром враги Студии говорили о заглядывании в щелку чужой комнаты, о фотографичности, об уничтожении эстетического момента. Но там, где спектакли 1 Студии были в плане искусства, напр., в «Сверчке

на печи» или в «Росмерсгольме» (с участием Книппер и Леонидова), — там актерской игре была присуща особая острота, тонкая и четкая психологическая разработка роли. Наряду с постановками реалистическими, более нарядные опыты — «Балладина» и «12-ая ночь» — отличались ловкостью, упругостью сценических перестановок, но не вносили в историю романтического театра ничего существенно-нового. Таким образом, в Студии воспитывались и росли серьезные актеры, актеры мыслящие, актеры больших этических заданий, актеры, способные к созданию оригинального интимного стиля игры, но — по свойствам самой организации Студии — не ищущие во внешнем сценическом оформлении спектакля новых путей. И как только Студия начала крепнуть, перестала быть театром учеников-сотрудников, сделалась театром преемников М. Х. Т., — как только небольшое помещение, в котором она играла, оказалось недостаточно ни для артистов, ни для публики, — как только Студия перестала быть театром интимным и подняла свои спектакли на театральные подмостки, — мгновенно обнаружилась вся опасность внезапного расширения сценической перспективы. Интимность была утрачена, ее надо было заменить. Механическое перенесение интимного спектакля на большую сцену оказалось во многом разрушительным. Здесь требовались новые приемы постановки и игры. — Этическое воодушевление начало 1 Студии изменять. В конце концов и в 1 М. Х. Т. можно было назвать ряд спектаклей, проникнутых гуманитарным пафосом, столь характерным для искусства различных слоев русской интеллигенции. Разве не тем же искусством сострадания были спектакли Чехова — Гауптмана — Достоевского? Только там, в 1 М. Х. Т., это искусство, менее обнаженное, не столь интимно-волнующее, сочеталось с более крупными социальными перспективами, с заданиями более импозантной философствующей мысли. Там оно проявлялось в постановках, формально более продуманных. Рядом со 2 М. Х. Т. был театр родственного направления,

но более значительный. 1 Студия грозила участь эпигонов. Она должна была найти оригинальный стиль для большой сцены.

Между тем, вскоре после смерти Сулержицкого, в «подпольи» начался «бунт».

Новатором-революционером 1 Студии выступил Е. Вахтангов.

## 2

Станиславский сказал однажды пишущему эти строки, что в своих первых постановках в 1 М. Х. Т. он подчас руководствовался оглядкой на Малый театр и лозунгом «наоборот!». Этот вызов был далеко не столь наивен, как это может показаться иным утонченным умам. «Все наоборот!» — голос диалектики, глубокомысленной в своей энергичной простоте. «Все наоборот!» — это, так сказать, *психология антитезы*. Этим лозунгом бывали вооружены наиболее популярные, наиболее удачливые художественные направления. Контрастная смена *всех* элементов — тематики, семантики, фонетики и т. д. — в лирической поэзии <sup>1)</sup>; полная смена репертуара, приемов постановки, систем актерской игры — на сцене <sup>2)</sup>. Маятник истории качается широко — и мало шансов на успех имеют средние, сложные направления.

В истории русского театра мы наблюдаем борьбу театра натуралистического — реалистического и театра условного. Бытовая драма, передвижнические декорации и реалистическая игра, с одной стороны; драма романтическая и разнообразные приемы театральной конструкции, с другой; таковы основные антитезы нашей театральной диалектики. Мы видели иногда причудливые перемещения и сочетания: «Юлий Цезарь» в реалистической постановке 1 М. Х. Т. и «Лес» (правда, в сильной переработке) у Мейерхольда; но приблизительно каждые 10 лет меняет наша театральная жизнь свой основной тон.

<sup>1)</sup> В № 3 «Свитка» напечатана статья И. Розанова, где он убедительно показывает диалектическое развитие русской поэзии.

<sup>2)</sup> На это неоднократно указывал Станиславский.

Господствующим направлением М. Х. Т. было направление реалистическое— натуралистическое; естественно, поэтому, что Вахтангов, ищущий новых путей, начал с критики приемов реалистического театра.

Однако эта революция разразилась в условиях неблагоприятных. Прежде всего, она запоздала; такого рода взрывы и искания уже неоднократно возникали в недрах 1 М. Х. Т.—и начинщиком их был все тот же Станиславский, столь прочно укрепивший сценический реализм 1 М. Х. Т., но с 1906 г. (постановка «Драмы жизни») делавший неоднократные опыты театра условного. Не надо также забывать, что в 1 М. Х. Т. начал свою деятельность наиболее самостоятельный представитель условного театра—Мейерхольд. После разнообразных выступлений Мейерхольда, после опытов Комиссаржевского и др. романтиков русского театра, что нового, казалось бы, мог противопоставить Вахтангов Московскому Художественному театру? Антитеза натуралистическому— реалистическому направлению была давно создана. С другой стороны, 1 Студия была уже театром крепких навыков, очень дружным, очень слитным, достаточно консервативным для того, чтобы без энтузиазма встретить первые шаги своего революционера-новатора.

«Бунт» Вахтангова свелся, во-первых, к тому, что он об'явил себя поклонником Мейерхольда. Отныне он не мыслил спектакля вне оригинального сценического оформления. В частности, он подчеркивал необходимость настороженного внимания к достижениям современной живописи. Во-вторых, принимая систему Станиславского, Вахтангов внес в нее сознательную театральность.—Увлекаясь идеей сценических переживаний, Станиславский иногда впадал в крайности; он иногда слишком догматически проповедывал произвольное, бессознательное, стихийное возникновение сценических «приспособлений», то-есть жестов, движений и мимики на основе глубоко почувствованных сценических «задач», на основе «переживания». (В своей книге «Моя жизнь в искусстве» Станиславский указывает на возможность и об-

ратного хода от внешнего к внутреннему, но считает его менее плодотворным.) Вахтангов начал подчеркивать необходимость сознательного искания интересных, сценических приспособлений, он решительно утверждал примат жеста, движения и мимики над психологией, требуя для внешних «приспособлений» не только психологического, но и *стильно-художественного* оправдания. Он начал искать определенного стиля в «приспособлениях», связывая игру актеров с общей композицией постановки. Он работал так, как работают крупные театральные мастера.—Показателен «Гадибук», поставленный им в «Габиме», постановка, редкая в истории театра по органической спайке сценической композиции и актерского исполнения; кубистическое смещение плоскостей здесь великолепно гармонирует с четкой выразительностью угловатых жестов и движений. Большой цельюю отличается также «Турандот», в которой Вахтангов непринужденно и лукаво возрождает фантастические шутки *commedia dell'arte*, и—несколько менее законченные—«Чудо святого Антония» и «Эрик XIV»—первая его постановка этого периода (единственная, сделанная в 1 Студии)—спектакли утонченного и острого стиля—своеобразное, органическое сочетание элементов театра условного и усвоенных в 1 М. Х. Т. методов «переживания»—подлинный и изящный театральный *гротеск*.

Постановка «Эрика» знаменует собой поворот к театральности. Почва для этого спектакля была отчасти подготовлена «Балладиной», и «Дочерью Иорис». В статье «Первая Студия» (Московский Художественный театр Второй) П. Марков пишет: «Теперь, верная учению Станиславского... Студия вступает в период искания театральных форм». Интересно, что это стремление в мирозерцании Вахтангова было неразрывно связано с революцией. П. Марков приводит выдержки из его дневника: «Эта революция требует от нас хороших голосов, сценичности, особого темперамента и всего прочего, что относится к выразительности. Это революция требует от нас убрать со сцены

мещанство. Это революция требует значительности и рельефности». Вахтангов, подобно Мейерхольду, сознавал себя режиссером восставшей России; парадоксально, в причудливой форме романтического гротеска, отразился на его творчестве революционный под'ем.

1 Студия не сразу почувствовала всю важность этих выступлений. Характерно, что лучшие свои постановки Вахтангов осуществил на стороне. Но он все же успел внести в 1 Студию жажду оригинальной театральной поэтики. Он дал ей множество приемов новой актерской техники—он указал ей свободный путь. И именно его приемам дала 1 Студия на большой сцене широкое применение.

Невольно, в поисках яркой театральной формы, подчеркивал он индивидуальную ценность отдельных талантливых актеров. При его содействии достиг полного роста Чехов. Студия постепенно делалась Московским Художественным театром Вторым.

### 3

Отличная труппа: Берсенев — Бирман — Бромлей — Волков — Гейрот — Гиацинтова — Готовцев — Дикий — Дурасова — Корнакова — Подгорный — В. Попов — Пыжова — Смышляев — Сушкевич — Чебан — Чехов и многие другие... Не менее крепкая группа постановщиков: Дикий — Смышляев — Сушкевич — Чехов... Перед нами сильный, энергичный, прочно-организованный театральный коллектив. Тем требовательнее должна быть наша критика.

Главным недостатком 2 М. Х. Т является какая-то неопределенность его серьезного лица. Вопрос художественного направления так и остался неразрешенным. Рассказанная нами биография 2 М. Х. Т. дает этому об'яснение.

Быть может, ни один из русских театров не прошел столь трудных испытаний. Путь 1 М. Х. Т. (неизбежное сопоставление) был, конечно, не менее труден, но он был прямее — он был счастливее. Уже первые спектакли

1 М. Х. Т. были спектаклями новаторов — полновластных мастеров; 2 М. Х. Т. начинал в «ученичестве». В «подполье» его укрепляло моральное руководство Сулержицкого; Сулержицкий умер. Стремясь к художественной оригинальности, к самостоятельности, театр постепенно отходил от Станиславского; однако творческий под'ем Вахтангова длился недолго. Наконец, руководителем театра сделался Чехов, выдающийся актер.

В творчестве Чехова-актера есть черты, роднящие его с режиссером (и актером) Вахтанговым: то же сочетание утонченности и выразительности, то же искание фантастического в реальном, тот же вкус к гротеску (вспомним хотя бы Хлестакова, сыгранного им в 1 М. Х. Т.). С другой стороны, он одушевлен пафосом сострадания, более отвлеченным, более далеким от жизни, нежели Сулержицкий, но все же ему родственным. Таким образом, Чехов со своим формально-художественным свойствам и по своему идейному воодушевлению отчасти об'единяет стремления Сулержицкого и Вахтангова. И действительно, в образе самого Чехова-актера есть в этом смысле нечто синтетически-ясное. Это — актер вполне законченного стиля. Однако возглавляемый им 2 М. Х. Т. этой цельности лишен; здесь мы наблюдаем развитие совершенно несогласованных между собой, разностильных художественных тенденций.

В целом ряде последних постановок 2 М. Х. Т. мы видим неудачное применение приемов Вахтангова — или вахтанговской традиции — приемов гротеска.

Существенно следующее: вахтанговский гротеск был оригинальным и уже зрелым стилем, но стилем некрупным, стилем небольшой сцены. Перенесение его приемов на большую сцену было делом весьма деликатным и затруднительным, сложной театральной задачей. 2 М. Х. Т. эту задачу не разрешил. В этом смысле поучительна судьба «Эрика XIV», перенесенного с малой сцены на большую: постановка в сильной мере утратила свою остроту. Реалистические постановки, как, напр.,

«Гибель Надежды» или «Потоп», оказались, пожалуй, более устойчивыми.— В дальнейших своих работах театр либо 1) огрубляет приемы Вахтангова (в «Петербурге»), либо 2) дает им сомнительное, неподходящее к литературному материалу, применение (в «Гамлете»), либо 3) производит непроработанное смешение гротескных приемов с приемами реалистического театра (напр., в «Евграфе—искателе приключений»).

Холодной выдумкой веет от «Петербурга»: характерный спектакль символического гротеска. Здесь действительность—как бы кривое зеркало некой сокровенной жизни, внезапно проступающей в обыденности. Надо заметить, что инсценировка Белого—задание весьма специфическое—дает неблагоприятный сценический материал. Как играть Белого? Что может сделать театр из этих многозначительных, но не сценичных вздрагиваний, вещаний, полуприкосновений, киваний и содроганий? Диалог Белого тускло прозвучал со сцены; тяжеловатая фантастика постановки не передавала экзатичности Белого, его вихревой ритмики. Отдельные **частности спектакля, отдельные исполнители** были интересны,—прежде всего, конечно, Чехов, создавший рельефный и многогранный образ Аبلеухова,—но социально-художественное назначение спектакля было неясно. Свойственный Чехову дар сострадания придает Аبلеухову, наряду с чертами карикатурного вырождения, некое обаяние измученного, затравленного человеческого сердца. И совершенно разрушает это сложно-волнующее впечатление финал революционного восторга по поводу смерти Аبلеухова. Быть может, без этого финала пьеса возбудила бы сомнения цензуры; революция высоко ценит искусство сострадания, но не тогда, когда оно посвящено ее врагам. Как бы то ни было, в том виде, как он показан, спектакль лишен подлинного темперамента, его художественная природа искажена.

Другая постановка вахтанговской гротескной традиции—«Гамлет»—наиболее значительное задание 2 М. Х. Т. Этот спектакль, эмоционально-насы-

щенный, весьма серьезный, все же также не является спектаклем большого и цельного стиля. Гротескное обострение дает в трагедии неожиданный и сомнительный результат: оно лишает трагедию подлинной монументальности и превращает ее в мелодраму. Трогательно, волнующе играет Чехов-Гамлет, одинокий, самоотверженный поборник справедливости; выразительна причудливая игра Чебана (в статье «Московский Художественный театр Второй и современность» Б. Ромашов указывает на преемственность манеры Чебана от японского театра); красива пантомима и т. д., но трагедийная проблематика спектакля стерта—отчасти вследствие несколько беззаботных и неловких купюр, отчасти вследствие того, что внешние данные Чехова не подходят к трагедии, главным же образом вследствие налета гротескной карикатурности и несколько истеричной чувствительности, которой этот спектакль отмечен. К тому же в постановке «Гамлета» театр прибегнул к уже использованным приемам театральной конструкции.—Надо, конечно, учесть грандиозную трудность задания. Величавые образы Шекспира нам слишком дороги и мы, вероятно, требуем от театра невозможного. Не надо забывать, что и 1 М. Х. Т. не сумел воплотить «Гамлета», сочетая фантастическую конструкцию Крэга с приемами реалистической игры. Однако замысел Крэга отличался монументальной цельностью—и тем самым был ближе к Шекспиру, нежели гротескный замысел 2 М. Х. Т.—Постановка «Гамлета» остается самым важным опытом 2 М. Х. Т. и публика ее недаром приветствовала, но все же это постановка сомнительного стиля, и она не определяет художественного лица 2 М. Х. Т.

Неудачным опытом на пути романтической драмы, воспроизведенной приемом гротеска, является «Король квадратной республики». Здесь, однако, очень вредили постановке недостатки пьесы—прежде всего, неотчетливость ее замысла.

С другой стороны, нельзя признать определяющим стиль 2 М. Х. Т.

спектакль «Укрощение строптивой»<sup>1)</sup>. Постановка эта имеет большие достоинства стройного, продуманного замысла. Здесь гротеск доведен до большой резкости, до грубости; в постановке есть размах откровенной буффонады. Однако широко использованные приемы *commedia dell'arte* проигрывают рядом с «Турандот» — спектаклем более оригинальным в своем утонченном изяществе. В «Укрощении строптивой» есть нечто от старинного театра — момент реставрационный; тем самым эта постановка — в своем роде ценная — не может открыть современному театру широкого пути. Родственен был «Укрощению строптивой» — также на пути *commedia dell'arte* — выразительный спектакль «Герой» Синга, отрывающий пьесу от ее бытовых корней. Обе эти постановки (а также близкая к ним «Блоха») — увлечение *commedia dell'arte*, само по себе яркое и бодрое оказало вредное влияние на реалистические спектакли 2 М. Х. Т. *Commedia dell'arte* приучила многих актеров 2 М. Х. Т. к навязчивой статуарности, к однообразию маски взамен постепенного разворачивания образа. Такая фиксация образа-маски поражает, напр., во многих ролях «Евграфа — искателя приключений», бытовой пьесы, написанной реалистическим приемом<sup>2)</sup>. В этой пьесе мы видим явную разностильность исполнения. Здесь мы видим, наряду с фигурами гротескными, как, напр., маникюрша — Бирман или нэпман — Чебан (превосходно сыгранные роли!), «нормальное», реалистическое исполнение, — напр., комсомольца — Благодрава и многих других, — исполнение, не спаянное с выдержанным сценическим оформлением. — Говоря попросту, в этом спектакле актеры играют «врозь».

Нужно сделать оговорку: здесь мы не производим всестороннего анализа

постановок 2 М. Х. Т., анализа, которого эти постановки заслуживают. Задача этого краткого очерка — проверка *стиля* 2 М. Х. Т., общая характеристика его художественного направления. Нам кажется бесполезным для публики — да и для самого театра — указывать на основные заблуждения, мешающие 2 М. Х. Т. в его сложных исканиях.

В этом смысле, когда мы ставим 2 М. Х. Т. вопрос его *стиля*, его общего художественного устремления, нас мало утешает постановка «Расточителя»: спектакль крепко прочувствованной игры, не претендующий на большие новшества, по заданию своему традиционный, реалистический спектакль 1 М. Х. Т. (все же несколько искаженный — хотя и в меньшей степени, нежели «Евграф — искатель приключений» — необоснованным гротескным обострением отдельных фигур). Не определяет *стиля* 2 М. Х. Т., конечно, и «Блоха» — яркий, занимательный балаган, нечто вроде монументальной «Летучей мыши», — спектакль, не лишенный, если угодно, и этического пафоса (трогательный образ гибнущего Левши в исполнении Волкова). — Весьма неудачна — именно в смысле *стиля* — постановка «Короля Лира»: непроработанное смешение приемов театра монументально-трагедийного, гротескного, реалистического — и кино. Такую постановку нельзя назвать эклектической, — это нечто несравненно худшее. Эклектической манерой мы бы назвали некую манеру, уравнивающую элементы различных направлений. Если угодно, эклектиком был Вахтангов, гармонически сочетавший элементы условного и реалистического театров. *Стиль* эклектический может быть стилем вполне определенным и весьма талантливым. В постановке «Короля Лира» не эклектизм, но полнейшее отсутствие *стиля* — стилистическая мешанина. И совершенно недопустимой кажется нам на большой художественной сцене пошловато-сентиментальная пьеса «В 1825 году», — мелодрама, приятная вкусу нового мешанства, уже упорно влияющего на наш театральный репертуар.

<sup>1)</sup> Комедия эта, характеризующая одну из основных тенденций 2 М. Х. Т., проработана театром незадолго до принятия Чеховым руководительства театром (вскоре после смерти Вахтангова).

<sup>2)</sup> На фиксацию образа, «готового» уже с 1 акта, характерную для многих спектаклей 2 М. Х. Т., указывал П. Марков (на диспуте о 2 М. Х. Т. в ГАХН'е (12 октября 1926 г.).

## 4

То, что волновало зрителя в 1 Студии—ее интимность, ее психологическая пронзительность (если так можно выразиться), эта «студийность», видимо, навсегда покинула 2 М. Х. Т.—Увлечение гротеском вахтанговской традиции не дает покамест на большой сцене — прежде всего, в трагедийном репертуаре — плодотворных результатов. Театр неосторожно вносит приемы, родственные *commedia dell'arte*, в постановки пьес реалистических. Репертуар театра, в общем интересный, но очень пестрый, подчеркивает художественную и общественную неуверенность 2 М. Х. Т.

Каковы же дальнейшие пути театра? Фатальные колебания большой, опытной и талантливой театральной труппы заслуживают большого внимания. Ясно, что 2 М. Х. Т.—театр, поставивший четыре шекспировских драмы,—не может успокоиться на путях бытового реализма. Перед ним возникает труднейшая проблема стиля: вопрос о вне-сении приемов гротеска в монументальные задания большой сцены, если угодно, вопрос о современной трагедийной постановке, о трагедии. «Сквозь ужас и сострадание»,—по слову Аристотеля,—ведет нас трагедия. Драгоценный дар сострадания завещан театру Сулержицким; и если судьба Гамлета-Чехова в нас вызывает не ужас, но тревогу, печаль и смятение, если Чехов играет не трагедию, но мелодраму, мы все же до глубины души пленены его глубокой душевной раскрытостью, его подлинным пафосом. Пусть это еще не трагедия; но ради этого стоит ставить пьесу, ради этого можно мириться с несовершенством формы—даже с отсутствием настоящего стиля. Прикосновение к большим духовным заданиям ощущается во многих постановках 2 М. Х. Т.—и отсюда должен расти стиль 2 М. Х. Т.

Всякий стиль есть оформление некой внутренней, органически-движущейся стихии. То, что у одного художника является подлинным лицом, у другого будет искусственной гримасой. Театром самобытного стиля может быть только театр, бесстрашно осознавший

и утвердивший свои художественные вкусы и общественные симпатии. *Стиль есть результат абсолютной цельности художника*<sup>1)</sup>. Иным — счастливым-Моцартам—эта цельность дается от природы; другие достигают ее после мучительной борьбы.

2 М. Х. Т. призван искать в искусстве не только «прекрасное» (говоря языком старинной эстетики), но и «высокое». И, думается нам, что опаснее всего для 2 М. Х. Т., для театра испытанного, но еще недозревшего в своих резких сдвигах и колебаниях,—это случайные уступки мещанским вкусам: незначительная «Любовь—книга золотая», пошловатая «В 1825 году». 2 М. Х. Т. относится к тем немногим театрам, которые не имеют права «халтурить», или даже отдыхать.

Спектакли 2 М. Х. Т. свидетельствуют о его внутренней раздробленности, о неустойчивости его художественных стремлений и вкусов. Театру явно нужно «собраться», *ощутить себя, как единую художественную волю*—и прежде всего ему нужна жестокая самокритика. Раздробленность, разрозненность художественных стремлений—плохой обмен веществ требует серьезного лечения. Однако трудно со стороны судить о вопросах внутреннего театрального устройства.

Труднейшую задачу ставит театру современная бытовая драма. Здесь он разделяет судьбу драматурга. В моей статье «Пути современной драмы» («Печать и революция», 1 кн. 1924) я писал о тех чрезвычайных трудностях, которые ставит драматургу быт революционной эпохи, быт непрочный, быстро меняющийся, и тем самым дающий материал только для беглых очерков, или пьес публицистического характера. Но опыты в этой области необходимы, и можно поэтому приветствовать постановку пьесы Файко. Из «Евграфа—искателя приключений» цельного спектакля не получилось, но отдельные яркие жанровые сцены (как, напр., сцены в парикмахерской и в пивной) в исполнении 2 М. Х. Т., несмотря на отсутствие стиля, очень занимательны.

<sup>1)</sup> Пусть это будет гротеск, то-есть цельность в нецельности.

Найти в классическом репертуаре пьесы, близкие современному зрителю, найти значительную современную пьесу... вопросы репертуара театром не

разрешены. Но только на пути крепко осознанного современного репертуара может 2 М. Х. Т.—после труднейших испытаний—обнаружить свой стиль.

## 6. ГОРБАТАЯ ЗЕМЛЯ

(В Дагестане)

Даниил Фибих

*Гассан и его конь. Пионеры на иной лад. Разговорчивый человек. Духовенство в Дагестане. Мечеть и «субботник» — кто кого?*

То обгоняя дребезжащую, развинченную линейку, то следом рысит Гассан, дорожный мастер - проводник. Ему лет за тридцать, у него сосредоточенно-задумчивое лицо, широкие челюсти заросли черным густым волосом, белки в красных жилках и кажутся розовыми. Он хорошо говорит по-русски.

Ближайшие горы стоят, как великаны в серо-зеленых травяных плащах. Округлые складки их лениво и плавно спадают с плеч, каменно волнуясь, лежат внизу в долинах. Великаны плащи—в темных крапинах кустарника, в зеленом каракуле дубняка, но то и дело в прорехах белеет первородный известковый костяк. Дальше лезут в небо кручи. Они слоисты, отвесны, профиль их грозен, они, как стены и бастионы апокалиптических твердынь. В ультрамариновую густую синь эти красноватые, будто обдgrenные кровью древних чудовищ, бастионы врезаются высоко, ярко и сурово. И будто титанический какой-то художник начал высекать на них барельефы нечеловеческих саг, неких немислимых Илиад, да так и бросил работу незаконченной.

На одном перевале, когда кругом свисли тяжелые мистериные завесы туч, и было глухо, холодно, мрачно, а тишина навалилась такая гробовая, такая глубокая, как будто в первые дни мира, Гассан спросил внезапно:

— Вы давно из Москвы?

Он лежал в буйной, девственной траве, закинув руки за голову, глядел на сизое, страшно близкое небо. Конь его бродил, похрустывая травой, линейка наша стояла. И, когда я ответил, он, помолчав немного, молвил:

— Значит, не при вас товарищ Дзержинский умер... Хороший человек умер... Жалко...

В ауле Аркас у невысокой, из каменных глыб сложенной, ограды очередная десятиминутная остановка. Лошадям задают овса, и они жуют, судорожно лягаясь, обмахиваясь хвостами, вздрагивая потемневшей от пота кожей—оводы и слепни с головками из зеленого шелка тучей стоят над ними, в кровь раз'едают животы, густо облепляют пах. Аул вдали, грудой серых кубиков, всполз на гору, и оттуда глухой лай, невнятный говор, меланхоличный петушиный вопль. Тишь ленивая, азиатская. На дворике сакли, у которой мы остановились, арба, уткнувшаяся длинным носом дышла в землю, джотый, рычащий пес, погрохивающий ржавой цепью. Гудят пчелы низко и густо, фарфорово белеют концы черепа на шестах, высунувшихся из кукурузы,—защита урожая от дурного глаза.

Из-под горы по тропочке ползла сюда вереница стогов сена. Они приблизились, и тогда откуда-то снизу глянули на нас налившиеся кровью, измученные, тупые глаза, показались корневища черных босых ног, ступавших медленно и грузно. Женщины запасались на зиму сеном. Женщины работали как обычно, ибо весь труд на них, и в глазах горца женщина вряд ли чем выше домашней скотины.

Пели приятно и звонко детские голоса. Еще не было видно, где и кто пел, но голосаплыли сюда. И вот из-за поворота, из-за кукурузы высыпали ребятишки. На длинном шесте над ними болтались черные, зеленые тряпки—знамя;—ребятишки семеняли по два в ряд, мальчики и девочки, босоногие, коричневые, черноглазые, во всю мочь распевали:

— Ла-алла, иль алла, ла-алла...

Низенький серый человек в громадной папахе, с лицом старого унтера, шел впереди, помахиывая в такт короткой ручкой. Магометанские эти пионеры промаршировали в саклю, у которой мы отдыхали. Потом вышли, каждый сжимая грязными пальчиками светлолиловое яйцо, оглядываясь на нас, и серый человек крикнул им по-русски, видно, желая щегольнуть перед нами:

— Марш спать!

Он подошел к нам,—«салам алейкум»,—сунул всем жесткую, как наждачная бумага, теплую руку и, присев на корточки, заговорил на всхлипывающем аварском наречии. Неизбежные вопросы—кто, откуда, куда едем?

Гудели пчелы, невидимые, басовитые, хрустел овес на плоских конских зубах, первобытный мир лежал кругом мощно и мирно. Человекек—я не знаю, кто он был: мулла, муталим, кадий—сидел на корточках, быстрые глазки у него мигали, унтерские усы, цвета старого грязного серебра, шевелились. Весь он был проворный, непоседливый, и слова сыпались проворные и бойкие, как он.

— Старый ты человек,—сказал Гасан, глядя на примятую траву, и похлопал кизилымовым прутиком по пыльному голенищу.—Старый человек, а глупости делаешь. Детей учишь... Поступил бы куда на службу...

Но человекек дипломатично не слышал... Человекек рассказывал, как сейчас плохо, бедно живут все. Раньше жизнь была красивая, люди красивые, одежда красивая. Разве он одевался так, как сейчас?.. Тысячу лет Россия будет—все так будет. А почему?.. Потому что другие державы не хотят помочь. Никто не поможет.

— Сами себе поможем,—сказал я.

Человечек сдвинул папаху ниже, встрепенулся, заморгал чаще:

— Учить народ надо сначала... Темный народ... Очень темный...

Когда мы собрались ехать дальше, опять сунул наждачную свою руку и долго кричал вслед:

— Счастливым путь! Дай бог хороший дорога!.. Дай бог!..

Не раз, проезжая аулы, слышал я дружное пение, летящее из медресе: ребятишки под наблюдением муллы распевали хором суры корана.

Власть духовенства, его значение и авторитет тут необычайны. Это понятно. Духовенство—все эти шейхи, муллы, кадии, алимы, муталимы—культурнейший слой горских племен, интеллигенция. Они проникли в тайны тайн древней арабской культуры. Они десятилетиями изучают ветхую и хитроумную мудрость пергаментных страниц корана. Арабисты Дагестана славятся на всем мусульманском Востоке. Из Бухары и Татарстана, из Хорезма и Персии, из Турции и Западного Китая шли сюда ученики припасть к источникам божественной мудрости.

Кроме того, духовенство—борцы за национальную независимость. В бою, с винтовкой и кинжалом в зубах, муллы идут первыми.

Из этой среды вышли Шамиль, Кази-Магома, сотни бойцов за национальную идею, погибшие в шестидесятилетней войне с русским империализмом, а в годы революции—имам Гоцинский и шейх Узун-Хаджи. В 1919 г. Узун-Хаджи образовал «Северо-Кавказское эмирство» под протекторатом султана турецкого, а имам Гоцинский, поддерживая союз с денкикинцами, был вождем местной контр-революции.

Их знамя—зеленое знамя пророка. Их идеал—первобытная патриархальная монархия эпохи Магомета. Ибо сказал пророк:

— Всё, что не предусмотрено кораном,—от лукавого.

От лукавого вся европейская цивилизация. От лукавого советская власть—безбожная, гяурская.

Магометанство демократично и всепроникающе. Демократизм этот—демо-

кратизм аравийских пастушеских племен, но он импонирует массе. Проникновение это настолько глубоко, что все человеческие взаимоотношения учтены, регламентированы, подведены под рубрики, отмечены в коране. Шариат—магометанское каноническое право—это полный свод законов, включающий гражданское, уголовное, семейное право, вплоть до правил санитарии и гигиены.

Наконец, что всего важнее, духовенство оказывает экономическую поддержку беднейшим. Для этого существует закят—обязательный сбор со всех магометан в размере  $\frac{1}{40}$  годовых доходов. По корану это идет на немущих.

И потому открытая проповедь атеизма в горах безуспешна.

— Он говорит против бога, против корана. Он безумец. Зачем слушать безумца?—скажут горцы, послушав слишком ретивого антирелигиозника.

Когда аульного коммуниста спрашивают:

— Как же это вы посещаете мечеть? Коммунизм—и мечеть, как это совместить?—он отвечает:

— Иначе я не буду пользоваться среди насения никаким авторитетом.

Впрочем, в Гунибе один партиец, правда, русский, рассказывал мне, как успешно он богоборствовал.

Дело было в Аварском округе, одном из самых фанатичных. В VIII веке, когда арабы принесли ислам в языческие еще горы, Авария первой омусульманилась.

В пятницу, праздничный день, когда аульный будун заунывно пропел с высокого минарета, правоверные потянулись из всех саклей.

По обряду, разувались у порога, рядами ставили запыленные чувяки, босыми ногами становились на блеклые ковры. Сложив руки на животе, кланялись, клонили колени, пели священные строфы. Был весь аул. Не было только почему-то партийцев и комсомольцев. После молитвы, расходясь по крутым тропинкам меж саклей, правоверные остановились:

† Уа, гляди, Осман-оглы! Гляди!

— Что они делают?

— В праздник—и оскверняют руки трудом! Гяуры!

Однакож подошли ближе, столпились.

Кучка партийцев, во главе с русским, босоногие, засучив рукава, с лопатами и мотыгами, копошились у старорого, затянутого тиной и острой осокой, арыка.

— Салам алейкум, Магомет. Что делаешь?

— Алейкум салам, Осман-оглы... Не видишь—арык чистим. Вы в мечети молитесь, а мы за вас работаем. Для аула...

Расчистили канал. Потекла вода снова, стала поить алчущие корни абрикосов и яблонь.

На следующую пятницу опять видел мулла: нет в мечети коммунистов. Приходящие шептали на ухо соседям:

— Видал? Дорогу чинят.

— Уа, дорогу?

— На Хины. Для аула работают... Для нас...

Коммунисты, все под руководством того же непоседы-русского, строили дорогу, и мулла видел, как пустела мечеть: один за другим, незаметно, бочком, выбирались молящиеся, совали ноги в чувяки, спешили к работающим. Поглазеть, а может—кто знает—и помочь.

На третью пятницу совсем пусто было в мечети. Зато за селеньем, там, где, огибая утесы, ползла в горы дорога в Хины, копошились по-муравьиному люди, бодро переключались, рыли, рубили скалы. Работающих было гораздо больше, чем в прошлый раз...

*Попутчик с птичьим лицом. Скверный бой. Долина смерти. Старый служака Гассан Мирзаев. Голый Восток.*

По дороге в Гуниб попался мне попутчик—молодой аварец, красный партизан, хорошо говоривший по-русски. Белая, из молодого барашка, палаха сдвинута назад, лицо у него носатое, птичье. Ехал он на злом норовистом жеребце, картинно подбоченившись бледной, по локоть голой, рукой.

Когда проезжали мимо какого-то аульного кладбища, затихшего в суровой магометанской тоске, с накрепившимися в разные стороны камен-

ными плитами, на которых бледно цвели раскрашенные письмена и орнаменты,— аварец указал на шест с разноцветными тряпками:

— Святой тут похоронен... Вот из-за таких святых друг друга резали.

Протянув руку, рассказывал о горах, что толпились поодаль, одетые в зеленый каракуль лесов.

— Тут в лесах белые жили. Целый год... Ой, северный бой был! Пуль нет, снаряд нет... Ночью кинжалами резались, пашками резались...

Он рассказывал о лютых боях среди скал, где побежденному пощады не было, о том, как в Лакском округе два брата, белые офицеры-пулеметчики, поклялись расстрелять двух других братьев—красных (родич против родича—неслыханное нарушение адата), о том, как бились партизаны, окруженные со всех сторон и знавшие: если сдадутся—всех перевернут.

— Четыре орудия были у нас. Два стреляли, два остывали... Весь день война была. А вечером одиннадцатая армия пришла, прогнали белых.

Гражданская война в Дагестане— свежа в памяти населения. Все тут насыщено ею. Кажется, только что затихло многоголосое горное эхо, вторящее ружейной пальбе, только что высохли алые подтеки на слоистых скалах. О гражданской войне рассказывают тут охотно и много.

... Подъезжая к Араканам, преодолев высокий и сумрачный перевал, мы стали спускаться в долину неповторимой красоты. Горные скаты валились туда один за другим, справа и слева, все гуще синевя по мере того, как отодвигались вдаль. А впереди половину неба закрыл высоченный хребет, прозрачный, туманный, светло-аметистовый... Страна Грез!..

Под обугленным, скареженным молнией дубом новый проводник, сменивший Гассана, одноглазый меланхоличный человек в синеватом бешмете, придерживал своего мула и не без торжественности сказал:

— Долина Смерти.

Здесь, в этой мышеловке красоты необычайной, начисто был вырезан красноармейский отряд в 700 человек. Ко-

мандование—пришлые люди из России, незнакомые ни с географическими, ни с бытовыми условиями края—загнало сюда отряд. Все окружающие горы были заняты шейхом Магомедом Балаханским. И, лежа за камнями, спокойно и метко, как в тире, горцы расстреливали обезумевших красноармейцев, мечущихся среди камней, орудий, лошадей, повозок. Когда был прирезан последний раненый, стали делить добычу: орудия, винтовки, патроны, снаряды, шинели, продовольствие. Потом эти орудия были использованы контр-революционерами во время осады крепости Хунзах.

И все же, даже в самые раскаленные годы революции, были люди, охраняющие жизненные артерии страны—дороги. Вот один из них, дорожный мастер Гассан Мирзаев.

47 лет чинит дороги, следит за ними. «Я старый служака»—рекомендуется он. Самый уважаемый в районе человек—несколько лет подряд избирается председателем сельсовета. Когда мы останавливаемся в его домике, на редкость чистеньком и хозяйственном, на комодике я вижу зеленую книжечку, которую надо читать наоборот, справа налево: постановление 3-й сессии Дагцика, на аварском языке.

— В самое горячее время работал. В войну. Все инженеры, все дорожные мастера убежали. Из Хунзаха, из Гунниба, из Ботлиха—езде убежали. Я остался, работал. Чинил дороги. Полки тут проходили, пушки везли... Меня все знают. И товарищ Самурский, председатель ЦИК, знает...

Так он и запомнился мне: нагнувшись к конской шее,—кубанка на затылке,—рысит, будто нарочно, по самому краю дороги. Оступись конь—костей не соберешь ни от Гассана Мирзаева, ни от его коня. Старческий ястребиный профиль резок и суров на фоне дальних рыжеющих утесов, но в глазах, в беззубой усмешке так много чудесно-ребячьего...

\* \* \*

Всю ночь мигали зарницы. Полнеба разом вспыхивало бледнозолотым, синеватым трепещущим смертельным бле-

ском, черные профили ближних скал на миг вырезались, как хребты притаившихся динозавров. Затем снова тьма, напряженная, глухая тишина. И вековечный гул потока, и, временами, сухой шорох сыплющихся под копытами камней, смутный говор—мимо сторожки в Араканы все время гнали коров, баранту, ишаков.

Сторожка над обрывом, как раз у входа в Ущелье Смерти. Тут я ночую.

Утро холодное, торжественное. Ущелье налито покоем, туманом, синей мглой. Белые космы цепляются за острые камни, тают, и небо, полное золота, нежнейшей прозелени, легких сиреневых тучек, пышно встает впереди, меж хребтов. Солнечная кровь ударила в утесы,—обагрила их—и Араканы, в диком и театральном великолепии, появились насупротив, по ту сторону пропасти. Ревет далекий осел, задыхаясь, изнемогая, скорбно и ржаво приветствуя рождение дня.

Дорога юлит вдоль ущелья. Террасами садов и полей сползают Араканы по обрывам на самом дне, к сердитой, прыгающей по камням, речонке. Посевы пшеницы и кукурузы, абрикосы, яблони и черешни идут одни под другими.

Так здесь возделывают хлеб. На склоне горы горец лепит из камней стенку и начинает создавать поле. Он таскает кулями землю снизу, из долины, насыпает за камнями. Таскает без усталы на своем горбу, пригнувшись к земле, тяжело ступая на осыпающиеся под ногой камешки. Так рождается поле, которое можно прикрыть разостланной буркой, урожая с которого в лучшем случае хватит на два-три месяца. Над этим лоскутом земли лепят, ссыпают, засеивают другой, третий, десятый.

Достаточно первого бешендо горного ливня, чтобы все эти самодельные поля были смыты, завалены валунами, сметены под откос.

И Сизиф в рваном бешмете вновь потащит на гору кули с драгоценной землей.

Бронзовый век тут жив. К буйволу или быку тут привязывают деревянный узловатый сук, буйвол медлительно

вышагивает, дарапает поле. Вместо бороны заметают землю пучком хвороста. За суком идет человек с «сабу»—деревянным лукошком, полным семян, от тридцати пяти до девяноста фунтов весу, горстью сыплет семена. Счет на сабу: сколько сабу опорожнено, столько сабу земли засеяно. Севооборот двухпольный: озимый и яровой. Удобрение... Зачем удобрение? Земля сама должна тужиться, выращивая колос, на то она и земля. Аллах позаботится о правоверном.

... Восток, Восток!.. Но не тот, о котором пел Саади, с розами, соловьями и шербетом, а Восток, одетый в рваную овчину, суровый, скудный, голый. И голь эта зияет, как язвы азиатского нищего.

*Горные пути. Пещерные люди. Что такое намус. Особый вид филантропии.*

Голубоватые, серые, розоватые, бурые, наискось растающие своими слоями в землю, сланцевые слоистые скалы мелькают мимо. Сверху вихрами висит трава, качаются лиловые цветы, черная бабочка вьется над ними. С другой стороны пропасть. Редкие встречи: арбы, выехавшие прямо из бронзового века, запряженные парой мелкорослых быков или волов,—в арбе хорошо провяленные на солнце люди в косматых шапках, с кинжалами поперек живота,—или всадник в черкеске без газырей, верхом на небольшом резвом жеребце, или женщины в чухто, закрывающих пурпурные от хны волосы и лежащих вдоль спины. Женщины гонят, пошлепывая ладонью по крестцу, маленьких немощных ишаков—по бокам их плоские корзины, где медно желтеют абрикосы,—дикарсские серебряные серьги женщин тяжело колыхаются вдоль темных щек, взор потуплен: непристойно женщине глядеть на мужчину.

Дорога просторна—это шоссе, ведущее в крепости Хунзах и Гуниб. Эти дороги проводили в горах, вырубая скалы, взрывая их динамитом, перекидывая железное кружево мостов над реками, ревущими где-то внизу, в провале. Их проводили в царское еще вре-

мя солдаты-саперы, и солдаты эти, обезумев от каторжного труда, тоски, безлюдья, дикого и злого великолепия кругом, часто закладывая в породу динамитный патрон, садились на него сами и зажигали фитиль...

Но есть и другие пути в этой стране. И путей этих, узких тропок, где часто ни арба, ни всадник—пройдет только ишак, осторожно ставя цепкое копытце,—этих путей тут гораздо больше. Они соединяют аулы с миром, эти извивающиеся в хаосе горных цепей тонкие артерии. Но в глубине Гунибского, Андийского, Лакского округов есть селения, которые восемь-девять месяцев отрезаны от мира и жизни. Осенью, зимой и весной пути туда нет.

Там живут пещерные люди.

Они не знают о существовании мыла, железной дороги, дымохода, медикаментов, письменности. Многие из них не видели европейца. Они целыми аулами заживо гниют от сифилиса, неизвестно как занесенного в эту дичь, и живя вместе с барантой, на ночь ложатся рядом с бараном—так теплее и мягче. Женщина рождает тут, как животное, на четвереньках, зубами перегрызает пуповину и необмытого ребенка, смазав маслом, сразу заматывает на несколько месяцев в тряпье.

Когда партийцам, советским работникам, разным инструкторам, инспекторам РКИ приходится пробираться туда через вечные снега и глетчеры, они ведут коня за повод. Карманы их полны землей. Они бросают горсть земли перед собой на скользкую тропинку, вьющуюся по краю синеющей бездны, и делают пару шагов. Затем снова швыряют землю, продвигаются еще на несколько шагов.

— Вот и работаешь в таких условиях,—сказал мне знакомый инспектор РКИ, семь лет живущий в Дагестане.

То и дело приходится чинить колесные дороги, ремонтировать, подправлять. Ливни тут—такое же стихийное бедствие, как наводнение, засуха, нашествие хлебных вредителей. Гремящие ливни, вместе с посевами, размывают дороги, заваливают их ворохом камней, валунов, целых скал. Реки тогда вспухают, надуваются, безумеют,

сносят мосты, вертят и бьют о камни несущиеся сваи, и, натешившись, выкидывают их где-нибудь за много верст на каменистую отмель.

Намус—самое драгоценное для горца. Намус—честь рода и честь личная, благородство, уважение к обычаю и закону предков. И—прежде всего—честь и достоинство рода, ибо для лака, аварца, кумыка, живущего патриархально-родовым бытом, выше всего, священнее всего честь и гордость его рода.

— Нет счастья там, где нет намуса,—говорит пословица.

— Пусть со мной будет что угодно, лишь бы род не лишился своего намуса.

Наивное и первобытное это благородство всего отчетливее проявилось в раскаленные годы революции.

В 1920—21 году крепость Гуниб осаждалась контр-революционными мятежниками. Муллы проповедывали гавзават против большевиков. Имам Гоцинский рассылал прокламации, писал, что дни большевиков сочтены, что семь великих государей поддерживают его.

Почва была подготовлена облпродкомом и русскими советскими работниками, проводившими жесткую политику так, как привыкли проводить в России. Облпродком брал на учет фруктовые деревья, кур, сбор яиц. От голодных округов, способных прокормить себя лишь в течение трех-четырех месяцев, требовал сдать десятки тысяч пудов хлеба. И вот лихорадка повстанья охватила Гунибский, Аварский и часть Андийского округов. Два раза были осаждены старые крепости Хунзах и Гуниб. Два раза пришлось отрядам красных партизан, пробираясь по ишачим тропинкам, замерзая от тридцатиградусной стужи, освобождать их.

В Гунибе, где заперлись остатки красноармейцев, милиционеров, красных партизан-горцев, продовольствие иссякало. Люди доедали последнюю лошадь, рубили на топливо последние пирамидальные тополи. А кругом горы кишели лютым врагом, муллы и мюриды пели священные гимны, распяляющие дикую кровь, веяли зеленые

знамена, приговялись новые отары овец в становища осаждавших... По ночам, когда замолкала пальба, находящиеся в крепости видели зарево многих костров и, раздувая ноздри, втягивали ароматы далеких варящихся мяс.

Тогда раз утром отощавший горец, пришедший из крепости под белым флагом, протянул начальнику осаждавших пакет. Пакет вскрыли, и грамотей-мулла прочел бисер арабских писмен. Писал начальник осажденных, Нажмутдин Самурский, нынешний председатель Дагестанского ЦИК.

«Да, мы осаждены, мы голодаем,— читал, насупив лохматые брови, мулла:—но нетрудно и бесчестно сытым победить голодных... Если у вас действительно есть намус, если вы—сыны Шамиля, если вы—орлы гор, как называете себя, то пришлите нам продовольствия. Тогда посмотрим, кто победит».

— Уа, они правильно говорят!— сказали столпившиеся горцы.—Во имя бога, великого и милосердного, у нас есть намус. Мы покажем этим нечестивым псам, гяурам: у нас есть намус... Мы хотим биться с равными.

Ночью извечно шумела на дне бездны Койсу, чьи стремительные воды не скует никакой мороз, над вершинами трепетали фольговые звезды, от выпавшего снега было свежо и светло. И вдруг из крепостных бойниц вылетели пламенные клинки ружейных выстрелов, горы дружно отозвались эхом: часовые заметили крадущиеся тени. Тени сгнули, ночь прошла тихо, а утром осажденные увидели под стенами груды мешков с мукой и другой снедью, только что зарезанных баранов.

И с той ночи то и дело в темноте пробирались к крепости горцы, часто под выстрелами, и оставляли новые кули. А днем кипел бой.

В конце концов пришли с севера красные, и Гуниб был освобожден.

Бурно и свирепо прошла тут гражданская война...

— Научили народ, что значит воевать,—говорит Гассан Мирзаев, рыся по краю дороги, над самой пропа-

стью.—Научили.. Сколько рогатого скота погбло, баранты сколько... Бедные все стали, нет ничего. Теперь тихо, успокоились. Думают все о том, как лучше жить.

*Секретарь райкома. Там, где сдался Шамиль. Гунибские троглодиты. Фельдшер Хаджи-Мурат. Лунная эссенцина и Серенький. Что будет через несколько лет.*

... Гуниб! Последняя твердыня Шамиля,—видя портрет его, и сейчас плачут старики-горцы. Орлиное гнездо, прекрасное и дикое.

Каменный мост через белопенную Койсу, мост с полуразрушенными башенками и бойницами, с двумя старинными ржавыми медными пушками, лежащими на земле, остался позади. Взобравшись; наконец, бесконечным зигзагом дороги на высоченный отвес, я в'ехал в крепостные ворота, мимо красноармейца-тагарина, держащего винтовку между потертых колен.

Останавливаюсь у секретаря райкома. Он русский. Молчаливый, сдержанный крепыш, щеголеватый рабочий щеголеватостью. Придя из райкома, пообедав, постав часок, он садится за «Правду»—«Правда» сюда идет неделю-полторы, — за брошюры, тощие и толстые, за постановления последнего парт'езда. Когда идет на заседание, внимательно расчесывает на боковой пробор недлинные черные свои волосы, долго и старательно полирует щеткой высокие сапоги. И потом, в синей блузе, в нахлобученной кепке, в сверкающих сапогах, постукивая палкой, взбирается на гору мимо плоских саклей, гуторящих у источника горцев, мимо старика, похожего на врубелевского Пана, творящего намаз на сером валуне.

За обедом, за ужином мы разговариваем о стране, куда бросила нас жизнь, о Москве, о последней парт-дискуссии. У секретаря каждое слово—золотое, он выпускает его скупно, неохотно, редко и отрывисто угощает меня настоящей на вишнях водкой.

На другой день едем на Верхний Гуниб, верхами, втроем,—я, председатель исполкома и инспектор РКИ. Пред-

седатель—рослый, старый горец, с большим тяжелым лицом, заросшим серебряной шерстью, выдержавший обе осады Гунуба, инспектор—тот самый, что богоборствовал в Аварском округе и путешествовал с землей в карманах. Он—коротенький, с широкими женскими бедрами, из-под кубанки вьются желтые кудерьки. Эти кудерьки и младенчески-гладкие, розовые щеки напоминают фламандского амурчика, но в глазах инспектора, светлых и острых, отблеск тех ледников, через которые он пробирался.

Он подпрыгивает в седле и, невольно фальшивя, мурлычет баском: «Весь мир насилья мы разрушим»...

В воротах председатель показывает часовому пропуск. — тут крепостной режим—и мы выезжаем в долину между двух отлогих лесистых скатов.

— Хотите посмотреть, как у нас живут?—спросил меня председатель исполкома.

Остановились у глинистого оврага, слезли с лошадей. Внизу в просторной пещере, вырытой в желтом откосе, костер хищно лизал закопченный об'емистый котел. Несколько женщин, мужчин, ребятишек, полуголых и темных от застарелой грязи, копошились в пещере.

— Так они и живут здесь все лето. Коров пасут... А зимой где-нибудь найдут угол, в сакле какой-нибудь, без окон, без дверей...

Председатель прокричал что-то. Подслеповатый тщедушный троглодит вылез из-под земли, держа в скрюченных черных пальцах большую корчагу, полную кислого молока.

— Видите?—голосом необычайной горечи сказал мне инспектор РКИ.— Живут в земле—и никакая гайка!.. У него крова над головой нет, а ты изволь проводить советскую политику, убеждать его... Чорта лысого убедишь!.. Эх, когда же, когда, наконец, можно будет дать им элементарные человеческие условия!..

Он порылся, слегка отвернувшись, в кошельке, вытащил скомканый желтый рубль, протянул. Троглодит растерянно помаргивал опухшими красными веками, опустив лапы, не брал.

Он оценивал свое молоко в двадцать копеек.

— Бери, бери,—внушительно и сердито сказал инспектор:—товарищ Магомедов, скажите ему, что ребятишкам. Это для детей его, и никакая гайка!..

Воздух тут, на высоте нескольких тысяч футов, — чистоты необычайной, насыщенный дыханием лесов и трав, коньячной пряности и крепости. Его пьешь, его чувствуешь не только легкими, а, кажется, всем организмом, каждой порой.

— Трудно тут работать,—говорил инспектор.—Очень трудно. Там, в центре, не верят: ну, какие, дескать, у вас исключительные условия работы! Такие, как везде... А вот побывали бы в нашей шкуре. Одно духовенство чего стоит...

Он удержал загорячившуюся лошадь, поправил кубанку.

— Вот недавно у нас русский в магометанство перешел. Хочу магометанином стать—и никакая гайка!.. Фельдшер. Пьяница, прохвост, алкоголик...

— Что ж его побудило к этому?

— А очень простой расчет. Математический расчет. По корану принявшему ислам идет треть закята... Он все пропил, спустил последнее, а тут такой куш... Вы себе представить не можете, как муллы это использовали. «Вот что значит наша вера: русский, образованный человек—и принял истинную веру. Вот каково могущество Аллаха»!.. Ну, конечно, на массу это повлияло.

— Только-только что начала кое-как налаживаться работа—и все разом на смарку... Сколько трудов, сколько работы—и к чертям!.. И ведь имя, какое подлец, выбрал! Его фамилия была Крамаровский, а теперь—Хаджи-Мурат. Любимый тут национальный герой, Хаджи-Мурат. На радостях мулла пить ему разрешил. Он просил его. А по корану пить нельзя, заметьте это.

Уже когда мы в'ехали в крепость, на крутой тропинке попался навстречу человек в белой толстовке до колен и высоких сапогах. Пенсы поблескивало на худом сосредоточенном лице. Он поднес руку к облупленному козырьку

и чрезмерно вежливо, низко поклонился.

— Вот он — Хаджи-Мурат, — сказал мне инспектор. Помолчал. И затем, злобно скривив губу, воскликнул: — Нет, я до него доберусь!.. Я ему покажу, как работу срывать. Долго он тут не прослужит.

... Навсегда запомнился последний мой вечер в Гунибе. Мы сидели на балкончике исполкома, деревянном балкончике с шаткими перильцами, повисшем над обрывом, над невероятным ирвалом, где во тьме глухо рычала невидимая Койсу. Ночные мотыльки летели на огонь, бились о стекло керосиновой лампы, обожженные, ползали по скатерти, валились в стеклянную вазочку с вареньем и в чашки. Мы говорили все о том же, о странной этой стране, о том, как туго, но упорно просачивается сюда новая жизнь, новое мировоззрение и взаимоотношения.

Рассказывали председатель исполкома и желтокудрый инспектор. Секретарь райкома сидел в тени, изредка вставлял слово. Жена председателя, русская, тоже партийка, — кроткая, бледная, лунная, — молчала, худыми пальцами перебирала волосы шестилетнему сынишке. Наклонялась к маленькому ушку, и голос ее был нежен и тих:

— Серенький, а не пора ли нам спать?

Она напоминала мадонну Ботичелли, тихую, болезненную и нежную.

— Серенький, покажи, как папа говорит речь.

И мальчуган, с бледными глазами матери, взбирался на табурет, подымал ручонку, светлые брови у него внушительно сдвигались, и он начинал:

— Товарищи, наш вождь Ильич умер... Умер... Но мы будем исполнять его... его...

— Заветы, — подсказывала мать, обняв худое тельце.

— Заветы... Мы клянемся...

И переходил на аварское наречие. Он часто путает языкотца с языком матери.

Мне говорили о кровной мести, об ауле Рукжа, где двадцать лет тянется

смертельная вражда, где люди подстерегают друг друга, чтобы пырнуть кинжалом или подстрелить. О семилетних девочках, продаваемых замуж за немилую, неизвестного. О женщинах, которые работают, как животное, и дряхлеют в тридцать лет. О девушках, зарезанных отцом или братом за то, что втречаются с джигитом.

Рассказывали о том, как относятся горцы к новому. «Коммунисты — всем хороши, только мечети не трогайте». Требуют устраивать школы, фельдшерские пункты, водопроводы, говорят:

— Что же вы нам дали? Зачем же мы шли на смерть и голодали? Чтобы опять жить попржнему?

О девушках, рвущихся в Москву, убегающих тайком, часто из-под кинжалов, возвращающихся в русском платье, с оголенными руками — позор для горянки! — и организующих в аулах женотделы.

О всем невероятном сплетении бронзового века с советской новью, чтобы рассказать о котором, нужны сотни талантиливых страниц.

— Дикая страна. Дикий народ, — говорю я жене председателя.

— Но благородный, — тихо отвечает она.

Ночь глядит звездами, гудит далекой Койсу. Мы говорим об электрификации, о том, что через два-три года эти бесполезные бешеные воды ударят в лопасти турбин, завертят их. По жилам бесчисленных проводов разбежится эта сила, сотнями электрических лампочек брызнет в саклях, погонит воду по новым арыкам и каналам, пустит в ход ткацкие станы и машины консервных заводов. И вместе с электричеством в горную глубь, в аульные недра придет советская культура.

— Посмотрите, что тут через десять-двадцать лет будет, — говорит инспектор: — Швейцария — и никакая гайка!..

Утром уезжаю. Мой путь — в Левашни, в Даргинский округ. Новые края, новые люди. Путь неведом, дик и прекрасен.

## Книжное обозрение

А. НЕВЕРОВ. Полное собр. соч. Т. VII. Гуси-лебеди. Г. Лелевича. Н. ПЛАТОНЫЧ. Пути. В. Гольцева. П. ОРЕШИН. Ничего не было. А. Шафир. „Грибоедов и старое барство“. Арк. Глаголева. А. ДАУДИТЕЛЬ. Жертва. Ё. Браудо. Ж. ВАЛЛЕС. Лондонская улица. Ю. Данилина.

Александр Неверов.—Полное собрание сочинений. Том VII. «Гуси-лебеди». Роман 1918—1923 г.г. Изд. «Земля и Фабрика». Москва—Ленинград 1926 г. Стр. 222. Цена 2 р. 35 к. Тираж 5.000 экз.

В седьмой том сочинений Неверова вошел один из крупнейших его романов «Гуси-лебеди». Неверов писал этот роман в течение пяти лет с 1918 по 1923 г.г., т. е. в продолжение всего советского, пролетарского периода своего творчества. К сожалению, роман остался не вполне оконченным, хотя развязка отчетливо намечена, а вся основная часть сюжета развернута.

Неверов рисует нам 1918 год в сармарской деревне, но, на самом деле, его захват значительно шире географических рамок повествования: Неверову удалось художественно показать своеобразнейший процесс перерастания борьбы крестьянства против помещиков в классовую борьбу внутри крестьянства.

Неверов смело обнажает темноту и дикость деревни, но никогда не впадает в ехидство анекдотчика, как это часто случается со сторонними бытописателями нашей деревни. Он не обходит сексуальных моментов, но они у него не выпирают, не являются стержнями повествования, как хотя бы в таких значительных и ценных вещах, как «Виринея» Сейфуллиной.

Роман Неверова весь насыщен тем невиданным великим энтузиазмом, тем титаническим порывом к коренному переустройству общественных отноше-

ний, той непреодолимой тягой к социалистическому равенству, которые охватили широчайшую народную массу в незабываемом 1918 г. Не только герои неверовского романа, но и сам Неверов выступает, как «пламенный пророк нутряной большевистской правды», как «человек, ни единого слова не знающий из толстых книг Маркса учения, и в то же время самый отъявленный большевик, крепко и смертельно поверивший в видение нового мира, который несут в себе настоящие большевики», как человек, свято уверенный во всемогуществе трудящихся масс: «Захотим гору повернуть—повернем, потому что—сила».

Неверов сумел творчески показать представителей различных общественных классов и слоев. Перед нами проходят и сельские попы (Никанор, Поликарп), и представители анти-советской интеллигенции (Каюков, Павел Перекатов), и колеблющиеся интеллигенты (Марья Кондратьева, Валерия). Но ярче всего очерчены образы, выражающие *классовое расслоение деревни*. На одном полюсе **мы видим** сплотившихся кулаков, на другом—активных бедняков во главе с Федякиным, завоевывающих в процессе борьбы на свою сторону и колеблющихся середняков (Кондратий и др.), и передовых революционных интеллигентов (Сергей, Петунников), и даже низы сельского духовенства (псаломщик).

Особенно важно, что Неверов избежал ошибки, свойственной многим бытописателям деревни 1918 года: он различает в крестьянстве не два, а три

слоя. Наряду с деревенскими представителями пролетариата—бедняками и деревенской агентурой буржуазии—кулачеством, Неверов рисует и тот многочисленный слой деревни, в груди которого труженик борется с собственником. Вот характернейшие размышления середняка Кондратия, ушедшего с беднотой партизанить: «Надо будет всю дурь выкинуть из головы, навалиться на работу хорошенько, сделаться опять мужиком, домохозяином. Разве мысленное дело по оврагам шататься, выдумывать какую-то программу. Это бездомовцам нравится языком вертеть, да в большевики записываться, а Кондратий проживет своим трудом, своей копеечкой. Что же делать, если нехватка бывает? Люди не птица, в одно перо не родятся. Придет время, и к нему копеечка забегит, надо только на свою смекалку надеяться...». Вообще, фигура Кондратия, колеблющегося и неустойчивого, но в конце концов под влиянием жестоких уроков жизни примыкающего к беднякам,—одна из замечательнейших фигур в современной русской литературе.

Герои романа—не манекены, а живые люди, некоторые из них приобретают значение *типов*. Замечательно у Неверова умение мастерски пользоваться деталями. Такие штрихи, как калоши дедушки Лизарова или возня Кондратия под арестом с гвоздем, могут служить образцами художественного использования деталей.

Нельзя не согласиться с редактором сочинений Неверова Н. Н. Фатовым, утверждающим, что «Гуси-лебеди»—«одно из замечательнейших произведений нашей литературы революционных лет, отразившее Октябрь в поволжской, а отчасти и вообще в русской, деревне более ярко и правдиво, чем какое-либо другое из успевших появиться до сих пор».

Кроме «Гусей-лебедей» в седьмой том вошли указатели произведений и имен, поправки к статьям и примечаниям и перечень важнейших опечаток.

Г. Лелесич.

**Н. Платоныч.—«Путы».** Повесть. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 144. Ц. 80 к.

«Путы» Н. Платоныча представляют собою одну из многочисленных попыток отразить быт современной деревни, ценность которых отрицать не приходится. Написана эта повесть вполне грамотно и довольно живо, но едва ли она прибавит что-либо существенно нового к художественной литературе подобного рода. Чувствуется, что крестьянская жизнь все-таки остается чуждой автору: подлинного знания народного быта он не обнаруживает. Передать крестьянскую речь Н. Платоныч оказывается не в состоянии. Его «пейзаны» разговаривают по преимуществу довольно гладким, книжным языком. Да и самое действие повести построено по несколько шаблонной схеме: самгон, темнота, суеверия стариков и—пробуждение послереволюционной деревни; собственные стремления кулаков и—нарождающаяся советская общественность.

Конечно, добродетель торжествует: пьяница, развратник и убийца Пашка Трушин, осужденный лишь условно, внутренне перерождается и начинает вести в своем родном селе Стукачеве беседы философического порядка. Мельница, которой незаконно завладел старый собственник Лопатин, переходит в руки «Комитета помощи». Поджог избы сознательного крестьянина Сергея не удастся, а все его семейные недоразумения с женой Натальей благополучно изживаются.

В общем же «Путы» можно прочесть довольно легко и не без интереса, но значительного впечатления они не оставляют.

Виктор Гольцев.

**П. Орешин.—«Ничего не было».** Повесть. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 255. Тир. 3.000 экз. Ц. 2 р.

Последняя книга П. Орешина окончательно дорисовывает писательскую физиономию автора и уясняет то, что было, быть может, не совсем понятно в его творчестве. Она является как бы обработкой и суммированием того ку-

дожественного материала, над которым работал Орешин в предыдущие годы.

Тема—прошлое, конец XIX в. Быт городской бедноты, обитающей на окраине Саратова, возле Глебучего оврага, где все дышало былой удалью Стеньки Разина, где все жили обывательскими серыми буднями, жизнью голодной, пьяной, тяжелой и разудалой, вся философия которой укладывалась в двух строках песни:

*Эх, пьем мы водку, пьем мы ром.  
Завтра по миру пойдем.*

С другой стороны—деревня, тоже пьяная, дикая и темная.

Этой жизни противопоставляется другой мир,—мир купечества,—самодурства, скопидомства и затаенного зверства; мир попобства, под ризой укrywшего грубую животную плоть и циничный практицизм.

Вот та действительность, на фоне которой складывалась детская психология героя повести—вихрастого, самолюбивого и многообещающего мальчика—сорви-голова Володьки.

Автор хорошо знает описываемую жизнь, да и пишет о ней не впервые.

Еще в сборниках стихов «Ржаное солнце» и «Соломенная плаха» находит она отражение и обрисована все в тех же тонах («Детство», «Удача», «Дедушка Афоня», «Бессонница» и др.). В очерках «На полях» нетрудно узнать деда Евграфа и бабушку Лаврениву (в «Стариках»). В сборнике рассказов «Корявый» уже намечены черты купца Андреева и отца Володьки—старшего приказчика—Василия Евграфовича (рассказы «Революционер»—1918 г., «Вор»—1915 г.).

Но все это прошлое. А прошлое в сознании автора лопнуло, как лопаются мыльный пузырь. *Ничего не было.*

В этой никчемности и безвозвратности прошлого и заключается идейная основа повести.

Неизбежная и верная смерть прошлого ощущается автором не впервые. Как доминирующий мотив, она пронизывает все творчество его:

*Не вернут вас ни коня, ни дороги  
В старорусский родительский дом.*

(«Задумчивое»—1922 г. «Соломенная плаха»).

Повесть «Ничего не было», без сомнения, автобиографична. За Володькой, о котором рассказано в третьем лице, виден сам автор. Эта автобиографичность подчеркивает свойственный Орешину суб'ективный характер творчества. А содержание повести доказывает, что художественная эволюция автора, до сих пор по крайней мере, идет не в ширь, а в глубину.

Эта же биографичность определяет содержание, но не покрывает его, так как по широте материала эта вещь выходит за пределы биографической повести.

Полнота и разнообразие материала создает впечатление разбросанности и разорванности. Действительно, в конструкции повести чувствуется неслаженность. И хотя автор предупреждает, что ему нет дела до того, как повести писались раньше, и что ему, мол, важно, как у него повесть «написалась» в наше время и в наших условиях, все же видна за этой неслаженностью недоработанность.

Отдельные главы настолько хороши, так цельно обработаны, так психологически тонки и художественны, так типичны для детства и мальчишества, что должны быть выделены и помещены в детские сборники («Первая любовь», «Поединок», «Саратовский жулик»).

*Анна Шафир.*

**«Грибоедов и старое барство».** По неизданным материалам составил **Н. К. Пиксанов**. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1926 г. Стр. 76.

Издательство «Никитинские Субботники» не напрасно выпустило в свет рецензируемую книжку, представляющую собой публикацию неизвестных до сих пор отрывков из мемуаров современников Грибоедова—представителей тогдашнего крупного дворянского рода: Лыкошина и его сестры Колечицкой. Умело и подробно комментированные известным знатоком Грибоедова проф. Н. К. Пиксановым, эти мемуары окажутся весьма полезными в деле социологического изучения жизни Грибоедова и общественной среды, породившей этого писателя.

В мемуарах находим сведения о молодом Грибоедове, о годах его пребывания в Московском университете, об отце писателя, его матери. Сестре, наконец, жене Грибоедова. Затем довольно много говорится о дяде писателя и его имени «Хмелита». Значимость мемуаров не только чисто-биографическая. Они прекрасно передают весь «аромат эпохи», дают весьма целостное представление о быте усадебной жизни русской дворянской аристократии начала XIX столетия. Записки Лыкошиных выявляют целый ряд характерных бытовых черт, присущих этой общественной среде: ее социальную сплоченность, консерватизм, спещифический характер ее высокой культуры, тесно связанной с религией. Записки носят совершенно определенный классовый, дворянски-помещичий характер. Сам Лыкошин, недовольный своим настоящим и восхваляющий барскую жизнь до 1812 г., когда-де и слуги «за честь» считали «служить господам», сам он является типичным феодалом, единокровным братом Фамусова. Словом, мемуары—яркий социальный документ.

Внешность книжечки — очень опрятная.

*Арк. Глагодев.*

**А. Даудистель.—«Жертва».** Роман. Перевод с немецкого Я. Н. Блоха. Госиздат. Москва—Ленинград 1926. Тираж 4.000. Цена 1 р. 20 коп. Стр. 192.

Из числа переводных романов последнего времени «Жертва» Даудистеля—один из самых интересных и ярких, отвечающих требованиям современного повествовательного искусства. Даудистель рисует образ сильного активного человека, выходца из пролетарской среды, первоначально отдающего стихийно бунтующему анархизму и авантюризму, а потом логикой событий приводимого к идее власти советов и революционному коммунизму. Роман развивается стремительно, хотя и приводит читателя к самому важному обходным путем. Сначала мы пребываем среди самой фантастической обстановки юга, Египта, где неподвижное

величие создано ценой крови миллиона угнетенных, затем почти с кинематографической быстротою мелькают перед нами эпизоды «возвышения» героя романа—Венеция, богатые города Германии, картины пресыщенного разврата, деклассированные бывшие люди, неясное идеологически, но крепкое, ненавистью вспоенное, бунтарство главного действующего лица. Внезапно разразившаяся катастрофа империалистической войны, служба во флоте, агитация среди матросов, бунт на военном корабле, ужас немецких военных тюрем, госпиталей подготовка окончательного революционного восстания в Киле и, наконец, смерть после подавления контр-революционными войсками матросской революции в Берлине—таковы главные этапы всего повествования. Написан роман превосходно, экспрессивно, настолько сжато, что местами сплошь и рядом попадают фразы без сказуемого. Это настоящее большое литературное мастерство, основанное на превосходном знании изображаемой среды и людей. Бессюжетность, отсутствие «интриги» придает этому роману большую значительность при яркости обличительного пафоса автора. Книгу эту можно горячо рекомендовать самым широким слоям читателей, тем более, что перевод ее сделан Я. Н. Блохом совершенно образцово.

*Евг. Браудо.*

**Жюль Валлес.—«Лондонская улица».** ГИЗ. М.—Л. Стр. 228. Ц. 1 р. 30 к.

После разгрома Парижской Коммуны коммунары Жюль Валлес бежал в Англию, где прожил девять лет, скрываясь среди лондонской бедноты. В изгнании он начал работать над автобиографической трилогией «Жак Вентра» и написал книгу очерков «Лондонская улица».

Характерные черты манеры Валлеса—едкая социальная сатира, отрывистый, нервный стиль публициста, пламенная ненависть к буржуазному обществу (Валлес причислял себя к «расе тощих людей»). Последняя черта позволила Рене Лялоу указать, почти без иронии, что «нормальное состояние Валлеса—возмущение».

В трилогии Валлеса все эти черты в значительной мере ослаблены недостатками романиста: примитивизмом и однообразием композиции, неяркостью психо-типического рисунка и т. д. «Романы» Валлеса, конечно, не романы: это мемуары в беллетристической инсценировке, а по художественному виду — те «сцены», которыми назвал свое знаменитое детище Мюрже, кстати сказать, оказавший на Валлеса некоторое влияние (особенно в «Баккалавре»).

Формальные недостатки беллетриста-Валлеса неоспоримы. Но склонимся перед ними с уважением: нужда и вечная погоня за заработком не позволили Валлесу развернуть свои художественные возможности. Валлес — писатель второстепенный, но объективный литературовед не пройдет мимо одного из предвестников будущей пролетарской литературы.

В отличие от трилогии, в рецензируемой книге основные черты литературной манеры Валлеса дают богатый и красочный эффект. В ряде четких зарисовок Валлес запечатлевает отвратительные противоречия капиталистического города. Очерки Валлеса, с их острой наблюдательностью, искренностью, остроумием, гневом, выразительностью рисунка и стиля, вполне могут быть названы «художественными очерками».

Валлес ошеломлен лондонской улицей, где не слышно ни разговоров, ни

смеха, где люди идут прямо, бесстрастно, равнодушно, как поршни в машинах, как приводные ремни. И всюду, куда бы ни устремлялся Валлес, — в лондонские доки, в рестораны, в ночлежные дома, в музеи, в театры, — он, говорливый, остроумный, женолюбивый француз, видит все тех же запакowanych в угрюмую холодность, скучных, неинтересных англичан.

Проникая в различные общественные слои Лондона, Валлес мог ближе понять англичанина. Он изучил английского буржуа, скованного гнетом многовековых условностей и традиций, выродившегося, внешне, в лицемерного ханжу, внутренне, в жестокого истязателя. Наблюдая условия каторжного труда лондонских рабочих, Валлес хочет объяснить, почему они тоже равнодушны и угрюмы: ему кажется, будто они «чувствуют себя побежденными навсегда». В кошмарных ночлежках на глазах Валлеса умирали от голода английские интеллигенты. Он видел отчаянную нищету бедняков, которые, чтобы броситься с моста в маслянистую тину Темзы, должны отдать правительственному чиновнику последний пенни мостового сбора...

Очерки Валлеса написаны сердцем и нервами: вот почему они не устарели за свой полувекковой возраст.

Ю. Данилин.

# Содержание журнала „Новый Мир“ за 1926 год<sup>1)</sup>

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПОЭМЫ

1. Бахметьев, Вл. Железная трава, рассказ. III—51.
2. Безыменский, А. Рабочий поселок (из поэмы «Гута») VII—107.
3. Буданцев, Сергей. Сын, рассказ. VI—84.
4. Вересаев, В. Три (из отроческих воспоминаний). V—37.
5. Войтовский, Л. Сказки Полесья (из книги «По следам войны», том II), очерк. XI—116.
6. Евдокимов, Иван. Медведи, рассказ. XI—93.
7. Есенин, Сергей. Черный человек, поэма. I—5.
8. Жаров, Александр. Мекка, поэма. XI—18.
9. Жироду, Жан. Святая Эстелла, рассказ. Перевод Е. Рафальской, с пред. А. Луначарского. VII—84.
10. Иванов, Вс. Яцкие притчи, рассказ. I—10.
11. Иванов, Вс. На покой, рассказ. XII—26.
12. Караваева, Анна. Двор, повесть. XI—29, XII—40.
13. Клычков, Сергей. Чертухинский Балакирь, роман. I—39, III—74, IV—104, V—98, VI—100, VII—59, VIII—IX—154.
14. Лидин, Вл. Марина Веницева, рассказ. X—5.
15. Макаров, Александр. Счастливая земля, рассказ. V—74.
16. Низовой, Павел. У океана, рассказ. VIII—IX—5.
17. Нивандров, Н. Ночь, повесть. VI—5.
18. Никитин, Ник. Юбилей (из «Обоянских повестей»), рассказ. X—29.
19. Никулин, Н. «Матросская Тишина», повесть. VII—30, VIII—IX—107.
20. Пастернак, Борис. Потемкин (из поэмы о 1905 году). II—31.
21. Пастернак, Борис. Лейтенант Шмидт, поэма. VIII—IX—33.
22. Пильняк, Борис. Грэгго-тримунтан, рассказ. I—104.
23. Пришвин, Михаил. Юность Алпатова, роман. II—9, III—39, IV—61, V—60.
24. Пришвин, Михаил. Охота за счастьем, рассказ. XI—5.
25. Пришвин, Михаил. Лейли на охоте, очерк. XII—95.
26. Романов, Пантелеймон. Огоньки, рассказ. II—86.
27. Романов, Пантелеймон. Первая любовь, рассказ. IV—92.
28. Романов, Пантелеймон. Право на любовь, рассказ. VII—5.
29. Романов, Пантелеймон. Человеческая душа, рассказ. XII—7.
30. Сейфуллина, Л. Каин-кабак, повесть. IV—20, VI—51.
31. Сергеев-Ценский, С. Море (из романа «Преображение»). I—17.
32. Сергеев-Ценский, С. Жестокость, повесть. II—37, III—5.
33. Сергеев-Ценский, С. Капитан Кожнев (Этюд к 9-й части романа «Преображение»). VIII—IX—81.
34. Соболев, Андрей. Мемуары веснушчатого человека, рассказ. I—79.
35. Соколов-Микитов, И. Туман, рассказ. III—102.
36. Соколов-Микитов, И. В снегах, рассказ. III—107.
37. Соколов-Микитов, И. Морские рассказы. I. Мертвая зыбь. II. Чарши. X—87.
38. Стонов, Дмитрий. Хрущов, рассказ. II—67.
39. Смыгин, Александр. Стада Аллаха, рассказ. V—7.
40. Сухотин, Павел. Вишни для компота, повесть. VIII—IX—43, X—52.
41. Толстой, Алексей. Московские ночи, рассказ. IV—5.
42. Федин, Константин. Пастух, повесть. VIII—IX—130.
43. Фурманов, Дм. Лбищенская драма, очерк. XI—106.
44. Шишков, Вяч. Комар, рассказ. II—105.
45. Шишков, Вяч. Бакланов, рассказ. XI—81.
46. Явич, А. Восстание (Отрывки из романа). XII—78.
47. Яковлев, Ал. Там, где ночь, рассказ. XII—61.

## С Т И Х И

<sup>1)</sup> Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские—страницу.

48. Александровский, В. От'езд. II—104.
49. Александровский, В. Года. XI—104.
50. Асеев, Ник. Курские края. I—37.

55. **Асеев, Ник.** Денабристам, три стихотворения: Денабрьский туман, Если ты начинаешь стареть, Сицие гусары. III—32.
56. **Асеев, Ник.** Через головы критиков. XI—113.
57. **Асеев, Ник.** Песня о предмете роскоши. XII—102.
58. **Баркова, Анна.** Табачная плантация. V—97.
59. **Баркова, Анна.** Под какой приютиться мне крышей. XI—112.
60. **Безыменский, А.** Картошка. IV—59.
61. **Васильченко, И.** Волнуйся, сердце, не хладей. VI—48.
62. **Васильченко, И.** Родная, вновь увидел я. XII—90.
63. **Герасимов, Мих.** Черная весна. II—85.
64. **Герасимов, Мих.** Песенка. III—112.
65. **Герасимов, Мих.** I. Синица, жалобно не тинькай. II. Игриво в листопадной чаще. XII—75.
66. **Голодный, Мих.** Все накалил полдневный жар. II—121.
67. **Голодный, Мих.** На землю я ложусь усталый от труда. II—122.
68. **Голодный, Мих.** Возмущенные. VI—81.
69. **Голодный, Мих.** С каждым днем не ближе. VI—82.
70. **Голодный, Мих.** Вот гляжу я: над Днепром сиянье. XI—92.
71. **Городецкий, Сергей.** Освобождение. XI—105.
72. **Дементьев, Н.** Ночные птицы пели в лесу. IV—121.
73. **Дементьев, Н.** Помнишь—блеск веселых глаз. IV—122.
74. **Доронин, Иван.** В степи. III—72.
75. **Доронин, Иван.** На улыбку тихую вари. VII—28.
76. **Дружинин, П.** Стихи о стихах. IV—119.
77. **Дружинин, П.** Барбос. X—49.
78. **Есенин, Сергей.** Какая ночь! Я не могу. II—5.
79. **Есенин, Сергей.** Не гляди на меня с упреком. II—6.
80. **Есенин, Сергей.** Ты меня не любишь, не жалеешь. II—7.
81. **Есенин, Сергей.** Может поздно, может слишком рано. II—8.
82. **Есенин, Сергей.** Неуютная жидкая лунность. IV—19.
83. **Жаров, Ал.** Стихи красивой девушке. VIII—IX—127.
84. **Зарудин, Ник.** Яблоки, два стихотворения. II—65.
85. **Зарудин, Ник.** Вальдшнепы. IV—87.
86. **Инбер, Вера.** Сыну, которого нет. III—100.
87. **Инбер, Вера.** Два стихотворения о сердце. XII—101.
88. **Казин, Василий.** Пусть другим тверские приглянулись. VII—80.
89. **Казин, Василий.** Отрывок из поэмы «Вывески». VIII—IX—79.
90. **Кирсанов, С.** Погудка о погодне. X—51.
91. **Ковышев, Б.** Родина. VIII—IX—153.
92. **Колоколов, Ник.** Стихи об отваге. VIII—IX—74.
93. **Малашкин, Сергей.** Русь моя, прозрачная и голубая. VII—83.
94. **Маяковский, Вл.** 100%. I—76.
95. **Маяковский, Вл.** Порядочный гражданин. III—36.
96. **Маяковский, Вл.** Сергею Есенину. V—111.
97. **Маяковский, Вл.** Богомольное. VI—113.
98. **Маяковский, Вл.** Разговор с фининспектором о поэзии. X—103.
99. **Маяковский, Вл.** Разговор на Одесском рейде. XII—105.
100. **Наседкин, В.** Горит закат. Густеет гам. I—101.
101. **Наседкин, В.** Синью теплою крадьясь. I—102.
102. **Наседкин, В.** Хочу запеть и не могу. I—103.
103. **Наседкин, В.** Песенка о любимой. II—84.
104. **Наседкин, В.** Свод небес уныл и грязен. XII—77.
105. **Орешин, Петр.** Листопад. I—113.
106. **Орешин, Петр.** Элегия. III—48.
107. **Орешин, Петр.** С топором в руке. III—49.
108. **Орешин, Петр.** Не стриги. III—50.
109. **Орешин, Петр.** Комсомол. V—34.
110. **Орешин, Петр.** На смерть матери. V—35.
111. **Орешин, Петр.** Гармония. V—36.
112. **Орешин, Петр.** Песня. XII—36.
113. **Орешин, Петр.** Пустыня. XII—37.
114. **Орешин, Петр.** Ох, если б сон. XII—37.
115. **Приблудный, Иван.** Каменец - Подольский. VIII—IX—75.
116. **Приблудный, Иван.** В ложбинах под откосами. VIII—IX—77.
117. **Приблудный, Иван.** Студенты—зимою. XI—78.
118. **Приблудный, Иван.** Раскаянье. XI—80.
119. **Пришелец, Антон.** Утро. VI—83.
120. **Радилов, П.** Журавли. VI—99.
121. **Рудерман, Мих.** Товарищу поэту. X—86.
122. **Садофьев, Илья.** Синие глаза. VII—55.
123. **Саянников, Г.** В той стране. VI—49.
124. **Саянников, Г.** У меня всего одна любимая. VI—50.
125. **Светлов, М.** Песня. VII—81.
126. **Сельвинский, И.** Поэт. VIII—IX—105.
127. **Семеновский, Дм.** С улыбочкой жизнь благословляю. III—113.
128. **Семеновский, Дм.** В глуши. III—114.
129. **Семеновский, Дм.** Солнце. V—58.
130. **Семеновский, Дм.** Весел май с соловьиными звонами! V—59.
131. **Семеновский, Дм.** Когда небеса распоются. VIII—IX—104.
132. **Семеновский, Дм.** Душистый дар. X—85.
133. **Скуратов, Мих.** Байкальская бась. XII—92.

134. Терентьева, М. Тайга. V—96.  
 135. Тихонов, Ник. Общедоступная история стихотворцев. VII—58.  
 136. Тихонов, Ник. Равновесие. X—27.  
 137. Тихонов, Ник. Ладога. X—28.  
 138. Уткин, И. Гитара. VIII—IX—189.  
 139. Ушаков, Ник. Лес рубят. XII—23.  
 140. Шапов, Петр. Отпу. VI—98.  
 141. Шапов, Петр. Иду. Дорога дальняя. XII—101.  
 142. Юрий, Мих. В горах. V—93.  
 143. Эркин, Евсей. Мейран. IV—90.  
 144. Эркин, Евсей. Еврейский мотив. VIII—IX—188.  
 145. Эркин, Евсей. В лесу. X—48.  
 146. Ясный, А. Маячит в окна снежный вечер. III—111.  
 147. Ясный, А. Приятель. XI—91.

### ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ

148. Басов-Верхолянцев, С. Из давних встреч. Азеф. VIII—IX—191, X—136.  
 149. Белозеров, Ал. Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). III—115, IV—123.  
 150. Брюсов, В. Я. Письма к М. Г-овой. (Из архива Валерия Брюсова, с предисл. Н. Ашукина.) VI—129.  
 151. Брюсов, В. Я. Стихотворение «При электричестве» и «Детские и юношеские воспоминания». (Из архива Валерия Брюсова, с примеч. Н. Ашукина.) XII—116.  
 152. Вересаев, В. Ф. Короленко и Н. Ф. Анненский (из воспоминаний). I—123.  
 153. Городецкий, Сергей. Сергей Есенин (воспоминания). II—137.  
 154. Кюи, Феликс. Памяти «Юзефа». VIII—IX—256.  
 155. Малышев, С. За правду в Сибирь. XII—107.  
 156. Нечаева, В. Из литературы о Достоевском (поездка в Даровое). III—128.  
 157. Толстой, Лев Ник. 10 писем к Н. Н. Страхову (из неизданной переписки), с пред. и примечаниями Н. Гусева. II—123.  
 158. Тургенев, Н. С. Три письма к А. П. Ефремову (с предисл. С. Орловского). V—134.  
 164. Аросев, А. Памятники революционного Парижа (письмо из Фрамции). I—139.  
 165. Асеев, Нив. Новые песни. X—150.  
 166. Брауде, В. Театр нового Токио. XI—175.  
 167. Браудо, Е. Художественная проблема радио. IV—164.  
 168. Бугославский, С. Музыкальная жизнь Москвы. IV—167.  
 169. Бугославский, С. Музыкальная жизнь Москвы. VII—163.  
 170. Великов, Нив. Дикий стан (в Дагестане), очерк. VII—168.  
 171. Ветлугин, С. Кавачья Лопань, очерк. VI—171.  
 172. Владимирский, Вл. Город Та-Чен (в Западном Китае), очерк. III—176.  
 173. Владимирский, Вл. В пути (очерки из жизни Западного Китая). X—177.  
 174. Вознесенский, А. Н. Поиски объекта (к вопросу об отношении метода социологического к «формальному»). VI—116.  
 175. Волькенштейн, В. Стиль 2 Москов. Художеств. театра. XII—165.  
 176. Войтоловский, Л. М. Е. Салтыков. I—130.  
 177. Войтоловский, Л. Новые вещи Горького (Рассказы 1922—1924 гг.). IV—155.  
 178. Городецкий, Сергей. Пути современного театра. VIII—IX—278.  
 179. Гроссман, Леонид. Преступление Сухова - Кобылина. XI—128, XII—124.  
 180. Губер, Борис. Два романа (И. Калинин «Мощи». М. Барсуков «Мавритания»). III—163.  
 181. Данилов, В. Художественный образ в языке Ленина. I—115.  
 182. Дивильковский, А. На трудном под'еме (о крестьянских писателях). VII—132, VIII—IX—207.  
 183. Дивильковский, А. Болезни быта молодежи. XI—160.  
 184. Дынный, Вал. О новой книге М. Пришвина. XI—152.  
 185. Евдокимов, И. Илья Эренбург. VIII—IX—224.  
 186. Замошкин, Н. Литературные проселки. V—144.  
 187. Замошкин, Н. По альманахам и сборникам. VI—150.  
 188. Замошкин, Н. Два романа о вчерашнем дне. XII—149.  
 189. Званич, И. Лондон в дни всеобщей забастовки (письмо из Англии). VII—177.  
 190. Калинин, М. И. Что делает советская власть для осуществления демократии. X—110.  
 191. Каржанский, Н. Зарубежная Россия. VIII—IX—282.  
 192. Козлов, П. И. Монголо-Тибетская научная экспедиция. VI—133.  
 193. Куллэ, Р. О современной немецкой литературе. VI—158.

### СТАТЬИ И ОЧЕРКИ

159. Адалис, Г. Чай-Хана Якуба Умедова, очерк. VII—173.  
 160. Акульшин, Р. «Калитур» и культура. I—172.  
 161. Акульшин, Р. Разговоры, очерк. V—170.  
 162. Альский, М. Борьба за Кантон. VIII—IX—293.  
 163. Анибал, Б. Около Есенина. VI—155.

194. Куллэ, Р. Луджи Пираинделло. X—158.
195. Лежнев, А. О современной критике. II—147.
196. Лелевич, Г. Поэт мужицкой стихии (о романе С. Клычкова «Чертухский Балакирь»). I—147.
197. Литвинова, А. Два английских писателя. IV—171.
198. Локс, К. Неореализм во Франции. VIII—IX—266.
199. Луначарский, А. «Искусство в опасности». III—152.
200. Луначарский, А. «Игра любви и смерти» (новая пьеса Ромен Роллана). V—116.
201. Луначарский, А. «Искусство современной Европы» (по поводу книги Маца). VIII—IX—262.
202. Маяковский, Вл. Нью-Йорк, очерк. II—171.
203. Маяковский, Вл. В мастерской стиха. VIII—IX—238.
204. Ньюмен, Ф. Американский «короткий» рассказ. VII—159.
205. Обручев, С. Голубой табак Пьера Бенуа. XI—156.
206. Полонский, Вяч. Памяти Есенина. I—154.
207. Полонский, Вяч. Памяти Фурманова. IV—149.
208. Полонский, Вяч. Михаил Бакунин (к пятидесятилетию со дня смерти). VII—117.
209. Рейх, Б. Современные немецкие драматурги. V—154.
210. Смирнов, Ник. Заметки о журналах (Красная Новь, Звезда, Октябрь, Рабочий журнал). I—180.
211. Смирнов, Ник. Заметки о современных писателях (М. Пришвин). II—154.
212. Смирнов, Ник. Памяти Ларисы Рейснер. III—145.
213. Смирнов, Ник. О «Перевале». V—167.
214. Смирнов, Ник. На том берегу (заметки об эмигрантской литературе). VI—141.
215. Смирнов, Ник. Два альманаха («Ковш» № 4, «Прибой» № 2). VIII—IX—271.
216. Смирнов, Ник. Из литературы о Шекспире. X—166.
217. Смирнов, Ник. В гостях у случайных соседей. XII—143.
218. Смирнов-Кутаческий. Страдальная частушка советской деревни. IV—137.
219. Соболев, Юр. Театральная жизнь Москвы. III—157.
220. Старчаков, А. Ленин в песнях советского Востока. III—172.
221. Тугендхольд, Я. Дела художественные. IV—157.
222. Тугендхольд, Я. Наша скульптура. V—161.
223. Тугендхольд, Я. О современной живописи. VI—165.
224. Тугендхольд, Я. Революцион. жанр в искусстве запада. XII—159.
225. Фибих, Д. Красное и черное. (Провинциальные очерки) II—185.
226. Фибих, Д. Горбатая земля. XII—173.
227. Херсонский, Х. Вехи революционной культуры кино. X—169.
228. Шубин, П. Чего добилась и чего не добилась буржуазия в Локкарно. I—162.
229. Шубин, П. Пасхальный стол II Интернационала. V—177.
230. Яковсон, Л. Новый опыт построения марксистской методологии литературы. XII—156.
231. Яковлев, Ал. Деревня, очерк. III—166.
232. Яковлев, Ал. Деревенские очерки. IV—174.
233. Яковлев, Ал. Бабыня доля, очерк. VII—165.
234. Якубовский, Г. «Пролетарий» и «Половодье». XI—149.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1. Адриан, Жорж. Ярмо славы. Пер. под ред. Ф. Сологуба. Изд. «Мысль». Л. 1925. Стр. 175. III—187. *Евг. Браудо.*
2. Акульшин, Родион. О чем шепчет деревня. Изд. «Моск. Раб.». М. 1925. Стр. 127. I—188. *С. Пакентрейгер.*
3. Асеев, Ник. Громы о мрамор. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1926. Стр. 102. VIII—IX—317. *М. Зенкович.*
4. Барбюс, Анри. Насилие. Изд. «Круг». М. 1926. Стр. 196. XI—188. *К. Локс.*
5. Бахметев, Вл. Собр. соч. том I. На земле. Рассказы. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1926. Стр. 169. VIII—IX—313. *Н. Замошкин.*
6. Белый, А. Московский чудак. Первая часть романа «Москва». Изд. «Круг». М. 1926. Стр. 256. XI—183. *Н. Замошкин.*
7. Блок, Александр. Письма. Со вступит. статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скандина и В. Н. Княжнина. Изд. «Колос». Л. 1925. Стр. 228. III—190. *Виктор Гольцев.*
8. Бунина, З. Такова жизнь. Роман. Изд. «Космос». 1926. Стр. 247. V—186. *Н. Замошкин.*
9. Валлес, Ж. Лондонская улица. ГИЗ. М.—Л. Стр. 228. XII—185. *Ю. Данилин.*
10. Вересаев, В. Пушкин в жизни. Систематический свод свидетельств современников, вып. 1. Изд. «Новая Москва». 1926. Стр. 146. XI—186. *И. Сергеевский.*
11. Верт, Леон. Клавель солдат. Роман. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1926. Стр. 240. VII—192. *Я. Фрид.*
12. Веселый, Артем. Страна родная. Роман. Изд. «Новая Москва». 1926. Стр. 198. VII—187. *К. Локс.*

13. **Войтоловский, Л.** По следам войны. Походные записки. 1914—1917. Том I. ГИЗ. Л. 1925. Стр. 200. П—197. *Г. Якубовский.*
14. **Волков, Михаил.** Рассказы. «Дубье», стр. 133. «Заковька», стр. 149. «Задиристые рассказы», стр. 155. Изд. «Земля и Фабрика». М. 1925. I—185. *В. Красильников.*
15. **Волков, Николай.** Александр Блок и театр. Изд. ГАХН. М. 1926. Стр. 156. V—189. *Ю. Соболев.*
16. **Вольнов, Ив.** На отдыхе. Повесть. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1926. Стр. 127. V—185. *Борис Губер.*
17. «**Вьюжные дни**». Сборник. Изд. Сибкрай Госиздата. 1926. Стр. 93. IV—184. *А. Баркова.*
18. **Гендлин, Е. И.** Записки рядового революционера. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 142. III—191. *С. Борисов.*
19. **Германн, Георг.** Геприетта Якоби. Пер. и пред. Газетты. Изд. «Петроград». Л. 1925. Стр. 252. I—189. *Н. Эйшишкина.*
20. **Гиляровский, Вл. А.** Москва и москвичи. Воспоминания. Изд. Всеросс. Союза поэтов. М. 1926. IV—190. *Н. Ашукин.*
21. «**Грибодов и старое барство**». По неизданным материалам составил Н. Пиксанов. Изд. «Никитинские субботники». М. 1926. Стр. 76. XII—184. *А. Глаголев.*
22. **Григорьев, Рафаил.** М. Горький. ГИЗ. М. 1925. Стр. 148. III—188. *Н. Пиксанов.*
23. **Григорьев, Сергей.** Назармы. Изд. «ЗИФ». 1926. Стр. 140. VIII—IX—314. *К. Локс.*
24. **Григорьев, Сергей.** Коммуна Мар-Мила. Повесть. Изд. «Круг». 1926. Стр. 130. X—187. *Ник. Смирнов.*
25. **Грин, А.** Гладиаторы. Изд. «Недра». М. 1925. Стр. 212. I—187. *Я. Фрид.*
26. **Гроссман, Леонид.** От Пушкина до Блока. Изд. «Современные проблемы». М. 1926. Стр. 358. IV—188. *И. Сергиевский.*
27. **Груздев, И. А.** Максим Горький. Биограф. очерк. (по новым материалам). Изд. «Кубуч». Л. 1925. Стр. 79. III—188. *Н. Пиксанов.*
28. **Грузинов, Иван.** Маляновская шаль. Стихи. Изд. «Современная Россия». 1926. Стр. 37. IV—184. *А. Баркова.*
29. **Губер, Борис.** Шарашкина контора. Рассказы. Изд. «ЗИФ». 1926. Стр. 197. XI—182. *А. Р. Палей.*
30. **Даудистель, Альберт.** В огне революции. Роман. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1925. Стр. 216. III—186. *К. Локс.*
31. **Даудистель, А.** Жертва. Роман. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 192. XII—185. *Е. Браудо.*
32. **Дорохов, Павел.** Колчаковщина. Изд. «Новая Москва». 1925. Стр. 269. II—196. *Дмитрий Фурманов.*
33. **Дюамель, Жорж.** Отрешенные. ГИЗ. Л. 1925. Стр. 184. У истоков жизни. ГИЗ. Л.—М. Стр. 154. III—187. *Георгий Бережо.*
34. **Дюмель, Пьер.** Красавица с острова Люлю. Предисл. С. С. Зайцкова. Изд. «Круг». М. 1926. Стр. 152. XI—184. *Ю. Данилин.*
35. **Дюшен, Ф.** Под медленным шаг каравана. Ром. Изд. «Петроград». Л. 1925. Стр. 230. IV—186. *Ю. Данилин.*
36. **Зорич, А.** О вонтиках, о рапирах и прочем. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1925. Стр. 112. III—186. *Федор Жиц.*
37. **Иванов, Всеволод.** Гафир и Мариам. Рассказы и повести. Изд. «Круг». М.—Л. Стр. 254. IV—188. *Ф. Жиц.*
38. **Ивнев, Юрий.** Любовь без любви. Роман. Изд. «Совр. Проблемы». М. 1925. Стр. 270. I—187. *Ф. Жиц.*
39. **Иохвед, Л.** Пристань. С пред. Л. Соновского. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 103. X—186. *Л. Войтоловский.*
40. **Караваева, А.** Медвежатное. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1926. Стр. 84. VII—188. *Н. Замошкин.*
41. **Келлерман, В.** Братья Шелленберг. Изд. «Сятедь». Л. Стр. 304. VI—180. *Н. Эйшишкина.*
42. **Клеменц, Д. А.** Из прошлого. Воспоминания. Со вступительной статьей И. И. Попова. Изд. «Колос». Л. 1925. Стр. 181. III—190. *Б. Козмин.*
43. «**Ковш**». Литературно-художеств. альманах. Книга 3-я. ГИЗ. Л. 1925. Стр. 246. П—194. *Л. Войтоловский.*
44. **Конрад, Джек.** Собр. сочинений. Том V. Лорд Джим. Роман. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1926. Стр. 576. VII—191. *Евг. Браудо.*
45. **Коробов, Яков.** Катя Долга. Хроника совр. деревни. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 152. VII—189. *Б. Губер.*
46. «**Красная Новь**». Альманах № 2. ГИЗ. М.—Л. 1925. Стр. 373. П—195. *Д. Горбов.*
47. **Кротов, М. А.** Якутская ссылка 70—80 годов. Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова. Изд. Всесоюзн. О-ва Политкаторжан. М. 1925. Стр. 242. IV—191. *М. Брагинский.*
48. **Кузминская, Т. А.** Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Часть 2-я. 1863—1864. Предисловие и примеч. М. А. Цявловского. Изд. Сабашниковых. 1926. Стр. 180. IV—188. *Юр. Соболев.*
49. **Лавренев, Борис.** Крушение республики Итль. Роман. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 224. VII—190. *Ф. Жиц.*
50. **Луначарский, А.** О театре. Сборник статей. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 237. VI—180. *П. Марков.*
51. **Мак-Орлан, Пьер.** Коварство. Изд. «Мысль». Л. 1925. Стр. 176. I—189. *Ю. Данилин.*
52. **Малышкин, Александр.** Падение Дaira. Рассказы. Изд. «Круг». М.—Л. Стр. 150. IV—182. *Борис Губер.*

53. «Международствие 1925 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Центрархив. Подг. к печати Б. Е. Сыроечковский. ГИЗ. Л. 1926. Стр. 247. VIII—IX—319. *Н. Пиксанов.*
54. Мериме, Проспер. Варфоломеевская ночь. Изд. «Сеятель». Л. 1925. Стр. 200. I—190. *Ю. Данилин.*
55. Минин, С. К. Город-боец. Шесть диктатур 1917 г. (Воспоминания о работе в Царицыне). Изд. «Прибой». Л. 1925. Стр. 247. IV—186. *Г. Якубовский.*
56. Молчанов, Иван. Юрин, Михаил. Жизнь улыбается. «Красные восходы». Тифлис. 1926. Стр. 63. X—188. *М. Зенкевич.*
57. Неверов, А. Полн. собр. соч. Т. VII. Гуси-лебеди. Роман. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1926. Стр. 222. XII—182. *Г. Лелевич.*
58. Низовой, Павел. Черноземье. Повесть. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1926. Стр. 215. VI—177. *А. Баркова.*
59. Никандров, Н. Любовь Ксении Дмитриевны. Рассказы. Изд. «Недра». М. 1926. Стр. 213. III—184. *Л. Войтоловский.*
60. Никитин, Ник. Полет. ГИЗ. Л. 1925. Стр. 267. VI—172. *Борис Губер.*
61. Ольминский, М. По вопросам литературы. Статьи 1900—1914 гг. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 131. XI—184. *Л. Войтоловский.*
62. Орешин, Н. Ничего не было. Повесть. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 255. XII—188. *А. Шафир.*
63. Островер, Л. В серой шинели. Записки полкового врача. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 158. VIII—IX—311. *Л. Войтоловский.*
64. Переверзев, В. Ф. Творчество Гоголя. Изд. 2-е. Изд. «Основа». Иваново-Вознесенск. 1926. Стр. 172. VI—183. *Арк. Глаголев.*
65. Першон, Эрнест. Ницета. Роман. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1925. Стр. 287. IV—187. *Ф. Жиц.*
66. «Писатели». Автобиографии современников. Сборник. Изд. «Современные Проблемы». М. 1926. Стр. 370. X—189. *Борис Губер.*
67. «Письма Ф. М. Достоевского к жене». ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 366. V—189. *Арк. Глаголев.*
68. Платоныч, Н. Пути. Повесть. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 144. XII—183. *В. Голыцев.*
69. По тюрьмам. Сборник воспоминаний. Ред. Я. Шумяцкого. Изд. Всесоюз. О-ва Политкаторжан. М. 1925. Стр. 212. III—191. *С. Борисов.*
70. Роже, Ноэль. Первый потоп. Ром. ГИЗ. М.—Л. 1926. С. 175. X—192. *Я. Фрид.*
71. Романский, А. Очерки современной Польши. Изд. «Прометей». М. 1926. Стр. 256. VIII—IX—317. *Г. Валецкий.*
72. Ряховский, В. Сокращение штатов. Изд. «Недра». 1926. С. 96. VI—178. *Федор Жиц.*
73. Сандрар, Блэз. Золото. Изд. «Прометей». М. 1926. Стр. 132. V—191. *Ю. Данилин.*
74. Санжиков, Г. Лениниада. Фрагменты поэмы. ГИЗ. М.—Л. 1925. Стр. 47. I—186. *Георгий Якубовский.*
75. Сейфуллина, Л. Встреча. Собр. соч., том IV. ГИЗ. 1926. Стр. 215. VII—186. *В. Переверзев.*
76. Семенников, В. П. Политика Романовых накануне революции (по новым документам). ГИЗ. 1926. Стр. 246. XI—190. Проф. *Е. А. Адамов.*
77. Сниклер, Унтон. Искусство Маммоны. Опыт антропологического исследования. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 278. I—191. *Я. Фрид.*
78. Соболев, Андрей. Записки каторжанина. Изд. «Круг». М.—Л. Стр. 112. III—191. *С. Борисов.*
79. Стонов, Дмитрий. Лихорадка. Рассказы. Изд. «ЗИФ». 1925. V—184. *Л. Войтоловский.*
80. «Театральный Октябрь». Сборник. Изд. «Театр. Октябрь». М.—Л. 1926. Стр. 182. X—190. *П. Марков.*
81. Тынянов, Ю. Н. Кюхля. Роман декабриста. Изд. «Кубуч». Л. 1925. II—199. *Ник. Асеев.*
82. Устинов, Г. Черный ветер. ГИЗ. 1926. Стр. 127. VI—179. *К. Локс.*
83. Финбер, Эльян. Под знаком единорога и льва. С пред. А. Барбюса. Изд. «ЗИФ». М.—Л. 1926. Стр. 158. XI—189. *Я. Фрид.*
84. Форстер, Э. Поездка в Индию. Изд. Сабашниковых. VI—181. *Брагин.*
85. Франс, Анатолий. Последние страницы. «Диалоги под розой». Изд. «Петроград». Л.—М. Стр. 93. V—191. *Н. Эйшишкина.*
86. Цинговатов, А. Я. А. А. Блок. ГИЗ. М.—Л. 1926. XI—185. *П. С. Коган.*
87. Шкловский, Виктор. Теория прозы. Изд. «Круг». М. 1925. Стр. 189. V—187. *И. Сергеевский.*
88. Шолохов, М. Донские рассказы. Изд. «Новая Москва». 1926. Стр. 172. V—187. *Виктор Якерин.*
89. Юрезанский, Владимир. Зной. Рассказы. ГИЗ Украины. 1926. Стр. 152. VIII—IX—315. *Ник. Смирнов.*
90. Юрии, Михаил. Солнечная юность. Стихи. Изд. «Мол. гвардия». 1925. Стр. 62. IV—184. *А. Баркова.*

7-й год издания

7-й год издания

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1927 год**  
НА ЕДИНСТВЕННЫЙ В СССР ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ,  
..... ИСКУССТВА, КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ .....

# ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

под редакцией Вяч. ПОЛОНСКОГО

при ближайшем участии А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА,  
М. Н. ПОКРОВСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА  
Выходит 8 раз в год книгами объемом в 15 листов каждая с многочислен-  
..... ными иллюстрациями. ....

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Подписная цена на год — 12 руб., на полгода — 6 р. 50 к. Для годовых подписчиков допускается рассрочка: при подписке — 7 руб. и не позднее  
.... 1-го июня 1927 года — 5 руб. ....

Годовые и полугодовые подписчики имеют право на получение приложе-  
ний на нижеследующих условиях:

### ПЕРВАЯ СЕРИЯ

#### ЛЕНИНСКИЕ СБОРНИКИ.

Изд. Института В. И. ЛЕНИНА при ЦК ВКП (б). Пять томов. Всего 2440 страниц с многочисленными фотографиями и репродукциями документов.

Цена в отдельн. продаже — 16 р. 10 к.  
Для подписчиков журнала — 8 р.

### ВТОРАЯ СЕРИЯ

1. А. ЛУНАЧАРСКИЙ. Литературные сплуты. 2. Его же. Этюды. 3. Его же. Идеи в масках. 4. Его же. Театр и революция. 5. Его же. Идеализм и материализм. 6. Ф. МЕРИНГ. Пролетариат и мировая литература. 7. В. ФРИЧЕ. История зап. - европ. литературы. 8. П. САКУЛИН. Русская литература и социализм.

Цена в отдельн. продаже — 13 р. 15 к.  
Для подписчиков журнала — 6 р.

Подписка принимается Отделом Подписных и Периодических Изданий Торгсектора Госиздата (Москва, Воздвиженка 10/2), в книжных магазинах и киосках, в провинциальных отделениях и филиалах Госиздата и у уполномоченных, снабженных соответствующими удостоверениями, а также во всех  
:: почтово-телеграфных конторах. ::

### СОДЕРЖАНИЕ

#### ДЕКАБРЬСКОЙ КНИГИ ЖУРНАЛА:

СТАТЬИ и ОБЗОРЫ: А. Дивильковский. Самочувствие эмиграции. М. Печнипа. Портреты „предков“ (эмигранты о декабристах). Л. Якобсон. Александр Веселовский и Вильгельм Гаузенштейн. Я. Тугендхольд. Современный плакат (с иллюстр.). В ДИСКУССИОННОМ ПОРЯДКЕ. П. Сакулин. К проблематике современного литературоведения. ОБЗРЕНИЕ ИСКУССТВ и ЛИТЕРАТУРЫ. А. Лежнев. Три книги (о новых книгах С. Клычкова, В. Шкловского и Ив. Евдокимова). С. Павентрейгер. Талант равнодушия (о Пант. Романове). В. Поляцкий. Историко-литературный метод проф. Кейтуялы. Вяч. Полонский. О новой книге тов. Стеклова. Л. Сабанев. Современная музыка Франции (письмо из Парижа)

90 ОТЗЫВОВ НА КНИГИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЯ  
20 ИЛЛЮСТРАЦИЙ в ТЕКСТЕ.

# Н О В Ы Й М И Р

## И Ю Н Ь

Н. НИКАНДРОВ. — Ночь (повесть).  
И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ. — Стихотворение.  
Г. САННИКОВ. — Два стихотворения.  
Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Каин-кабак (повесть). Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения. Антон ПРИШЕЛЕЦ. — Утро (стихотворение). Сергей БУДАНЦЕВ. — Сын (рассказ). Петр ШАМОВ. — Отцу (стихотв.). П. РАДИМОВ. — Журавля (стихотворен.). Сергей КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Богомольное (стихотворение). А. Н. ВОЗНЕСВСКИЙ. — Поиски об'енга. Из архива ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА (с предисловием Н. Ашукина). П. К. КОЗЛОВ. — Монголо-Тибетская научная экспедиция. Николай СМИРНОВ. — На том берегу. Н. ЗАМОШКИН. — По альманахам и сборн. Б. АНИБАЛ. — Около Всенниа. Р. КУМЛЭ. — О современной немецкой литературе. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. — О современной живописи. С. ВЕТЛУГИН. — Казачья Лопань. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Анны Барковой, Ф. Жиц, К. Локса, Н. Эйшикиной, П. Маркова, В. Брагана, Арк. Глаголева.

## И Ю Л Ь

Павл. РОМАНОВ. — Право на любовь (рассказ). И. ДОРОНИН. — Стихотворение. Л. НИКУЛИН. — «Матросская Типина» (повесть). И. САДОФЬЕВ. — Синие глаза (стихотворение). Н. ТИХОНОВ. — Общедоступная история стихотворцев (стихотворение). Сергей КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Василий КАЗИН. Стихотворен. М. СВЕТЛОВ. — Песня (стихотв.). С. МАЛАШКИН. — Стихотворение. Жан ЖИРОДУ. — Святая Эстелла, рассказ (Перевод с франц.). А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Рабочий поселок (из поэмы «Гуга»). Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Михаил Бакунина. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — На трудном под'еме (о крестьянских писателях). Ф. НЬЮМЕН. — Американский «скороткий рассказ». С. БУТОСЛАВСКИЙ. — Музыкальная жизнь Москвы. А. ЯКОВЛЕВ. — Бабыя доля. Ник. ВЕЛИКОВ. — Дикий стан. АДАЛИС. — Чай-хана Якуба Умедова. И. ЗВАВИЧ. — Лондон в дни всеобщей забастовки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: В. Переверзев, К. Локса, Ник. Замошкяна, Б. Губера, Ф. Жиц, Е. Браудо, Я. Фрида.

## А В Г У С Т — С Е Н Т Я Б Р Ь

Павел НИЗОВОЙ. У океана (рассказ). Борис МАСТЕРНАК. — Лейтенант Шмидт (поэма). Павел СУХОТИН. — Вишни для компота (повесть). Ник. КОЛОКОЛОВ. — Стихи об отставе. Ив. ПРИБЛУДНЫЙ. — Два стихотворения. Вас. КАЗИН. — Отрывок из поэмы «Вывески». С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Капитан Коняев (рассказ). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ. — Стихотворение. И. СЕЛЬВИНЦКИЙ. — Поэт, стихотворение. Л. НИКУЛИН. — «Матросская типина» (повесть) Ал. ЖАРОВ. — Стихи красивой девушке. Колет. ФЕДИН. — Пастух (повесть). Б. КОВЫНЕВ. — Стихотворение. Серг. КЛЫЧКОВ. Чертухинский Балакирь (роман). Е. ЭРКИН. — Еврейский мотив (стихотворение). И. УТКИН. — Гитара (стихотворение). С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ. — Из давних встреч. Азеф. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — На трудном под'еме (о крестьянских писателях). И. ЕВДОКИМОВ. — Илья Эренбург. Вл. МАЯКОВСКИЙ. — В мастерской стиха. Феликс КОИ. — Памяти «Озефа». А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — «Искусство соврем. Европы». К. ЛОКС. — Неореализм во Франции. Н. СМИРНОВ. — Два альманаха. С. ГОРОДЕЦКИЙ. — Пути современного театра. Н. КАРЖАНСКИЙ. — Зарубежная Россия. М. АЛЬСКИЙ. — Борьба за Каптон. **КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:** Л. Войтоловского, Н. Замошкяна, К. Локса, Ник. Смирнова, М. Зенкевича, Г. Вадецкого, Н. Пиксанова.

## О К Т Я Б Р Ь

В. ЛИДИН. — Марипа Веневцева (рассказ). Н. ТИХОНОВ. — Два стихотворения. Н. НИКИТИН. — Юбилей (рассказ). Е. ЭРКИН. — В лесу (стих.). П. ДРУЖИНИН. — Барбос (стих.). С. КИРСАНОВ. — Погудка о погодке (стих.). П. СУХОТИН. — Вишни для компота (повесть). Д. СЕМЕНОВСКИЙ. — Душистый дар (стих.). М. РУДЕРМАН. — Товарищ поэту (стих.). И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Морские рассказы. Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Разговор с фининспектором о поэзии (стих.). М. И. КАЛИНИН. — Что делает советская власть для осуществления демократии. С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ. — Из давних встреч. Азеф (окончание). Н. АСЕЕВ. — Новые песни (обзор). Р. КУМЛЭ. — Луиджи Пираделло. Н. СМИРНОВ. — Из литературы о Шекспире. Х. ХЕРСОНСКИЙ. — Вехи революционной культуры вино. В. ВЛАДИМИРСКИЙ. — В пути. **КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:** Л. Войтоловского, Н. Смирнова, М. Зенкевича, Б. Губера, П. Маркова, Я. Фрида.